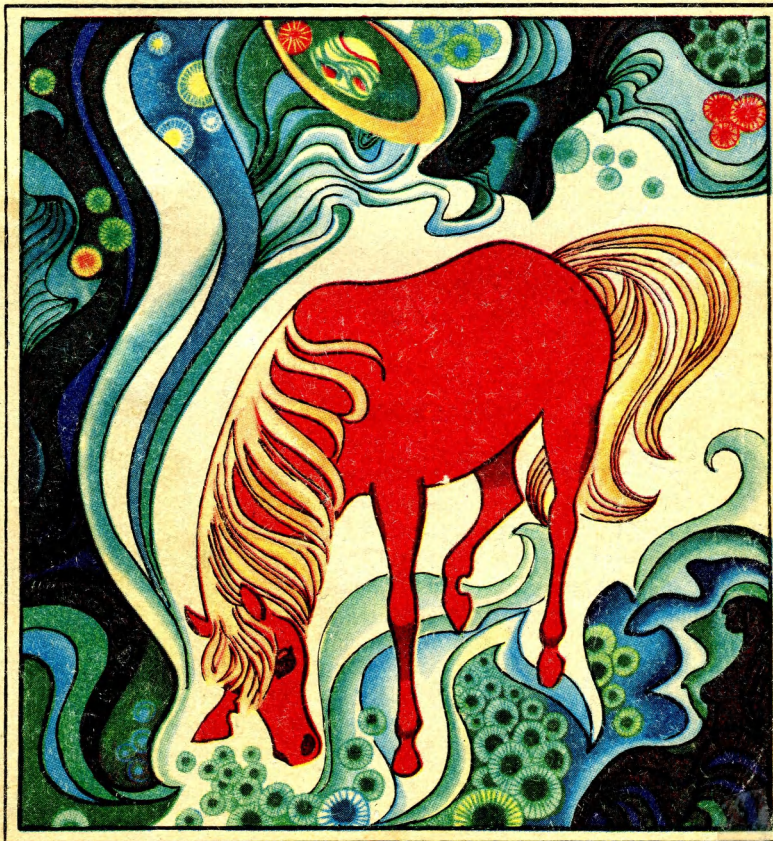


Библиотека советской фантастики

ВЛАДИМИР ЩЕРБАКОВ
КРАСНЫЕ
КОНИ





ОБ АВТОРЕ

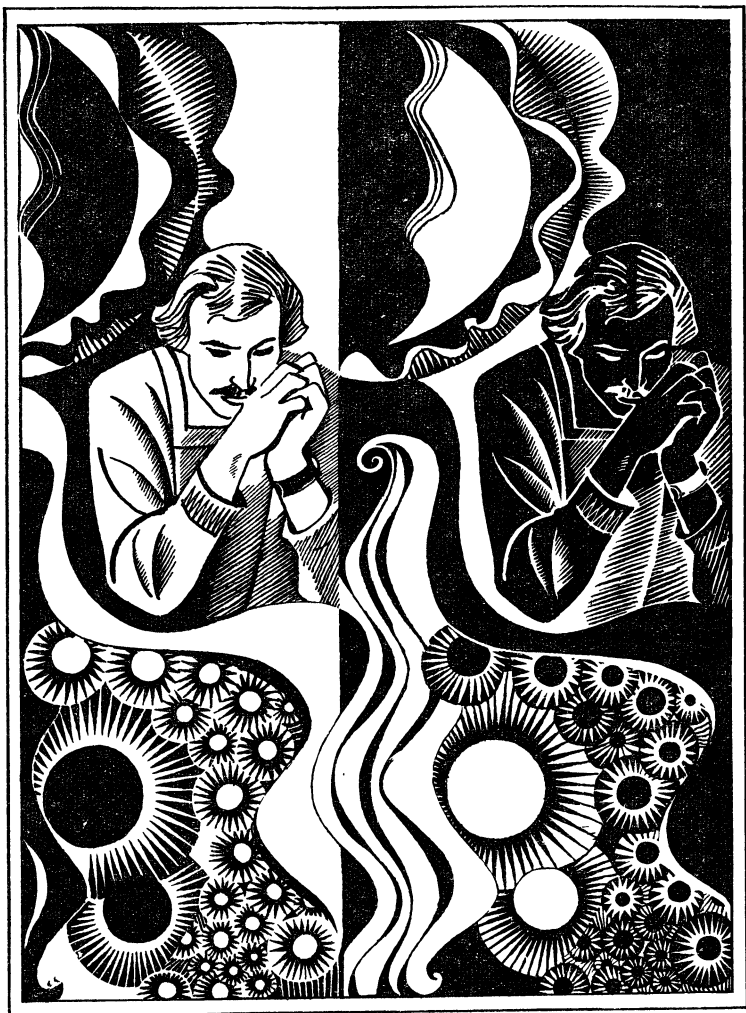
Владимир Иванович Щербаков родился в Москве. Окончил радиотехнический факультет Московского энергетического института, кандидат технических наук.

С 1961 года его статьи и рассказы печатались в журналах «Техника — молодежи», «Наука и жизнь», «В мире книг», «Знание — сила», «Детская литература», «Вокруг света», за рубежом — в Польше, Венгрии, Болгарии. За рассказ «Прямое доказательство» Владимир Щербаков был удостоен премии на международном конкурсе писателей-фантастов социалистических стран в Варшаве в 1968 году.

«Красные кони» — первая книга писателя.



БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



Библиотека советской фантастики

Владимир ЩЕРБАКОВ

КРАСНЫЕ КОНИ

Рассказы

**Москва
«Молодая гвардия»
1976**

Р2
Щ61

Щ $\frac{70302-071}{078(02)-76}$ 183—76

© Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

ПРОСТРАНСТВО ГИЛЬБЕРТА

Почему вы стали физиком? — глаза девушки-корреспондента красноречивей слов свидетельствовали о том, что мне не отделаться двумя фразами.

— Физика прежде всего наука о тайнах, — начал я. — Вспомните, что наша Галактика с миллионами солнц и планет могла образоваться при столкновении всего лишь двух очень быстрых и потому обладающих космической массой электронов. Кварки, дискретное время, гравитоны... Часто гипотезы объясняют одну тайну ссылкой на другую. И пока приходится верить в тайны, даже если занимаешься физикой твердого тела.

— Почему «пока»?

— Мы все привыкли к пространству трех измерений, а не к пространству Гильберта, и за будущее я поручиться не могу.

— Расскажите о пространстве Гильберта.

Я чувствовал, что начало было не совсем удачно. Ее должно интересовать другое: наши электролюминофоры, удостоенные первой премии на международной выставке. И рано или поздно мне придется рассказывать и о них. Когда же мы кончим? Впрочем, я привык по вечерам оставаться в лаборатории. Я рассказал о пространстве Гильберта.

— У этого пространства не три, как обычно, и даже не четыре, а бесконечно много измерений. Значит, кроме ширины, длины, высоты, нужно придумать еще глубину, протяженность, дальность и другие слова, чтобы рассказать о нем. Но даже всех слов в мире не хватит для этого. Придется без конца сочинять их. Гильберт был великим математиком, и открытое им пространство обладает необыкновенным свойством — емкостью. Все прошлое и будущее уместается в одной точке этого пространства. Человеческая жизнь, горный поток, прорезающий каньон, рождение и смерть континентов — достаточно одной

только точки, и в ней можно увидеть любое явление, сотни и миллионы лет истории, становление эпох и эволюцию планет.

Даже одно добавочное измерение неисчислимо увеличивает емкость. Кто-то придумал страну Плосковию — гладкий лист без третьего измерения, без высоты. Дома ее обитателей, плоскатики, — это квадраты с откидывающейся стороной-дверью. Мы с вами могли бы попасть в такой дом, минуя дверь, просто перешагнув ее. И наше вторжение показалось бы плоскатикам сверхъестественным — ведь они не знают такого измерения — высота... Да они не смогли бы и увидеть нас такими, какие мы есть, лишь подошвы наших ботинок были бы доступны их наблюдениям. А Гильберт увидел свое пространство.

Осенью вы посадили деревце и наблюдаете, как оно растет. Измеренную каждый раз высоту его вы уложили в одно из измерений Гильбертова пространства. Но раз у одной-единственной точки бесконечное число координат, то вся многолетняя история дерева уместится в этой точке. И еще останется место для остального — ветвей, листьев. Но никто не говорил еще, что такое пространство реально существует... Я понимаю вас. Но разве верить в бесконечное время легче, чем в одно бесконечномерное пространство? Все события прошлого и будущего уже содержатся в нем, словно атомы в многогранном волшебном кристалле. И если эти точки-атомы сдвигаются, частица с нулевой энергией оказывается вдруг по ту сторону потенциального барьера, или где-то вспыхивает сверхновая... Ну а к человеку вдруг приходит «звездный час», и песню, сложенную им, поют потом сотни лет. Можно и просто «потерять себя», как бы прожить чужие минуты.

— Значит, это знакомо многим?.. И вам?

— Трудно ответить. Всегда хочется объяснить мир по-своему. А разве вам не приходилось как-нибудь непогожим вечером поверить в далекую землю, где, точно в

нерукотворном зеркале, отразились мы сами, но так, что узнать все-таки невозможно?

— Да, — согласилась она, — приходилось. Пожалуй, можно сказать об этом и так, как вы сказали.

Девушка мне нравилась. Никому еще я не говорил так много. Работа. Статьи. Свои и чужие. Рецензии.

Поняла ли она внутренний смысл этого видения, простого и короткого, как детская песня? Трудно иногда вскрыть причину закономерностей, легче изобразить их действие.

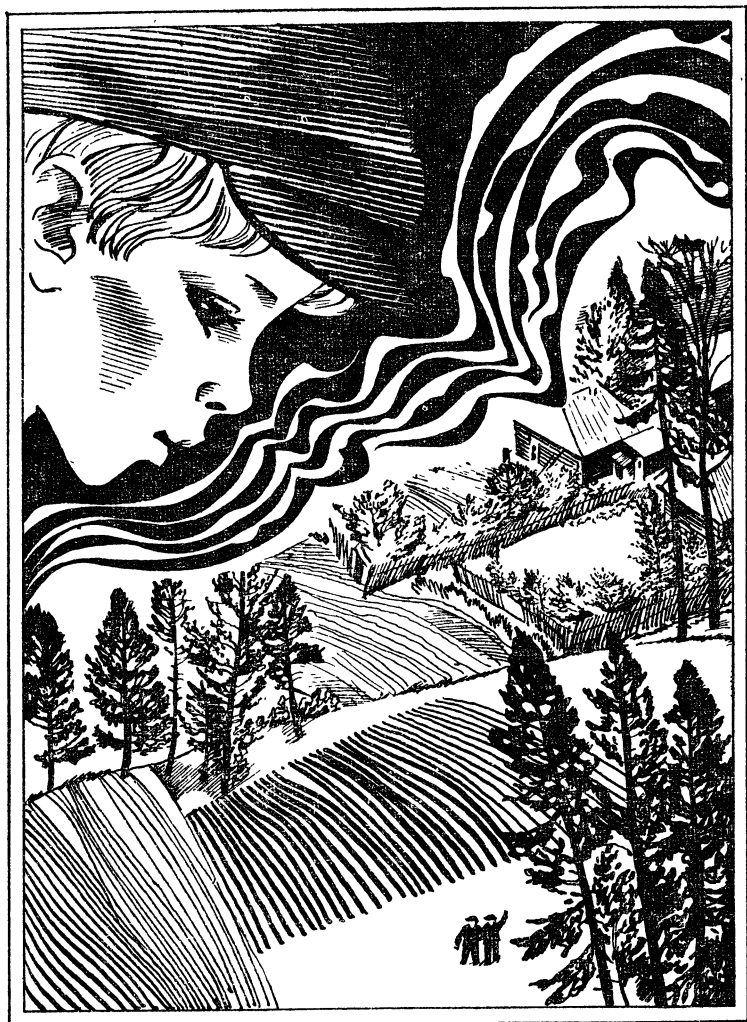
Я рассказал ей все, что оставило мне время. Все о пространстве Гильберта.

...Осенью сорок второго мы со старшим братом искали картошку на старом поле. Нам было тогда шестнадцать на двоих, и мы впервые, наверное, забрались так далеко от дома. Часто вспоминаю я эти минуты. Далекий дым над городом. Шум машин на пригородном шоссе. Вышки электролинии. Серую, как пепел, землю. Рокот самолета.

Было довольно холодно, и мне давно хотелось домой. Вдали над лесом светилась закатная полоса. Я дул в озябшие руки и краем глаза следил за самолетом.

Самолет летел на запад. На фоне вечерних облаков он выглядел темной, тощей птицей. Брат махал рукой, провожая его. В этот момент произошло какое-то внезапное изменение, земля и небо качнулись, поменявшись местами. Я словно забыл себя, брата, все. Земля оказалась вдруг далеко внизу, и я видел ее так, как если бы сам был летчиком. Я узнал улицы знакомой мне московской окраины и старые, точно копотью покрытые, стены церквушки. Последние солнечные лучи зажгли окна домов, и они горели чистым багряным пламенем.

При всей невероятности случившегося я не мог не почувствовать какой-то странной поэтичности и гармонии этих блеклых октябрьских красок, когда лучи золотят серый пепел земли и почти растворяются в дымке у дру-



гой стороны горизонта. За Москвой я видел сырые леса, в которых темная зелень смешалась с октябрьским золотом. На лесные поляны и вырубki уже ложился вечерний туман, а на верхушках молодых елок еще дрожали зеленые лучи. Справа, под крылом, я заметил русую голову высокой березы, охваченную закатным огнем, другие березы, словны ее сестры, встали вдоль дороги, которая вела на запад.

На картофельном поле я различил две маленькие фигуры — это были, конечно, мы сами. Брат все еще махал рукой вслед самолету.

И в тот же миг я снова оказался на поле. Все оставалось как будто на своих местах: самолет продолжал лететь, я дышал в озябшие руки. Вся найденная нами картошка уместилась в двух карманах укороченного отцовского пиджака, который теперь перешел к брату. Мы медленно шли домой, а я все думал о самолете и о непонятных приборах, которые я видел в кабине своими глазами. Не забыл я об этом и через много лет.

Не раз потом восстанавливал я в памяти песчаный берег реки, каким я видел его сверху, две полуразбитые лодки (они выглядели старыми, намокшими листьями), дома как охапки щепок, прибрежные ивы, уронившие в воду желто-зеленые колосья ветвей. Я видел так далеко, как мог видеть только с самолета.

Неповторимая минута. Позже я уловил то, благодаря чему она казалась скорее сном. Это был свет. Необычайный предвечерний свет, сочетавший тепло пожаров, вспыхнувших в высоких кронах, и холод длинных темных теней. И лучи, гасшие, как звезды, непостижимым образом распространяли вокруг какую-то давнюю тревогу или грусть, передать которые просто невозможно.

— Самое простое объяснение происшедшему — сон. — Я уже отвечал на ее вопрос. — Короткий мимолетный сон. Представьте семилетнего мальчугана, ковыряющего

ножом землю, холодный октябрьский вечер, однообразный шум машин на шоссе. Разве не мог я просто уснуть на мгновение и тут же проснуться? Но самое простое объяснение не всегда самое верное...

— Понимаю, — вдруг сказала она. — Точки в пространстве Гильберта колеблются, как атомы в кристалле. Это можно себе представить: влево, вправо... И они ведь при этом меняются местами, вы об этом сами говорили.

— Да. Меняются местами. Точная формулировка. Но знаете, что из этого следует? Я должен знать и помнить хотя бы отрывочно то, что знал он, тот летчик. Я же был им в ту минуту. И ко мне приходят иногда они — гости из прошлого, как потускневшие давнишние фотографии. То всплывают вдруг в сознании зимние дороги и по обочинам — печи с остывшими кирпичными трубами, точно надгробья. Пустые уцелевшие избы. Старуха с узлом за спиной и грудным ребенком на руках. Березовый крест с наброшенной на него серенькой кепкой на могиле двенадцатилетнего мальчика, кинувшего камень в немцев, уведивших из деревни последнюю корову. Равнодушное пламя, как бы нехотя выбивающееся из окон кирпичной школы. Города, смешанные с пеплом, города из землянок, хмурые леса, укрывшие людей... Наше первое крупное наступление. Затемненные дома в тылу, недостроенный, но работающий завод, чье-то рукопожатие, новый самолет — мой первый самолет. Бои, ранение и вот подмосковный аэродром и — временно — выполнение спецзаданий.

...Незабываемый первый полет над Москвой, когда видны дома Садового кольца, темные стены Кремля, крыша Исторического музея, словно присыпанная снегом.

— А вы ведь можете случайно встретиться с летчиком.

Я машинально киваю: «Конечно».

— А вдруг окажется, что он тогда был на вашем месте, на поле?

— Тогда я поверю в пространство Гильберта.

— Так до сих пор вы шутили?

— Только наполовину. Вы спросили меня, почему я люблю физику. Я попробовал ответить.

Я спохватываюсь: пора рассказать ей об электролюминофорах, над которыми мы работали последние годы, и, может быть, немного о телевизорах с плоским экраном — о том, ради чего, собственно мы встретились.

Да, это буднично. Но разве физик не тот же мастер, который, как и сотни лет назад, бессонными ночами может мысленно охватить, соединить сразу все кирпичи мира и построить из них, как из детских кубиков, пирамиду, город, звезду, вселенную?

Электролюминофор преобразует электричество в свет. Разве это не интересно? Напряжение, приложенное к люминофору, нарушает мерный хоровод электронов. Электрическое поле срывает электроны с уровней-орбит и гонит их вдоль силовых линий. Дайте напряжение по-сильнее — и лавина электронов пронизает люминофор насквозь. Это электрический пробой.

Электролюминесценция сродни пробую.

Есть в люминофоре микроскопические участки неоднородностей, где напряженность поля больше, чем в других местах. Основные события разыгрываются как раз здесь. Разогнанные полем отдельные электроны, подобно первому шару в бильярдной партии, врезаются в гущу своих собратьев, еще не согнанных с мест. Беззвучный удар — и уплотнившийся рой электронов несется дальше.

Стоп — участок с повышенной напряженностью поля кончился. Разбежавшимся электронам дальше ходу нет. Самые быстрые из них зацепились где-то в узлах кристаллических решеток. Стоит поменять полярность на-

пряжения, и они возвратятся на свои уровни. Партия на бильярде закончена, шары опять на местах.

Здесь и зарыта собака. Ведь электроны, оседая на орбитах, возвращают, излучают кванты света. Каждый электрон — по одному кванту. От энергии квантов зависит цвет излучения...

Я приглашаю ее к микроскопу.

— Посмотрите: кусочек люминофора при сильном увеличении похож на ночное небо. Звезды — это люминесцентные центры, здесь сталкиваются электроны. Между ними темные области. Звезды мерцают: в одних центрах электронный бильярд заканчивается, в других только начинается. Ведь на люминофор подается переменный ток. Правда, уловить мерцание вам не удастся, полярность напряжения меняется пятьдесят раз в секунду — при такой частоте все сливается для наших медлительных, «инерционных» глаз в равное сияние.

— Это интересно. Но так далеко от пространства Гильберта... Значит, вы можете совмещать повседневную работу и мечту?

— Могу, — говорю я. — Научился. Тем более что это не так уж и далеко друг от друга. Точки в пространстве Гильберта и электроны очень похожи. И те и другие меняют направление движения и возвращаются на места. Вот только причину этих колебаний в Гильбертовом пространстве найти труднее. Какое-нибудь бесконечномерное поле... А люминесцентные центры — разве они не похожи на звездные скопления?

— Да, очень похожи. Там даже есть свои сверхновые. Прощаясь, она говорит:

— Можно я напишу в очерке и о пространстве Гильберта?

— Ну если только совсем немного...

Прошло месяца три или четыре, и пространство Гильберта напомнило о себе само.

Возвращаясь как-то с работы, я заметил человека, словно разыскивавшего что-то на незнакомой улице. Оказалось, что он искал мой дом. Мы вместе вошли в подъезд. Вдруг он обернулся ко мне.

— Вы не подскажете, где здесь такая квартира?.. — и он назвал номер моей квартиры.

— Значит, вы ко мне? — спросил я, немного озадаченный.

Я впервые в жизни видел его. Ему было лет пятьдесят, на нем было черное, выдавшее виды кожаное пальто. Он показался мне чуть наивным, но хорошим, искренним человеком — заключение немного поспешное, но вполне оправдавшееся впоследствии, когда я узнал его лучше.

Я назвал свое имя и тут же понял, кто ко мне пожаловал. Эта странная догадка пришла так неожиданно, что я растерялся, когда он подтвердил ее. Да, он бывший военный летчик. Александр Ковалев. Случайно наткнулся на очерк обо мне, о наших люминофорах. И о двух мальчиках, собиравших осенью сорок второго картошку на пригородном поле. Разыскал меня через редакцию.

...Мы сидели до рассвета.

А когда вдоль шоссе встали из тьмы громады домов и в небе задрожали и погасли последние звезды, пошли пешком до Садового кольца, свернули направо, к площади Восстания, миновали улицы Герцена и Качалова, Красную Пресню, дом Чехова.

На утренних улицах непривычная тишина, кажется, редкие автомашины не в силах разбудить их. Но серое небо светлеет, купол планетария уже отливает, плавящимся свинцом, и окна домов на Малой Бронной и Садовых улицах начинают поблескивать.

— Знаете, с тех самых пор я люблю Москву, — говорит он. — Может быть, я и раньше ее любил, но только это как-то не особенно проявлялось. Легко ли вспо-

мнить, что в сорок первом десятки баррикад появились на московских улицах — у Балчуга, на Бородинском мосту, в центре и на окраинах? Что зеркальные витрины на Манежной площади скрылись за мешками с песком?..

Я тоже люблю Москву с тех самых пор. Потому что он любит ее.

Но и он видел мир моими глазами — тогда, в далекий октябрьский день, он оказался рядом с моим братом, взглядом провожавшим его самолет. И когда Ковалев начал разбираться в происходящем, земля исчезла из-под его ног так же внезапно, как и появилась.

Потому что перемещения в пространстве Гильберта неуловимы, мгновенны, наше встречное движение было незаметно для нас обоих. Может быть, мы были как бы тенями в Гильбертовом пространстве, вдруг выпукло и ясно высветившем все свои бесконечные грани в тот далекий осенний день. Так кристалл сияет в лучах, если его повернуть под нужным углом. Тени в трехмерном пространстве, к которому мы так привыкли, всегда плоские, двухмерные. Два поезда могут нестись навстречу друг другу, не сталкиваясь при этом, а тени их на какое-то мгновение сливаются и расходятся. Мы сделали неуловимый скачок в других, возникших на короткое время измерениях, оставив наши следы, наши тени в обычном пространстве, и эти тени могли свободно проходить сквозь предметы и перемещаться вверх и вниз. Так он оказался на поле, а я в его самолете. Потом прошла, по-видимому, обратная силовая волна, и мы снова оказались на своих местах.

Но прежде он успел запомнить остывающую оранжевую полосу над лесом, черные, как бы остановившиеся машины на шоссе.

Перед ним лежало картофельное поле с росшими посреди одинокими деревьями, местами серое, как пепел, местами красноватое от снопов света.

Стороной шагали к горизонту вышки электролинии. Огненные цветы заката, покрывшие облака, косогор и поле, придали земле неповторимый оттенок грусти. С неба спустился прохладный поток синего воздуха, смешавшийся у самой земли с легким дымом и запахом близкой реки.

И он успел вдохнуть этот воздух.

МОСТ

Скрипнул полоз саней. На улице раздались знакомые, казалось, голоса. Шаги на ступеньках полусожженной школы. Негромкий разговор.

В гулком пустом классе, где раньше нас было больше, чем яблок на ветке, камень разбитой стены ловил мое дыхание. Светлый иней оседал на красных кирпичах. Я считал эти летучие языки холода, выступавшие как бы из самой стены. Где-то хлопнула уцелевшая дверь. Голоса приближались. И я понял, что это не сон.

Наверное, втайне я ждал их. Даже в коротком забытьи, когда мороз сжимал тело в пружину, я услышал бы их и узнал. Хотелось пойти им навстречу, но волосы примерзли к полу, и нельзя было поднять голову. Тогда я крикнул. Меня нашли.

...Сани и тулуп были так удобны и теплы, что я не сразу уснул, бессознательно стремясь продлить эту минуту, минуту встречи. В одной руке я держал ломоть хлеба, заслонивший пол-улицы, в другой — черную эмалированную кружку, полную густого молока. Из-под полозьев на ленту дороги сыпались синие блестящие лезвия следов. Покачиваясь, плыл я спиной вперед на ворохе соломы. Во всю ширину дороги шли люди с автоматами и винтовками. Кузнечик (так его звали все), парнишка лет пятнадцати от силы, может быть, мой ровесник; Велихов, командир отряда; Гамов — бородатый, в очках; за ними сплошные телогрейки, шинели, ушанки — сила.

Они шли, опустив головы, неся руки свои устало. И что-то мешало Кузнечiku быть веселым — таким, каким, наверное, он был всегда.

Теперь я мог представить, что произошло в поселке, пока я прятался в школе. Вдоль родной моей улицы поднимались трубы печей над кучами пепла от сожженных домов. Остались кое-где бревна обугленные, на печах

стояли совсем по-домашнему чугуны и кастрюли, но людей в поселке не было, и без них он умер. За бывшей околицей далеким памятником растаяла школа с чернильными клетками окон.

Обо мне говорили. Отдельные слова долетали до меня и оставались в голове навсегда.

— ...совсем закоченел.

— ...ничего, смотрит, кажется.

— ...до лагеря рукой подать.

Спать хотелось все сильнее. В мой сон вошел едва уловимый запах зимнего леса, одинокий крик птицы, медленное движение воздуха, несшего миллионы невидимых кристаллов.

Когда я открыл глаза, темнота начинала выходить из-под деревьев у обочины, обрисовывая силуэты, похожие на лежащих в снежных взломах людей. Я вспомнил: нет, я не замерз в школе, спрятавшей меня, а синяя дорога с тяжелыми елями по бокам ведет в партизанский лагерь.

Сани и две наши тачанки вдруг остановились. Начался суд.

Ребров, хмурый и хмельной, всю ночь до утра прогулявший в дальней деревне, вместо того чтобы перехватить со своей группой карательный отряд, стоял перед Велиховым, переминаясь с ноги на ногу.

— Не успел, командир, выполнить задание. Не успел. Трудно было. — Взгляд Реброва обращен был вниз, на новые валенки, взятые им в той же злополучной деревне, где ему было так хорошо.

— Знаю, что не успел, — сказал Велихов, — видел и то, что успели сделать в поселке каратели. И ты, быть может, заметил...

Негромкий выстрел. И опять скрип саней. Снежинки, падающие на щеки. Плывущие по небу верхушки елей. И тут я понял, что знал этот лес, лица, разговор, знал, чем кончится справедливый суд и как упадет Ребров —

боком, неуклюже... Точно видел уже однажды все это и потому мог сказать точно, что произойдет в следующий момент. И в школе, и здесь, на дороге, выбегавшей из леса, как из бесконечной объемной рамы, я чувствовал эту родившуюся во мне способность, которая в иные минуты подавляла, даже пугала. И лес с его седым гребнем можно было остановить на секунду и рассмотреть, как под микроскопом: вот выпуклая снежная шапка слетала с головы дерева — я уже ждал ее падения, — и время опять текло мерно, как замерзающая река.

Я загадал: через несколько минут Кузнечик спросит Велихова о положении на фронте, о том, почему так далеко пустили немцев и будут ли они летом опять наступать. И еще о том, почему до сих пор не взорвали мост. Высветилась вырубка с высокими пнями. Кузнечик вступил на ее край, остановился, оглядывая темные срезы стволов, и, успев удивиться чему-то, опять зашагал, выкидывая ноги из-под серой сыпучей муки. За ним шли Валя-радистка и Гамов с трофейным автоматом за плечом. Казалось, они пели — это их глаза несли частицу песни, протяжной и грустной, как ветер. Кузнечик догнал Велихова, и я услышал:

— Николай Николаевич, как могло получиться, что немцев пустили чуть не до Москвы, потом отогнали, а летом опять будут они наступать?

— Остановят их. Пробудилось сердце нашей земли. Ранили они его, брат.

— А где это сердце, Николай Николаевич?

— Оно большое, сердце земли. На севере, где озера, как небо, просторны, а люди высоки и светловолосы, — там сердце земли нашей. И на юге, где ветры бегут от края степи до края моря, — там сердце это бьется в каждой груди человечей. И много восточнее, до самого Тихого океана, живо это сердце.

— А почему мы к мосту не идем, Николай Никола-

евич? Все ждем... Ясно ведь, где охрана стоит и пулеметные гнезда. Разве сил у нас мало?

— Ты когда, брат, хлеба досыта ел, помнишь?

— Когда подводу отбили у конвоя.

— Ну вот видишь... — сказал Велихов, как-то странно хмыкнув. — Вот видишь, — снова повторил он, как будто от слов Кузнечика ему стало неловко. — А насчет моста дело не такое уж ясное. Знаешь, сколько времени строили его?.. Два года. Такие мосты уничтожают тогда, когда их нельзя оставить. Для нас же. Посмотри: развалины вокруг, пепел землю присыпал, и люди точно рожь, которую скосить легко, трудно вырастить.

Пауза. Шорох шагов. Огонек самокрутки. Стихающие голоса. Молчание.

Я подумал о лагере. Захотелось представить, как он выглядит. И как только я вообразил дорогу к нему, партизанские землянки, высокую сосну около деревянного сарая, явилась уверенность, что мне доводилось уже видеть их, видеть наяву, а не во сне.

Небо веяло легкую порошу. Летело время. Открывались и пропадали извивы санного следа, а я никак не мог отделаться от возникшего в памяти видения: землянки на краю поляны, сарай со стенами из смолистых бревен, дым, ползший полупрозрачным облаком над его крышей, давно знакомые лица вокруг меня. И сарай был какой-то свой, точно провели мы немало часов у костра, разведенного внутри его, под квадратом, вырубленным в крыше (дым как раз и тянуло в этот квадрат). И уже родилась во мне радость, сродни той, какая приходит, когда возвращаешься домой после долгого отсутствия. Я знал, что никогда не был там, а видение не уходило, память подсказывала: у костра лежит человек в полушубке, под головой у него охапка сена. Раньше других я замечаю, что искры попали на сено — так близко к огню расположился человек. Дымок идет от его полушубка, по сену пробегают первые красные светляки.

А он спит! Это Ольмин, часа два назад вернувшийся с задания. Мы осторожно переносим его к холодной стене. Я зачерпываю корцом воду из бочки, чтобы погасить искры в сене...

...Смеркалось. Дорога как бы спускалась на морское дно — такой неоглядный простор открывался с холма. У горизонта темная лента леса уже сливалась с небом. Через несколько минут деревья расступились, открыв площадку с землянками. Передо мной вырос большой бревенчатый сарай, и я спрыгнул с саней. Внутри сарая горел костер, вокруг лежали толстые бревна-скамейки, в углу стояла бочка с водой, над ней висел на гвозде корец, с края которого стекала прозрачная капля — стекла, но, не успев упасть, застыла от холода, отражая красные угли костра, всплески света от искр летучих. У самого огня спал человек. Охалка сена в его изголовье и тулуп дымились от искр. Я взял корец, набрал воды и залил огоньки, подкраившиеся к нему. Кто-то произнес его фамилию — Ольмин — и прибавил крепкое словцо. Гамов и Хижняк осторожно перенесли его ближе к стене сарая. Так я попал к партизанам. Я знал их по именам раньше, чем успел с ними хотя бы словом перемолвиться.

Являются иногда необычные дни в конце января или, может быть, начале февраля, когда кажется, что пришла весна: воздух свеж, легок и влажен, а на полянах вырастают под солнцем первые золотистые сосульки. Но холодны утренние звезды, и песне весенней не слететь еще с губ. Такие дни наступили вскоре. Вместе с Кузнечиком я думал о лесных дорогах, ставших нашим домом. Встав до зари, ожегши рот кашей, я с необыкновенным наслаждением разбирал и собирал выданную мне винтовку, прицеливался в можжевельный куст, в раннюю тень сосны. Потом бежал к Велихову просить задание — на том основании, что мне уже исполнилось пятнадцать.

...Дороги тех лет.

Поздним вечером, когда окна и фонари гаснут, а движущиеся огоньки на дальнем шоссе кажутся глазами светящихся глубоководных рыб, мы листаем книги, в которых говорится о жизни и смерти, о любви и храбрости, о боях и танковых атаках, о солдатах и войне. Некоторые страницы этих книг посвящены событиям почти фантастическим.

— Нет, такое не проходит бесследно, — Гамов готов убеждать меня в невозможном. Впрочем, сегодня можно говорить обо всем. Тайна таких вечеров заключена в мимолетности настроения, в быстро преходящем желании убедиться в достоверности прошлого.

Я встретился с Гамовым снова лет через десять после войны, и мы стали настоящими друзьями. А до этого не виделись с ним с сорок четвертого, когда в Западной Белоруссии меня ранило. После войны он учился, преподавал, пробовал писать сценарии — но думается, у него так и не хватит времени на то, чтобы состариться. Есть люди, стремящиеся любой ценой дать ответ. Гамов в свои сорок семь прежде всего старается понять вопрос.

— Всегда остаются следы, пусть едва заметные или вовсе невидимые, но остаются. И память возрождается, воскресает в живых, она неуничтожима. Древние индусы верили, что мир создается вновь через каждые восемь с половиной миллиардов лет. Если хочешь возразить... — Гамов как-то мудро и добро улыбается, — если не согласен, назови хоть одну планету, песчинку, которая была бы старше этих восьми с половиной миллиардов. Мир не создан никем из людей и никем из богов — ты помнишь? — а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно угасающим и закономерно воспламеняющимся.

— Старый грек. Сочинитель гимнов огню.

— Он прав. Разве прибавишь хоть слово к его словам?

— Память неповторима. Как жизнь и смерть.

— Нет. Невидимое трудно уничтожить. Атомы, частицы — это эталоны прочности. Разве нужно рассказывать о миллиардах электрон-вольт, которые лишь иногда, довольно редко разбивают их?.. Крупинки вещества противостоят галактическим взрывам. А что такое память? Те же частицы, выстроенные в молекулах, как буквы в строчках. Может быть, есть неделимые атомы памяти, похожие на точки типографского рисунка. Через миллиарды лет — срок, конечно, точно не назовешь — слепая случайность соберет их так, что сложится рисунок, совпадающий с реальностью.

...Трудно верить в такое. Но почему бы, в самом деле, не попытаться взглянуть совсем по-иному на события тех дней? Я же предчувствовал появление партизан в школе — иначе ушел бы в лес или просто замерз. Может быть, это и не так уж невероятно: да, вселенная умирает и вновь рождается. Растворяются в пустотах потоки вещества, чтобы вспыхнуть и засветиться живым огнем, вихрем, из струй которого выпадают капли голубого стекла-звезды. Повторяется жизнь, начинается второй круг ее, но прах и пепел хранят неуничтожимые частицы памяти — и словно незримая нить пронизывает мир, повторяющий себя.

Впрочем, похожи два мира друг на друга во всем или только в наиболее существенном — вопрос особый. Гамов, насколько я понимаю, считает, что отдельные детали и ситуации повторяются, копируются, как отпечатки с одного негатива.

Вот к чему пришли мы в этот вечер, когда зеленый океан воздуха за окном растворил, казалось, границы пространства, прошлого и настоящего, в одном дуновении соединил запахи жизни, ушедшее тепло солнца и мерцающие звезды.

Странная, конечно, мысль: заставить путешествовать с одного полюса времени на другой пылинки, хранящие отсветы серебряных дождей, семикрылых радуг, отзвуки земных ураганов, голоса людей, всего сущего. Один раз в столетие или еще реже пылинки соединяются в мозаику — приходит вторая память, вестник бесконечного прошлого. Возникает Нечто... Предчувствие? Предвидение?

Как она рождается, вторая память? Это может напоминать и варку стекла, и белоснежные россыпи в садах, где в цветках зачинаются плоды, терпкие ягоды черемух, и появление цыпленка из скорлупы — похоже это на первый вдох и рост всего живого, вечный образец, повторяющий суть кузнечного горна и ржаного снопа. Так зернышки хромосом дают форму траве и листьям, а невидимые молекулы — цвет пламени.

...Гамов остается ночевать, потому что метро уже не работает, а живет он в другом конце Москвы. Мы не закрываем окна, в комнату приходят волны летнего воздуха. Так поздно, что квадратные огни в соседних домах давно выстроились, как марки на конвертах, — это окна подъездов. В полутьме я долго вижу огонек его сигареты.

А утром я провожаю Гамова к метро и на минуту задерживаюсь у входа, вглядываясь в лица прохожих — студентов, рабочих, молодых и стариков. Такие простые, знакомые лица, мне кажется, по ним можно читать мысли. И это они, их отцы и братья выстояли под Москвой. Это они задержали группу армий «Центр», дав возможность отмотилизоваться и подойти к Москве трем нашим армиям. Сотни тысяч ополченцев встали на дорогах Подмосковья. Их дивизии не были смяты и уничтожены.

Трудно утверждать, что в минуту крайней опасности, у грани возможного человек становится обладателем ка-

ких-то принципиально новых качеств, но что-то такое есть, я уверен.

«Помнишь его?» — спросил как-то Гамов. Он говорил о Велихове, не называя его имени. Такие вопросы возвращают нас к дорогам прошлого, выстанным воспоминаниями. Мог ли я забыть?..

Неповторимое дыхание близкой весны, последние слова солдат, видение смерти — удержать в памяти навсегда? Через миллиарды лет открыть непотерянные зерна жизни, священным трепетом наполняющие часы ожидания, минуты тревог?

Все чаще думаю я о действительных причинах случившегося. Гипотезе Гамова трудно что-либо противопоставить: вместо опровержения приходят новые доказательства. Вот уже снова бегут назад годы, дорога памяти ведет в прошлое, где я вижу каждое дерево, вижу свой дом сожженный, слышу знакомую песню.

Мне не забыть той песни — мы пронесли ее к берегу реки, откуда шла прямая дорога на мост. Земля наша дальняя, земля партизанская скрылась за холмом.

Много раз приходили мы к мосту. Стекали сосульки с его нагретых солнцем боков, ветры играли в фермах, звенело и дрожало железо поездов, низвергая вниз водопады звуков, точно эхо горных потоков. Мы бродили вокруг, как голодные волки, но ничего не могли поделаться с каменными опорами, прочными, как сама земля, с рельсами, твердыми, как кусок замерзшего хлеба. Это был наш мост, и мы хотели его теперь уничтожить — даже ценой жизни.

Мы вышли из лагеря вечером, когда русские старухи баюкали в деревнях детей. И знали: свободна заснеженная дорога и просторна, пока перед самым мостом ее не перегородят дула немецких пулеметов. А в деревне за насыпью стояла рота немецких автоматчиков, готовая

отстаивать наш мост. В одну ночь мы как птицы пронесли над спящей землей. Но труден был бросок: тягучее время то сжималось в мимолетные сны-мечты о теплых днях с рассыпавшейся на ветвях зарей, то являлось нескончаемыми метама стволов и кустов в бескрайней, казалось, пустыне.

У берега реки, у крутых глинистых берегов мы остановились, поджидая разведчиков. Кузнечик держался рядом с Велиховым.

— Видишь, как красивы и чисты этот лес и полотно реки, разделившее его пополам? — спросил Велихов.

— Да, они красивы, — ответил Кузнечик.

— А вся земля с просторными полями, серыми домами и большим небом над ней — разве она не прекрасна? — опять спросил Велихов.

— Ничего не знаю прекраснее, — звонко ответил Кузнечик.

Подожли разведчики, Камальдинов доложил Велихову, что путь к мосту свободен, а на станции стоит воинский эшелон с техникой, и они вполголоса продолжили разговор. Я знал, о чем шла речь. наших мин в деревянных ящиках не хватило бы для состава. Вот почему мы, тридцать человек из отряда, повернули на станцию, а остальные вместе с Велиховым продолжали двигаться к мосту. Вставал малиновый рассвет.

Пятеро наших в немецкой форме бесшумно сняли охрану поезда. Я стал машинистом. Когда-то отец брал меня с собой на паровоз, и пляшущие стрелки, рельсы, бегущие навстречу вместе с ветром, были памятны мне, близки. Легка и крылата была лопата, надежна плоть металла, послушно задышавшая огнем. Дошел до нас звук долгожданного взрыва: мост был искорежен, низвергнут.

— Не медли, машинист. — Камальдинов махнул рукой.

Сдвинулась земля. Застучали колеса. Сложились слова: «Беги, дорога; лейся, река ветра; звени, звени, паровозная песня!» Весело и быстро бежал старый паровоз в последний путь. Я не спрыгнул с подножки, чтобы спастись: снова пришло то самое чувство, и я знал, знал, что происходило на мосту.

Скоро в снежном поле тусклыми искрами замелькали выстрелы. Впереди, у взорванного моста — на насыпи, на рельсах, — лежали Велихов, Кузнечик, Хижняк, Гамов, Ольмин — все, кто остался прикрывать отход основных сил и раненых. В перестрелку успели вмешаться немецкие автоматчики, и теперь у насыпи решалась судьба отряда.

Я спрыгнул. Снег обжег лицо, и насыпь несколько раз перевернула меня, прежде чем опустить в сугроб. Растущий грохот. Состав рассыпался, вагоны катились вниз, в черные разводы реки. Лед, лопнувший после падения моста, взорвался тысячью осколков, подброшенных вверх гигантским фонтаном.

Я поднялся и побежал. Я хотел успеть, но опоздал. Если бы вторая память обманула меня!.. Кузнечик еще продолжал глубоко вдыхать воздух, точно хотел им напиться, — все медленней, медленней, неслышнее. На лице его застывало удивление, как будто он собирался сказать: «Ух ты!»

Не было ненависти в простом лице Велихова — лишь предельная собранность, внимание. Он приподнялся. Старенькая шапка его сдвинулась на затылок, на виски упали русые волосы, а на лбу странно подрагивала складка (сейчас он, наверное, мог бы показаться мальчиком: ему не было и двадцати шести — учителю из Новгорода, ставшему бойцом, лучшим из всех, кого я знал).

Раскрылось небо. Багряные лучи восхода ударили нам в глаза. Солнце слепило, стрелять было трудно, за насыпью поднимались серые шинели. Предчувствуя, что

произойдет, я не мог вмешаться в ход событий. Две пули прилипли к его груди, оставив на телогрейке красные пятна. Но там, впереди, где строчил автомат, не знали еще, что у него есть право на священный выстрел. Может быть, потому он и привстал, чтобы лучше увидеть тех, кто стрелял в Кузнечика. Целое мгновение рука его была тверда, а глаза по-прежнему внимательны.

Он успел ответить. За рельсами умолк автомат. Там снова залегли.

Глаза мои были непослушны, и влажные лучи заслоняли расплывшееся солнце своим неожиданным светом. Но лишь только прозвучал священный выстрел, я поднял тяжелую винтовку.

...На скате насыпи, где упали его руки в снег, выросли весной семь подснежников. А в деревьях у дороги темная сила растеклась, и земля три года рожь людскую не родила.

РЕКА МНЕ СКАЗАЛА...

Вот и река. С матово-зеленого закатного неба в ее темное зеркало уже упала первая звезда. Я сразу узнаю заводь, где мы купались в июне, где сейчас пахнет мятой, а тростник дремлет от безветрия. В нескольких сотнях метров от воды—минные поля, блиндажи, пулеметы, окопы. И на чужом и на нашем берегу. Фронт недвижим, он застыл. Граница проходит здесь, по Ловати, и не первый уж месяц. Пока я был в госпитале, ничто не изменилось. За моей спиной, в реденьком, полупрозрачном леске скорее угадывается, чем слышится негромкая песня. Там мои товарищи. Только Наденьки нет: она теперь в отдельном стрелковом батальоне, который держит оборону километрах в двадцати к северу от нас.

С ней успел я узнать, как тепло воздуха в часы звезд пряталось в древесные стволы. И почему ни зорями чистыми, ни светлыми яркими днями не куковала кукушка (в июне она «ячменным колоском подавилась»); и что говорили сердцу простые цветы — ландыши, васильки, цветы ржи. Дважды опускались и сходили росы над желто-синими берегами Ловати-реки, дважды гладь ее расплескалась под нашими ладонями голубыми брызгами звезд. Дважды на плечи к нам слетало золотистое утро. Не было третьего утра, третьей ночи, видно, много уж и так дано было тишины и покоя под дулами немецких пулеметов.

Далекий июнь. Две ночи. Память не сольет их воедино.

...Я вхожу в воду бесшумно и быстро. Наденька уже в реке: темное крыло волос прикрыло ее плечи, зыбкая волна блеснула под щекой. Мы ныряем с открытыми глазами, и звезды дрожат, как над костром; пряди их лучей не так-то просто собрать в прямые пучки. Нет в помине кузнечиков, кликавших свет в легкой мер-

цающей полутьме надводного мира. На дне звенит песок (интересно, слышно ли в воде стрельбу?).

Ласков, упруг серебряный ток чистых струй от наших рук. Кто вынырнет последним? Лунно-белая струя сбегает с моих плеч. Наденьке я проигрываю целую мину-ту. Не так уж много, казалось бы, но если учесть, что среди моих сверстников во всем Осташкове не было равных мне в этом виде состязаний...

Впрочем, Наденька девушка необычная. Она снайпер, окончила специальную школу. Но дело даже не в этом, потому что во вторую ночь...

— ...смотри на берег! Видишь? Может быть, ты думаешь, что это от ветра?

Ничего особенного я не замечаю. Берег как берег. Ветра нет совсем.

— Смотри внимательно. Еще раз. — Наденька поправляет волосы быстрыми неуловимыми движениями. Ее руки всплеснулись над глянцем воды, волосы сбросили капли, улеглись за спиной.

— Да ты за берегом наблюдай, за тростником! — говорит Наденька.

И тогда я наконец вижу: тростник качается, шелестит. Воздух неподвижен, трава повторяет движение ее рук, волос.

— Еще? — спрашивает она.

Я киваю.

Только что тростник был недвижим, но стоило ей прикоснуться к волосам — по воде разбежались блики изпод проснувшихся полутеней. Она опускает руки — медленно, устало... Тростник успокаивается, шелест тает.

— Как же это у тебя получается?

Наденька в ответ улыбается. А может быть, просто внимательно смотрит на меня. У нее очень большие темные глаза, но где-то в их глубине живет и живет улыбка, прозрачная веселость.

— Это шутка, — говорит она. — Хочешь что-нибудь посерьезнее?.. Я разбужу сейчас птицу.

Дрогнули ее губы, чуть-чуть, почти незаметно, точно слово должно было слететь с них, да так и не слетело, застыло — невысказанное, волшебное. Сошлись брови, глаза стали продолговатыми, внимательными, но и в них светилось то же желание, что не успело с губ слететь, обернувшись словом. Миг один, звезда дрогнуть не успела, а из-под двух сонных берез вырвалась птица, пулей пронзив раkitник в низком шальном полете.

— Вот и птица, — говорит Наденька, — только не спрашивай, как это у меня получается. Словами разве передашь?.. О живом нужно уметь думать не так, как обо всем остальном, понимаешь?

— Нет, не понимаю.

Хотя я и читал про биологическую радиосвязь (и сам был до войны студентом третьего курса физфака и знал, что любой мускул излучает радиоволны), я действительно ничего не понимаю.

— И я тоже, — сознается она, — уметь легче, чем знать и объяснять. Бывают минуты, когда кажется, что все можешь.

...Открылось утро, точно невидимая птица приподняла темно-голубые крылья. Ушли звезды с каплями светлой воды сквозь пальцы. Вставал ясный зеленый день. Очередь с чужого берега хлестнула по воде, прошла тростник. Пуля прошла сквозь мое плечо.

Я не успел даже спросить ее, откуда она явилась, чтобы вот так, под дулами пулеметов, купаться в Ловати, чтобы и самой стрелять — в людей же!

Два месяца в госпитале, в бывшем монастыре, — это как сон. Наши палаты-кельи были уютны и постылы; в последние дни можно и нужно было бы убежать. И как медленно текло время! А под Курском и Орлом уж гре-



мели залпы, которым не разбудить было вечной, казалось, тишины у нас. Особенно вечерами, когда в белом северном небе застывали перья облаков, приходили долгие часы размышлений, уносимых потом в сны-мечты. (Над Ловатью вечерами опускалась совсем другая тишина — вольная, тревожная.)

Впрочем, до глубокой ночи очень часто нас удерживала карта Курско-Орловского направления, которую капитан Дроздов нарисовал сам в таком масштабе, что она занимала весь бильярдный стол. Капитан стоял у карты на костылях, показывал, где прочертить стрелки, где обвести кружочками населенные пункты, отбитые у немцев. И нам чудились миллионы залпов, слившиеся в зарницы над русоволосыми солдатскими головами, над зелеными шлемами танков, плывших по земле. Увидеть бы эту землю; ожегши щеки, опалив брови, увидеть хоть бы пламя над ней, идти бы по бесконечным полям, лишь бы за спиной побольше оставалось этой земли...

— По-иному воюем теперь, — сказал как-то Дроздов. — Раньше, бывало, думали: откуда сила такая у немца, кто ж его остановит и когда? А начали вот с открытыми глазами действовать. Правильно я говорю?

С вопросом он обратился ко мне, но именно в эту-то минуту я задумался о другом.

Ловать-река, синие берега...

Днем позже я рассказал Дроздову о Наденьке, не назвав ее по имени. Память моя была золотым мостом в странные, далекие ночи. Тростник, теплый песок, серебряная от светлого неба и звездной пыли вода в заводи; птица — та, Наденькина птица... Дроздов, выслушав меня, сказал, что все это вздор.

Стал ли я думать о Наденьке реже? Нет, наверное. Человек бывает разным. Так уж получилось, что в долгие дни — в сушь, а чаще в дожди, когда в лугах за монастырем нестерпимо синели цветы, а своды церквушки медленно летели под казавшимися неподвижными обла-

ками, — я становился другим. Воспоминания сделались частью меня самого, они то высвечивались вдруг в моей голове с несказанной ясностью, то гасли на время, точно засыпая.

Мокрые свежие колокольчики мы дарили Женечке Спасской, которая ухаживала за нами в госпитале. Сероглазая и стройная, она была такой красивой, что влюбляться в нее не имело смысла. Но осталось видение женских глаз, их доброта и строгость, реже — лукавство, но главное — доброта, которую потом учишься замечать в других глазах, в другие годы. А перед ней ведь, и робея и восхищаясь, и часто и назойливо, возникали две совсем неважные фигуры в больничных халатах — инвалид на костылях и двадцатилетний мальчик с ненужно большой охапкой мокрых синих цветов...

Однажды, когда мы играли с Дроздовым в шахматы, я спросил его:

— Глеб Валентинович, вы когда-нибудь видели тростник? Только при очень легком ветре.

— Кажется, да. А что?

— Вопрос простой: почему качаются стебли? Не гнутся, заметьте, не приклоняются к воде, а качаются. Даже при слабом, постоянном ветре.

— Ну и почему же?

— Не знаю. Но, кажется, они похожи на маятник. Только ведь вот подвесьте обычный маятник у открытой форточки, и не будет ничего такого...

— Маятники разные есть. Маятник Фроуда раскачивается даже без толчков, нужно только повесить груз на вращающуюся ось. Это совсем обычный маятник, груз — блюдце, только наверху кольцо, и продето оно в стержень, а тот крутится. И с постоянной скоростью притом... Что, к своим захотелось? На Ловать-реку, а?

Он еще спрашивал. Только вот слово «свои» звучало как-то еще не совсем привычно. Свои... Да нет. Так, пожалуй. Все свои, даже те, кого я недолюбливал.

...Кто-то рассказал мне о записке, приколотой булавкой к стволу березы у околицы. На неизвестной мне, но своей дороге, у неизвестного, но своего села девичья, своя рука, оставила листок из ученической тетрадки: «Дорогие бойцы! Нас гонят в рабство. Спасите». Тогда, в госпитале, я еще не знал, что все бойцы моей части: и Женя Спасская, и раненые в госпитале, и военный инженер, капитан Дроздов — так и останутся навсегда своими, близкими людьми, о ком помнить буду всегда. Всегда, хотя раньше слова «свои» и «близкие» я понимал немного иначе.

В одну из последних моих ночей в госпитале пришел долгий необычный сон. От знакомой лесопилки за дощатым забором ветер нес, казалось, запах смолы, тепло пиленого дерева. По дороге, по которой в детстве мы бегали за малиной на опушку леса — на «малиновую поляну», шли отец и два моих брата. Шла мать, дядя Сергей и другой дядя, Михаил, потом мои одноклассники — Алексин, Климов и другие — все, кого можно увидеть вместе лишь во сне. У многих лица были белые — у тех, кто был мертв.

Старший брат Юрий и дядя Сергей шли вместе и молчали, они очень похожи, оба рослые и светловолосые, и лица у них белые-белые. Их убили под Ленинградом. За ними шел Саша Алексин, пропавший без вести. Потом мой младший брат Василий, и у него было белое лицо. Он совсем недавно на фронт ушел. Уж мать наша по нем, по милому ее сердцу Васеньке, сколько-сколько слез пролила! Прошел! Климов, живой и здоровый, молчаливый.

И вот я увидел Наденьку. Как темны ее волосы, как легка на ней солдатская шинель! Я всматриваюсь в ее лицо. Глаза у нее большие, совсем не грустные, темные и прозрачные, как всегда. Голос ее негромок, как будто себе самой говорит:

— Залетку моего жду. Весточки все нет и нет...

Не уберегла его. Мало мы были с ним. Захочет ли разыскать меня после госпиталя, вспомнит ли?.. Увидеть ли Андриюшеньку? Догадается ли, что жду его, что нет радости желанней, чем свидеться с ним?..

У нее бледное лицо. Я смотрю и смотрю на него, чтобы получше запомнить. Но тут что-то мешает мне. Я просыпаюсь. Палата. Утренний свет. Окно. Черный шумливый грузовичок, качнув бортами, резво выбежал за ворота, поднялся на пригорок и, застыв на мгновение и выпустив сизоватое облачко, превратился в тающую тень. Я окончательно просыпаюсь. Летучая пыль, рожденная тремя жаркими днями, обозначила в воздухе след машины, а он вызвал мысль о возвращении в часть. Вскоре меня выписали из госпиталя.

Двадцать километров... Я пройду их за четыре часа, и могу даже быстрее, много быстрее. А найду ли Наденьку?

Все живое и на нашем и на чужом берегу затаилось, и уже спят желтоспинные окуни, которые и сейчас, в августе, тоже помнят, наверное, июньские ночи. Очень приблизительно, совсем нетвердо (мне и неловко было расспрашивать) могу указать я направление, в котором ушел отдельный стрелковый батальон. В ту сторону текла река, словно указывая верную дорогу. Тростник говорил о скорой осени; днем я слышал, как прозвенел первый желтый лист. Вода же была тепла. Я бы искупался, как прежде, только одному купаться... я подбираю слово: невесело? боязно?..

Не купаться бы мне ночью в Ловати и раньше, если б однажды сама она не подошла ко мне и не сказала:

— Искупаться бы в реке, да днем нельзя, а ночью боюсь одна, может, присмотрите за мной?

И мы скрылись. Не хрустнула ветка, не качнула светлым свечным языком ночная фиалка. Возникла и

пролетела ласковой птицей первая ночь. Как же давно это было!

...Наш комбат был строг и справедлив. Если б не он, очень могло статься, что Наденьке проходу бы не давали, такая она была ладная девушка. Комбат сказал:

— Прекратить. Она нам должна товарищем стать, бойцом. Если надо будет, товарищ Наденька сама разберется, кто чего стоит.

Но никогда, ни в первую, ни во вторую ночь, не говорилось нами слов, подобных тем, которые слышались мне в госпитале, во сне.

А что, если сейчас пойти берегом, не приведет ли сама река меня к ней? — думал я. Трудно, конечно, рассчитывать на это — один шанс из тысячи, что я сразу, сейчас смогу ее разыскать. И все-таки... Странная мысль не покидала меня. Я даже не заметил, как ладонь моя коснулась мокрого песка: я сидел на корточках у самого берега, и мне хотелось почему-то дотянуться до тростника. Меня отделяла от него полоса темной воды шагов в пять шириной.

И тогда я увидел вдруг: тростник качался, шорох был почти неслышен, иначе я обратил бы на это внимание раньше. Высокие тонкие копыя как-то дружно гнулись и выпрямлялись, сквозь их колеблющийся строй иногда высвечивались светлые пылинки звезд, упавших в воду. С необыкновенным вниманием пытался я уловить хотя бы малейшее движение воздуха. Иногда мне казалось, что веет легкий ветерок. Минутой позже я убеждался, что вокруг спокойно и тихо — так, как только может быть в ясную ночь самого спокойного месяца года — августа. И потом, когда я пришел сегодня к реке, тростник был недвижим. Я же отлично помнил: час назад было так же вот тихо, пахло мятой...

Я раздумывал. Совсем недолго. Потом встал и пошел берегом. Я шагал все быстрее и быстрее, пока наконец не побежал. И мне казалось: вот там, за поворотом

берега, за выступом ракитника, увижу ее. Ведь я знал, знал, что она была где-то у реки, может быть, так же, как и я, сидела у берега... Потому и шелестел тростник.

Она поправляла волосы! Как раньше. Может быть, она даже догадывалась, что я уже вернулся. Шумела таволга, била по плечам, а я не улавливал ее запаха. Мое время — до утра, как и тогда, в июне. Лишь чей-то вскрик «стой!», оставшийся за спиной, лишь брызги из-под травы, устлавшей прибрежное болотце, лишь быстрые звуки сломанных веток. Я уверился в неожиданной, нелепой мысли. И я — подумать только! — боялся, что Наденька могла уйти. Сухой сук оставил на моей щеке глубокую кровоточащую царапину, почти рану, а я почувствовал лишь легкое тепло от стекавшей за воротник крови.

Не знаю, сколько прошло времени, — я остановился. Смыл кровь, растянулся на траве, и мне долго не хотелось вставать.

Тот же вопрос лениво, неназойливо всплывал в моей памяти. О маятнике. Ветер раскачивает стебли так же, как постоянное вращение оси — маятник Фроуда. Ведь метелки тростника как бы текут вместе с воздухом, стоит им наклониться — и тогда уж ветер не мешает им снова подняться. Потом опять и листья и метелки становятся поперек невесомому, казалось бы, току воздуха. И снова движение вниз. Потом вверх. Бесконечное движение. Но маятник Фроуда очень чувствительный механизм. Малейшее изменение массы или упругости или самые легкие толчки могут разбудить его или, наоборот, остановить. Дроздов говорил, что сам Жуковский, создатель теории крыла, находил время, чтобы снова и снова возвращаться к загадке маятника Фроуда. Дроздов как-то согласился со мной, что слабые электромагнитные волны могут раскачать маятник, согласен он был и с тем, что человек излучает такие волны, ведь об этом писали уже в двадцатых годах, а вот рассказу моему о

тростнике так и не поверил. Да верил ли я сам?.. Почему-то никто не задумывается над тем, отчего качается тростник. Но, по существу, ответа на этот простой вопрос нет. А если еще трава качается, повторяя движение человеческих пальцев?.. Маятник Фроуда, электромагнитные волны... Нет, трудно было убедить в этом кого бы то ни было. Возможно ли? — задавал я себе один и тот же вопрос.

А звезда, которая сегодня вечером первой взошла над лесом, повисла уже надо мной и словно позвала меня побыстрее идти. Я встал. То знакомое многим ощущение, когда руки и ноги от усталости кажутся ватными, постепенно, с каждым новым шагом исчезало. Река опять говорила мне о близкой встрече: едва слышно шептали о ней длинные листья тростника (а ветра не было). В небе уж проступала белая заря, вода становилась синее, дорога была легче, и усталость пропала совсем.

Я сначала угадал Наденьку за пологим далеким поворотом. Потом увидел ее. Потом поверил. Она бежала навстречу. Шинель была накинута на ее плечи, она торопливо поправляла волосы одной рукой, другой — застегивала ворот белой рубашки. Все вокруг уже собиралось вдруг по-летнему проснуться. Кажется, звучали уж голоса — смутные, неясные. Вели разговор птицы-невидимки, и рос прерывистый гул самолета над другим берегом, наполнявший предрассветное пространство неизъяснимым предвестием тревоги.

Звонок голос Наденьки:

— Андрей Николаевич, Андрюша! Радость-то какая! Я-то все думала: нет и нет нашего Андрюшеньки. А сегодня вечером уж знала, догадывалась, что ты приехал. Здравствуй, Андрюшенька. Здравствуй!..

Совсем рядом были ее темные, но прозрачные глаза. Мы были уже вместе. Тогда ее и настигла неожиданная пуля с другого берега.

...Пришла осень на берега Ловати-реки. Черная земля прикрылась чем могла: опавшими листьями, пожухлой травой, намокшей соломой, упавшей в придорожье с воза. Отсветились синим светом берега; серой мглой упали на них легкокрылые зори; осень военная принесла с золотом листьев серебро слез. Наша часть шла на юг, к Белоруссии. Дороги под ногами, под колесами машин были вымощены стволами берез и осин. Кровью заалели ягоды рябины на голых ветвях. Дожди вымыли наши сапоги, и по первому снегу мы двинулись в долгожданный бой. Перед нами лежала прекрасная, но истерзанная войной земля — Белая Русь.

Наполнив гулом обнаженные леса, исковеркав деревья, сжигая дома, оставляя тела на снегу, война постепенно уходила от берегов, где отзвучал Наденькин голос, но где навсегда, казалось, остались следы на песке, которого касались ее ноги.

КРАСНЫЕ КОНИ

Приклонены травы, примяты цветы — свободно поле. Взвился над ним серебряный голос — трубач чеканил серебро победы. Стыл успокоенный воздух. Пламя ушло в землю. Лишь тлели стальные остовы. Умолкли живые. А губы мертвых прикрыты вороновым крылом, кровь стекла под камни. Встали кони — ноги как струны. Уши их, как паруса, наполнились дыханием всадников.

Изнемогло всеильное солнце. Уснуло утро. Уснул день. Чистой дорогой красные кони умчались в далекий закат.

Печальна была ночь и тревожна. Зоркими и желтыми рысьими глазами мерцали над нами звезды. Нас грел пепел костра. В теплом воздухе над ним расплывалось лицо Вальцева. Он один из эскадрона остался с нами: руку его перевязала наша сестра, утром он уйдет по следам своих. Умный конь его косил карим оком, прислушиваясь к человеческому разговору: нелегкий путь ему выпадет ранней порой, но легче все же немедленного ночного похода — стремительней, свободнее. Зола костра поднималась облачком, точно черный дождь высккивали из нее мелкие — летние — картофелинки. Их умещалось на наших ладонях столько же, сколько орехов.

— На моем коне — день пути в любой конец, — сразу на все вопросы отвечал Вальцев. — А упадет конь от шальной пули — и так доберусь. От зари до полудня тридцать километров легко отшагаю, успею к роднику. Воды испив ключевой, отдохну час и к ночи на месте буду. Длиннен летний день — коротка дорога, знаете?.. А умирать не время. Потому что жизнь одна и кончается одной смертью, нет у меня двух жизней. Жалею, что мертвым не смогу стрелять, что шашку не смогу держать, что сердце мое уснет. Сколько, сколько я еще деньков повоевал бы!

...Вальцев как будто и не спал. Когда меня разбудила рассветная прохлада, он стоял, прислонясь к сосне, задумчиво перебирая клапаны корнета.

— Это вам, лейтенант. Я оставляю вам кавалерийский корнет. Станет жарко — дайте знать, придем на помощь, если будем живы.

— Если вы будете у шоссе или у переправы, то не услышите даже пушечной пальбы. Здесь будет жарко, но...

— Нет, нет, лейтенант, дайте сигнал. Есть мелодия, которая слышна всюду. Исполните ее, вот она...

Он сыграл сигнал. Мелодия была сложной, и он долго и терпеливо показывал мне, как работать с вентилями, как держать инструмент, как постепенно опускать его, так чтобы последний звук слетел точно в сторону горизонта.

— Помните: эта мелодия дойдет до нас, не ошибитесь. Вызывайте нас на заре — и ни одного неверного звука! Сможете повторить?

Я кивнул, хотя и не совсем понятны были его слова. Но я верил ему как самому себе.

...Я провожал его взглядом, и он обернулся. Мне запомнились пушистые рыжие усы, доброе лицо и продолговатые большие глаза. Махнул рукой вперед и поскакал, а я смотрел вслед, пока воздух росистого рассвета не растворил движение красного от восхода коня, а потом зеленый туман кустов не скрыл и всадника.

Скоро поднялась паром роса. Неколебим, тих, долог был иззаоблачный свет. К вечеру тревога разлилась во круг, овладела полем, приглушила голос травы. На исходе ночи загремела вдали канонада. По раннему серому облаку рассыпались огнецветные ракетные отблески. Но вот прервался пространный напев орудий. Смолкло эхо.

И тогда всколыхнулась земля перед нами. Тяжело ударили минометы, больно хлестнул горячий вихрь, пол-

часа овевавший окопы, несший осколки, заставлявший все и вся говорить, моля о пощаде, о тишине. Комья глины летали и ползали, точно шмели.

...Отплескалось море огня, вдаль укатил огнедышащий вал, пришло молчание. Из молчания возник шорох, трепет пробежал по былинкам: это Тороков уходил на восток, уходил от неминуемой атаки, от пуль, от страха. Я поднял винтовку. Но видел ли он тот амбар у калужской дороги? В этом было все дело.

«Уг-ху, уг-ху!» — зловеще вскричал потревоженный филин и прикрыл глаза мои темными крылами. Или это в голове моей помутилось?.. Пришло воспоминание. Передо мной была дверь, обитая ржавым железом. Девушка еще дышала, когда свет проник к ее изголовью, а глаза уже гасли, умирали. Долго шел я к ней по земляному полу, хотя нужны были лишь семь мужских шагов. На животе ее горячая спица выжгла надпись: «Очаровательная партизанка Людмила Хлебникова, собственность батальона СС». Сквозь матовую кожу груди и ног проступала татуировка: инициалы, фамилии... автографы. В углу амбара тлели угли. Наверное, они привезли ее туда, во всяком случае, в деревне никто не знал ее. Может быть, они долго возили ее с собой. И не раз потом память вела меня по дороге нашего первого зимнего наступления — к калужской деревне.

Так помнил ли Тороков это имя: Людмила Хлебникова? Несколько мгновений я колебался. Но я был уверен в другом: не мог он забыть старуху с детьми. Они вышли из леса, встречая нас, и на их лицах не было ни слез, ни улыбок. Да, он видел старуху и видел детей. Я прицелился. Выстрел остановил его. Медленно, нехотя упал Тороков в зеленоватый полусумрак. Многожды вызвенит осенний ветер мелодию смерти на его костях, но не будет ему места в песне людей.

Поле оживало. Подняв снайперскую винтовку, я наблюдал: квадраты стальных граней тяжелыми каплями

ртути вливались в ее прицел — танки. Маячили, покачиваясь на ходу, их панцири, поднимались и опускались пушки — циклопы глаза, гусеницы — крокодилы зубы жевали землю. За танками шли автоматчики.

Крикнул я:

— Забелло! Посмотри, брат, какая сила идет на нас!

Молчание. Еще раз услышал я свой голос точно со стороны:

— Забелло, Забелло! Не твой ли пулемет был так говорлив? Помоги врага встретить, пехоту отсечь.

Молчал окоп. Спал Забелло крепким сном. Не снилась ему хата под высоким тополем, отлетела от него память о давних днях. Быстрая трава сквозь пальцы его прорастала. Вековечен был его сон.

Снова крикнул я:

— Малинин! Послушай, как осторожно ползут танки. Боятся нас, хоть и прибыло паучьего полку крестовиков... Что ж, Валя, ни словечка не вымолвишь? Или спишь?

Глух был окоп, сиротлив. Упал Малинин и перед смертью нечаянно уронил винтовку. Не слетит больше с его губ заветное имя, написанное на прикладе.

Надя, Наденька из Беломорска! Не видать тебе милого дроли, залетки твоего сероглазого. Не скажешь порой осенней поутру:

— Ласточка перелетная, отнеси приветное слово ладе дороговому, ягодинке моему. Пусть не остынет его сердце, не устанут в бою руки.

Скажешь:

— Белые лебеди! Оброните перышко — прикрыть губы залетке моему. Гусек серый, казарка пролетная! Дай перышко на дролину могилу — прикрыть глаза ему.

Скажешь раным-рано:

— Хочу видеть милого залетку, сама упокоить его хочу. Да не видеть мне его и мертвым. Ветер-батюшка, ветер-северик! Возьми слезы, возьми подарки птиц про-

летних, омой лицо его. Прикрой глаза и губы его, упокой его. Отнеси, ветер, прощальное слово милому за-летке.

В другую сторону поля обратился я:

— Бафáнов! Жив ли? Видишь ли силу грозную? Воистину равным будет бой. Много уж мы и так земли одолжили друзьям незванным. Пора их встретить достойно.

Откликнулся Бафáнов:

— Не дали минометы сон досмотреть. Передохну с минуту. Возьми на себя, лейтенант, головной танк. А уж другие оставь мне и Камальдинову. Есть у нас и гранаты, есть и дорогой гостинец для стальных пауков — противотанковое ружье.

Глухой голос был у него. Догадался я: ранен Бафáнов. И подумал: «Держись, держись, не дай ружью овдоветь. Знали мы и лучшую долю, и тихие ночи давней весны — ушло все, как брага из корца, унесено военными ветрами минувшего года, как листья убитого пулями клена. Никто не рожден для смерти. Никто не рожден и для неволи».

Уж павшие звали к победе. Не мучило никого сомнение, легок был бой. Задышал его горн. Застучало танковое огниво. Ударили молотки пуль по стальным наковальням. Небо скрылось под дымным саваном. Угасли зеленые костры деревьев, зажглась высокая лампада — танковый факел. Явилась победа.

Настал час размышлений. Корнет, подарок Вальцева, что он такое? — думал я. Не пора ли испытать его силу? «Вызывай нас на заре, когда засветятся облака», — это были слова Вальцева, и я старался проникнуть в их смысл. Не беспредельна цена человеческой

жизни. Мы не смогли бы, пожалуй, удержать подступы к сиреневому шоссе, слишком мало нас осталось. Жаль, но я ничего не мог поделать: наши жизни, вместе взятые, стоили уже меньше, чем прорыв противника в тыл частей, перекрывших узкую ленту асфальта. А дороги — горло войны.

Вот почему ночью я не расставался мыслью с корнетом; моя щека грела его металл. Могла помешать стрельба, и я решил повторить мелодию несколько раз, чтобы они слышали. Но не представлял я, как это случится — при расстоянии за сорок километров. «На заре, когда засветятся облака...» — повторял я. И странная мысль овладевала мной. Захотелось представить, как выглядит шоссе сверху, увидеть дорожку для нас сиреневую полосу, бегущую через поля, где подрагивал донник, а травы ложились под ноги до самых горизонтов, через леса и синие волны холмов, окаймленную стрелами сосен и елей, а южнее — светлыми кострами кленов. Еще южнее и западнее вспыхивали, извивались и росли цветы огня, блеклые цветы дыма. Но можно ли и в самом деле увидеть шоссе? Да, нужно повернуть лучи к земле. Ведь воздух — это увеличительное стекло, призма, заставляющая иногда свет сначала подняться, а потом опуститься где-то привидением, миражем. А звук?..

Выветилась пряжа облаков. Пора, подумал я, пора! В моих руках заговорил серебряным голосом кавалерийский корнет. В заоблачный край, в сияние синевы ушел зыбкий трепет — запевками, заклинаниями, непонятыми мной заклятиями. Я поднимал и опускал корнет, мелодия кончилась — я замер. Отозвалось эхо. Вот оно что, подумал я, звуки идут разными путями — отражаются от деревьев, земли и возносятся к облакам — в верхнем, нагретом солнцем слое воздуха они поворачивают, опускаются, далеко-далеко падают вниз, собираясь воедино. Так линза собирает тепло — и плавится металл.

Из камней, кирпича возводится руками каменщиков дом, песчинки растят гору, из отдельных звуков возникает громкий всплеск. Длиннее мелодия, больше звуков-песчинок — выше гора. Само солнце, нагревая воздух, складывает из кусочков мелодии отрывистый сигнал тревоги.

Но для этого нужно точно рассчитать рисунок звуковых волн, их узор, познать движение ветров, взлет зари и отлить их в сплав звучаний. Иначе волны не усилят друг друга, не сложатся, а, наоборот, погасят сами себя. Теперь я не только верил, но, кажется, начинал понимать... Да, соединить волны нелегко. Даже на море не поднимаются они выше девятого вала. Но волны воздуха почти свободны от гравитации — они легки, даже невесомы. Мелодия же, ключ к разгадке, может быть, лишь слышимость утренней ясности, звукопись солнечных бликов, отклик чувства на них.

...Где ж твои всадники, земля полей? Где кони, лёт которых над зеленым краем твоим быстрее голоса птичьего? Увидеть ли нам вас, услышать ли, как расплещется под копытами студёный ручей? Или высохнет он прежде, а окопы, пахнувшие травяной влагой и солдатским телом, станут нам могилой — желаннее могил в других местах? А дух солдатский будет жить и жить под светильником неба — сама смерть станет оружием, предвестником вашей победы!

Звонкий тонкий металл, легкие вентили, серебристый мундштук. Ясным голосом пел в моих руках кавалерийский корнет. «Оэй! — вторило эхо. — Оэй!»

Милый Вальцев! Не ждал я его так скоро, да и ждал ли вообще? А он расседлал коня, пошел мне навстречу, и впору было сказать: «Сколько лет...», хотя и виделись мы совсем как будто недавно. Усы его стали зеленоватыми от пыли, поблекли синие погоны.

— Ты один? — спросил я, тотчас осознав неуместность вопроса.

— Нас двое, — ответил он, — ты забыл про моего коня.

Он долго черпал здоровой рукой воду из помятого закопченного ведерка и плескался над седым сосновым корнем, смывая с лица зеленую пыль. Новости, привезенные им, были печальнее наших: у переправы в схватке с горными стрелками ранен командир эскадрона лейтенант Лён и убиты двадцать семь человек.

Но Лён все же послал его к нам и передал, что будет помощь, если станет легче. Эскадрон сдерживал противника вместе с другими частями. Я знал твердо: трудно рассчитывать на то, что станет легче. За нашими плечами — Воронеж, южнее и восточнее — Сталинград, Волга, Урал...

Вальцев рассказывал:

— Войну начинал пулеметчиком на тачанке. Коней любил всегда, хотя родился не на Дону и не на Кубани. Мальчишкой ходил в ночное. Потом — рабфак в Калуге, институт в Москве, война...

Постепенно время сжималось, настоящее смыкалось с прошлым, словно и не расставался я с ним, а наше знакомство отодвигалось все дальше, в давние дни.

— В Калуге осталась у меня и девушка, да не знаю, где она сейчас. — Вальцев умолкает и, закинув руку назад, обхватывает ладонью ствол сосны. Но что это? В его глазах я точно вижу отражение других глаз. Нет, это невозможно, и все-таки я спрашиваю:

— Как зовут твою девушку, Сережа?

— Люда. Людмила Хлебникова.

Я отвожу взгляд. Как хорошо, что он не может читать мои мысли так же, как я его. Этого не было, твержу я, не было амбара на калужской дороге, а сам чувствую, как кровь бьется в висках, и я хочу укрыться от его глаз в темноту вечера.

...Еще одна ночь отошла на запад. Медленно, устало занималась заря, да не успела раскрыться, выстлаться кумачовой скатертью — облачные перья разлетелись по небу, зашпешили прикрыть кумач и край золотого блюда.

«Быть, быть празднику!» — сказал голубой орудийный залп. «О-о, — проснулось эхо. — О-ох!»

Мы встречали день выстрелами, пулеметными очередями. По нас с правильными интервалами били пушки. Залегла и вновь поднялась пехота, зародилось движение боя. Вальцев сменил Забелло, их пулемет жил, не остывал, а Бафанов смолк. Жив ли Бафанов? Я с тревогой думал о нем. Вскоре слышен стал его голос:

— Ослеп я, лейтенант. Огонь глаза мои выжег. Не увижу я больше неприятеля. Возьми на себя три танка, остальные я встречу. Сестрица прицел установит, есть у нас и гранаты, есть и дорогой гостинец для стальных пауков — противотанковое ружье.

Нежданная пуля нашла и меня. Вот и на моей груди расцвел кровавый цветок; видно, относил я гимнастерку. Качнулся, зашевелился надо мной прохладный пепел. Я прижал к ране ладонь, сел. Варя перевязала рану, я не умер: слышал перестрелку, видел следы пуль на листьях, знал, как бежало по холмам, по лесам сиреневое шоссе. Мы были еще живы, и они отходили...

Вальцев, тоже раненный, склонился ко мне, и я понял: он догадался. В его глазах был вопрос: «Ты видел ее?» Я ответил: «Да, видел». Вот и все, он не попросит рассказать, подумал я, такими, как он, движет чувство правды — это выше мести. Но что такое чувство правды, когда оно приходит? Наверное, когда в душе сливается воедино все человеческое. Как звуки мелодии, которую ему удалось подобрать.

Я хотел спросить, как он нашел ее, но передумал. Попробуйте спросить, как приходят песни. Ответом бу-

дет улыбка, потому что это тайна. Я протянул ему корнет и сказал только:

— Сегодня мы живы, а завтра?.. Пусть услышит Лён и другие, что мы победили. Передай привет храброму Лёну.

В последний раз возвысился над нами ясный серебряный голос, и казалось: звучащая явь подсказывала слова.

— Мы не всегда были мертвыми — мы были живыми! — пел корнет.

— ...живыми, — сказало эхо.

— Мы пали за свободу! — пел корнет.

— ...за свободу! — сказало эхо.

Милый Вальцев! Прекрасна вещая песня, оставленная тобой, вечны ее слова.

...Легко ли умереть, не увидев ясного лика земли? Ведь шевелились еще хвосты дыма, свет стоял багровыми столбами, лощина выгорела, мята высохла, птицы смолкли. Уснул красный конь. Кровь же была горяча и жгла сердце. Я чуть было не изверился, но скоро все переменялось. Пришла прозрачная ночь; проросли, открылись голубые цветы звезд. Поднялась первая чистая заря. Три чистых зари — три алых птицы взлетали над нами. Перед четвертой мы стали камнями и травой, мы стали песней.

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ

Странный вечер: сегодня как будто хотят встретиться друг с другом солнце, дождь и ветер. Нагнало облаков, и белых и темных, они плавают над крышами, как весенние льдины, и хочется протянуть руки и потрогать их: какие они — холодные или теплые, мягкие или, может быть, хрупкие? А люди кажутся сегодня суетливыми и смешными. Меня могла бы сбить машина, скрип тормозов и ругань шофера я услышал над самым ухом. Словно очнувшись, я прыгнул на тротуар и сбил с ног старика, точильщика ножей. Я немного знаю его (хотя на нашей улице он не частый гость), война почти не оставила ему лица — шрам вместо бровей, и ни одного лоскута здоровой кожи. К тому же он, вероятно, контужен: ни раньше, ни даже сегодня, когда я помогал ему встать, он не проронил ни слова.

Странный вечер. В конце рабочего дня ко мне вдруг забежал Левин и принес пластмассовый преобразователь, который он пообещал год назад. Но мне даже не захотелось попробовать прибор, прийти домой и сразу же попробовать, я отправился в кино на шестичасовой сеанс.

Сначала показывали старую хронику, крутили ленты, присыпанные желтоватой пылью времени — пылью, которая не стирается. Из оврагов, из заснеженных лошин выползали танки, и с попутными льдыстыми ветрами летели над полями лыжники. И стройный солдат, бегущий впереди, рядом со стремительной тридцатьчетверкой, был очень похож на отца.

Странный вечер. Но если разобраться, ничего особенного не случилось. И вот сейчас, уже дома, когда за стеной в соседней комнате отчим шуршит газетой, то и дело направляя ее на нужных страницах, и громко прихлебывает чай, я постепенно успокаиваюсь. Я слышу голос матери. Щелканье телевизионных клавиш. Сухой

звук от вспыхнувшей спички (отчим курит, но «в меру», десять сигарет в день, и только с фильтром). Иногда в такие же вот вечера мне слышно, как отчим добродушно прохаживается по моему адресу. Будучи хорошим и добросовестным отчимом, он должен меня любить, но что же за любовь без отеческих наставлений, дружеских пожеланий и мужских откровений? Он любит беседовать о молодежи вообще: то с горечью сетует на инертность и пассивность «наших молодых людей», то кругло и едко говорит о «сопляках-выскачках», которые «всегда и все обязательно испортят», и в обоих случаях находит поддержку матери.

В отношении меня отчим прав: все-то у меня получается не как у людей, я и сам себя считаю неудачником. Прошлой весной я чуть не женился на девушке, которая мне очень нравилась, но оказалось, что она, встречаясь со мной, любила другого. С тех пор прошел год. И весь год я думал о ней, о жизни вообще и о любви и о смерти — обо всем.

Почувствовать себя наконец взрослым в двадцать шесть — это не так уж плохо, как говорит мой отчим. Мне пришла в голову простая мысль: отец погиб, когда был моложе, чем я сейчас, мой дед — тоже. Значит, я самый старший из всех нас.

Как-то я сказал матери, что надоела мелочная опека, что не могу тратить время на споры по пустякам. Но разве ее убедишь? Она до сих пор боится выйти из дому, если я принимаю ванну. Она думает, что я могу заснуть в теплой воде и захлебнуться.

Вообще-то мы живем дружно. Я даже не обижаюсь на отчима за нравоучительный тон — ведь и я могу высказывать ему все, что думаю о нем. А когда он надоедает своим пыхтением над газетой, как сейчас, я просто ухожу в свою комнату и из вежливости не закрываю дверь совсем, а лишь чуть прикрываю. Мой отчим «жизнь не по книгам изучал», он «специалист о

большим стажем», практик. Но, по-моему, если это и должно давать какие-то преимущества, то лишь при прочих равных условиях.

Может быть, я несправедлив к отчиму, иногда бываю не прав. Может быть, все дело в том, что я помню отца. Я еще не ходил в школу, когда он ушел на фронт, но я тогда уже разговаривал с ним обо всем: о Земле, о Солнце, об атомах. Мы листали с ним старые книги, где на обороте титульного листа было непременно напечатано: «Бумага без примеси древесной массы (веле-невая)». Отец научил меня читать по первому тому «Жизни растений», и так я впервые узнал о цейлонских лесах, багровых снегах Гренландии (такими они кажутся иногда из-за массы микроскопических водорослей), о светящихся мхах и кровожадных росянках. Как легко и просто было путешествовать от страницы к странице, по горам и долинам на каком-нибудь допотопном бумажном динозавре, ошетилившемся миллионом строк! Вместе мы разбирались в тонкостях трехцветной печати и в природе северных сияний, рассматривали радиолярий и свечение в гейслеровых трубках — пока мать не укладывала меня спать (отец, мне кажется, ни за что не догадался бы сделать это вовремя).

Старые книги и сейчас стоят на полках моего шкафа. Время не состарило их: навсегда останутся такими же четкими тисненными золотом буквы на их переплетах.

В сорок втором отца отпустили с кафедры, он ушел на фронт и пропал без вести. А бабушка моя все ждала его и ждала, и в сорок пятом, и в сорок седьмом, пока не умерла. В сорок восьмом пришел отчим, и, конечно, нам с матерью жить стало легче.

Отец стал для меня мифом.

Где-то я видел картину. Она называлась коротко: «Солдат». Солдат держит в руке автомат. Под его ногами и вокруг — до самого горизонта — горят, словно игрушечные, танки и разбитые самоходки, идут в ата-

ку и ложатся на почерневший снег пехотные батальоны. Гигантская фигура солдата не гротескна, не громоздка. Это просто рослый и стройный солдат, и рука его как-то даже нежно сжимает автомат. Под его ногами война, он же словно не замечает ее, а смотрит куда-то в сторону, вдаль. Наверное, сквозь кровавые огни и разрывы он увидел кусочек синего неба. Но только мину-ту постоит так солдат. Сейчас, сейчас его рота поднимется с земли, встанет во весь свой исполинский рост, и они пойдут на юг и на запад, топча сапогами огонь. Нужно ли говорить, что солдат на картине похож на моего отца?

А однажды, очень давно, мне приснилась черная опушка зимнего леса и дома, сожженные дотла, — только печные трубы торчат, как надгробья. Стужа. Дыхание превращается в снежок, в иней. Мы будто бы бежим к опушке, а впереди вздрагивает снег, как от ударов палками. У опушки дергаются темные фигурки и тают серые дымки. На мне белый маскировочный халат с заиндевевшими рукавами, ноги с трудом поднимают снежную стеклянную вату. Меня что-то стукнуло вдруг в лицо, в голову так сильно, что я не почувствовал боли. На этом сон оборвался. Помню, я вскочил с кровати, пытаюсь справиться с испугом. За морозным окном ярко горели утренние звезды, в на-топленной комнате было так тепло и уютно! Негромко тикали часы, за стеной похрапывал отчим.

...Мне видно, как скатилось вниз солнце по остывающей крыше соседнего дома, как потемнели деревья скверика, в складках которых воробьиные выводки только что устроили шумную возню. Час звезд еще не настал. Еще светятся, как вишни, купола церквушки, а открытое настежь окно дышит теплом совсем по-дневному.

Я помню закаты с сорок пятого. Тогда почему-то развелось много стрижей, сейчас их почти не видно.

В сорок девятом крыши поросли первыми телевизионными антеннами, а мимо моего окна стал иногда проходить точильщик ножей — тот самый, которого я сбил сегодня с ног. Несколько раз он точил мне ножи, сыпал колючими искрами и жестом просил посторониться.

Я люблю вечерние часы, когда можно читать или просто ничего не делать — думать, вспоминать. Раньше я часто включал телеусилитель и подолгу с ним возился, а потом он мне, наверное, надоел. Даже пыль стирать с него стала мать, потому что я немного лентяй. Но телеусилитель — старая затея. Тогда я как раз окончил радиофизический факультет, и у меня было целых два месяца свободного времени. Замысел был прост: усилить поле, передающее телепатическую информацию.

В обычном звуковом усилителе микрофон преобразует звуковые волны в пульсации электрического тока, эти пульсации усиливаются и подаются на громкоговоритель. Никого, кажется, этим не удивишь. Вот если бы удалось поступить точно так же с неизвестным полем, переносящим мысли на расстояние. Преобразовать его сначала в поле электромагнитное, потом усилить (ведь с этим справится обычный электронный усилитель!), полученные электрические сигналы снова преобразовать в исходное поле.

Я перелистал ворох статей по телепатической связи. Я разыскал материалы и о статистической обработке результатов наблюдений, и о методике проведения экспериментов, и о влиянии посторонних шумов на устойчивость связи. Словом, о чем угодно, только не о природе поля. На этот счет до сих пор не опубликовано никаких серьезных предложений. Нельзя же всерьез считать, что информацию переносят электромагнитные волны! Свести все к электромагнитному полю — значит, по моему, уподобиться старушке из анекдота, которая не

представляла себе, как же это паровоз может тянуть вагоны без лошади.

Я не знал и не знаю, что это за поле, переносящее мысли на расстояние, но я верил, что его можно преобразовать в поле электромагнитное. Я ломал голову над преобразователями, пробовал кристаллы, какие-то биметаллические сетки, пластмассы, желе, древесные опилки, обработанные химикалиями, и время надежд еще не кончилось.

...За стеной слышен голос отчима, шелест газеты: «О, да сегодня новый фильм». Я знаю: сейчас мать подойдет к моей двери и скажет, что по телевизору показывают новый фильм. И я отвечу: «Нет, мам, некогда». Я не люблю телевизор. И сейчас действительно занят. Левин подарил мне наконец кусок полупроводниковой пластмассы, значит, я могу попробовать новый преобразователь, а вдруг получится? Говорил же я с Левиным около года назад. Когда-то он стал для меня идеалом человека, делающего науку. Он сдержан, корректен. Его можно, пожалуй, назвать замкнутым. Но эта его замкнутость непохожа на повадки хитрого отшельника от науки, денно и ночью высиживающего тепленькие мысли о карьере.

Левин выслушал меня спокойно.

— Но пойми, — сказал он, — никто не знает, что это за поле такое. Может быть, мысли переносятся во все не полем.

— А чем же? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Левин, улыбнувшись. Он встал в позу наставника, трезвого и объективного. Что я мог противопоставить «незыблемым физическим канонам», «усилиям большой группы специалистов, работающих над исходной проблемой»?

Я сделал то, что всегда делаю в таких случаях: кивнул головой и сказал: «Ты прав». Повернулся и пошел. Левин догнал меня.

— Брось, старик, — хлопнул он меня по плечу. — Ты мог бы увековечить свое имя любым другим способом. Только не этим. Заканчивай лучше статью, о которой ты говорил. Выводи приближенные формулы, строй графики. Зарабатывай на хлеб.

Кто знает, возможно, Левин был тогда прав. Сегодня он принес пластмассу. Он сделал это потому, что относится хорошо ко мне, но не к моей идее. Жаль.

Вот уже минут десять я ищу электромагнитный экран и не нахожу. Как сквозь землю провалился. Иду ругаться с матерью. Сколько раз говорить, чтобы на моем столе ничего не трогали? «Я ничего не трогала», — оправдывается она. «Но тогда куда все исчезает?» — говорю я. «Ведь на столе беспорядок, настоящая свалка, — говорит она. — Я только стерла пыль». — «Глупости, — настаиваю я. — Никакой свалки. Исчезла металлическая коробка». — «Никакой коробки не видела», — говорит она.

Я нашел экран в своем портфеле. И как он туда попал?

На улице заметно стемнело. Щелчок тумблера — и в радиолампах моего усилителя загораются красные язычки накальных нитей. Их свет тускл и зыбок — розоватые колеблющиеся пятна на стене, но темнота за окном становится от этого плотней и гуще.

Полил было сильный дождь и быстро утих. Двор, деревья, крыши, подоконники почернели и заблестели. Звуки стали глухими, какими-то влажными, в воздухе повисла водяная пыль, сквозь которую дальние фонари видны, как через матовое стекло. Неведомо откуда донеслось шипение и легкий резиновый удар, словно сошлись двери вагона в метро.

Уже очень поздно. Мои поговорили, поговорили и легли спать. Мне тоже пора. Может быть, сегодня при-

снится отец. Ночь поглотит годы, оживут в памяти старые тени. Маленькая подвижная бабка с умным лицом будет и ласково и сердито трясти за плечо: «Вставай, вставай, в школу пора!» Отец встанет у книжного шкафа, чтобы полистать наши книги. Он будет рассказывать, я — слушать. Подумать только, впервые в жизни услышать о ледниках и спиральных туманностях, об опыте Плато и волнах Герца, о кроманьонцах и новозеландских растениях-овцах! И это можно испытать снова и снова, но только во сне. На минутку книга застынет, успокоится в отцовских руках, словно тысячекрылая птица. Тогда я захочу говорить, я заспешу рассказать отцу о себе — и тут же проснусь.

Так бывало всегда. Всегда — это значит в те три или четыре ночи, когда я встречался с отцом во сне. И было это давно.

Может быть, бабка все-таки хоть чуточку заразила меня своим неверием в то, что отец погиб. «Мало ли их, сердешных, кого из-за границы не выпускают, кто контужен да покалечен, может, и дорогу домой забыл, разное может случиться». Его могли задержать люди, обстоятельства, а потом ему уже некуда было возвращаться. Мне-то отец нужен и покалеченный, так я думал и думаю сейчас, по привычке, в настоящем времени.

Слышен голос диктора: «Московское время двадцать три часа тридцать минут. Передаем...» Хлопнуло чье-то окно. Еще раз хлопнуло. Это уже не окно, а дверь вагона в метро. Но не могу же я слышать хлопанье дверей под землей, в самом деле! Какая ерунда. Но тогда что это?

Стрелка на моих часах громко отсчитывала секунды: двадцать, тридцать, сорок... Я снял часы с руки — так удобней наблюдать за циферблатом... Восемьдесят, сто двадцать, сто пятьдесят. Удар. Опять двери. Две с половиной минуты — в среднем как раз то время, ко-

торое нужно электричке, чтобы пробежать расстояние между станциями.

Теперь я слышу жужжание колес: электричка уходит со станции, рельсы вторят убегающим колесам, звуки тонут, исчезают в тоннеле. Снова тишина. Живая тишина, из такой иногда рождается гром.

Я начинаю догадываться, в чем дело. Усилитель включен, вот оно что. И на этот раз, кажется, работает.

Преобразователь ловит неизвестное поле, превращает его в электрическое напряжение, оно усиливается и опять рождает поле, а в результате два человека (один из которых я, другой — кто-то неизвестный в метро) связаны ниточкой, каналом, свободно передающим мысли и ощущения. В такое нелегко сразу поверить. Нелегко, потому что я слишком долго ждал этой минуты и боюсь ошибиться.

Я немного теряюсь и становлюсь рассудительным, наверное, потому, что только так можно противостоять фактам. И чувствую, что напрасно теряю время. Жужжание колес пропало. Все стихло. Но это, по крайней мере, вполне достоверно. Я понял, что связь была. Раз она прервалась, значит, была. Вот когда я захотел повторить это еще.

Я собрал нервы бережно, струна к струне, и они словно зазвенели, готовые отозваться на чуть слышную мелодию. Мои губы высохли, по вискам прошла быстрая теплая волна. Я узнал станцию метро. Вестибюль и ступени эскалатора мелькнули, как на цветной полупрозрачной картине, на мгновение заслонившей черный от дождя двор. Мелькнули и пропали. Опять видны слепые блестящие окна, мокрые деревья и ломтик луны, отрезанный краем тучи. Далекий свисток, неизвестно откуда взявшийся, погасил шорохи, с минуту стояла тишина, в которую я жадно вслушивался. И я услышал.

Эскалатор бежал вверх и поднимал человека, руками которого я прикоснулся наконец к влажной плотной двери. Очень знакомы были осторожные движения этих сильных рук. Я чувствовал их почти так же хорошо, как если бы это были мои собственные руки. Я услышал легкий ночной ветер и холодные одинокие капли, срывающиеся с тополей. Свет пропал. Осталась ночь и мокрая улица. И человек, идущий к нашему дому.

Он шагал по улице, а я считал шаги, которые оставались и тонули за его спиной в лужицах на асфальте и те, которые еще разделяли нас.

Он шагал, как бывало, легко и быстро, и ему оставалось пройти немного по соседней улице, свернуть налево и выйти на нашу улицу — всего метров триста, не больше. Но он свернул раньше — он так ходил когда-то, даже в пятидесятом я сам еще бегал в школу тем же путем, через проходной двор. Я помог ему, показал дорогу без тупиков, короткую дорогу к дому — ведь я знаю там каждый камень, каждую ямку.

Он вошел во двор и направился к нашему подъезду — маленькая темная фигурка со свертком или чемоданчиком в руке. Он торопился. Я хотел получше рассмотреть его и не смог. Потому что от далеких фонарей вдруг пошли во все стороны желтые влажные лучи, и ничего не стало видно, кроме этих лучей.

...Дверь подъезда скрипит так громко, как будто хочет закричать. Быстрые шаги на лестнице кажутся нескончаемыми. Он поднимается... один этаж, еще один... еще. У меня холодеют виски, я встаю, чтобы открыть ему дверь. Как долго он не приходил! Но ведь он знает все. Он прошел огни и воды, и если не приходил, значит, так было нужно.

Звонят.

Рвется какая-то невидимая ниточка. Нужно открыть дверь отцу — и трудно поднять руку, трудно шевельнуться. Случилось что-то непоправимое. Я цепляюсь но-

гой за провод — в моем усилителе гаснут лампы. Исчезли розоватые блики на стене. Из полураскрытого окна дохнуло сырым холодом от застывших на небе туч — выпуклых, неподвижных.

Бегу к двери. Щелкаю замком. У порога стоит точильщик ножей, я успеваю заметить, как гаснут его глаза под широким влажным шрамом на месте бровей.

— Извините, — с трудом выговаривает он. — Я хотел спросить, не нужно ли вам поточить ножи?

ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР О ВСТРЕЧНОМ ВРЕМЕНИ

С памятью происходит иногда что-то странное. Как будто начинает проявляться старый негатив. Снова вдруг видишь костры, на которых мальчишки жгут осенние листья, и отчетливо слышишь забытые голоса, а закроешь глаза — снова тепло застывшим рукам.

...На песчаных осыпях мы подбирали желтые камни и разбивали их — там прятались прозрачные кристаллы. Мы искали железо, золото, алмазы. И находили. Позже мы говорили о ракетах, о звездах и о планетах, о машине времени, даже не подозревая, что мы сами — путешественники во времени.

Мы все прибыли из того времени, где острые травы не ранят пальцев, а ноги не боятся камней и пивовок. У нашего времени одно направление — вперед! Попробуйте вернуться хотя бы на минуту — ничего не выйдет.

Время похоже на пассажирский состав: за окном проплывают деревья, дома, люди... Постукивая колесами, посвистывая, везет нас поезд вперед, вперед, вперед...

Но почему мы не забываем о начале пути? Почему воспоминания порой не только не гаснут, но, наоборот, становятся словно четче, сильнее? Словно есть другой поезд, мчащийся навстречу, наконец в какой-то миг поравнявшийся с нами и ушедший в наше прошлое, в старое время. И как будто есть в этом поезде кто-то похожий на нас, очень похожий, наше второе «я», и с ним мы связаны тонкой нитью мысли.

...Еще года два назад я подтрунивал над Сафоновым, потому что мир с единым временем казался мне простым и незбылемым.

В один из вечеров я впервые задумался о встречном времени.

Я не очень верил тарабарщине об инвариантности и ковариантности. Но сама мысль о мире, невидимо пронизывающем наш мир так, что у каждой травинки, каждой песчинки есть двойник, живущий наоборот, неожиданно показалась мне поэтичной и немного странной.

В тот памятный вечер мы сидели у раскрытого окна. Уличные фонари уже погасли, и на светлом пепельном небе зажглась голубая звезда. Разговор как-то выдохся. Мы молча смотрели, как из-за соседнего дома выползала круглая белая луна. Листья тополей тихо позванивали, и теплые волны воздуха доносили до самого окна этот зеленый шум.

— Значит, можно встретиться с будущим? — спросил я.

— Да, можно. Но только раз.

— Как два встречных поезда?

— Да, как два поезда.

Не будь Валька моим другом, я, может быть, поверил бы ему гораздо раньше. Но ведь когда-то мы бежали с ним вместе на лекции и за одним столом вычисляли криволинейные интегралы, поэтому я отнесся к его идее как к своей собственной — скептически. Мало ли мыслей бродит в голове каждого из нас? А тут, собственно, и идеи никакой не было. О встречном времени где-то уже писали — чуть ли не с благословения самого Дирака.

Теперь-то я понимаю, что идея все-таки была: доказать экспериментально существование такого мира. Можно мысленно проследить свой путь во времени, встреча с двойником должна состояться в середине пути. В этот короткий миг обозначатся прошлое и будущее, но удастся ли поймать его, почувствовать, осознать?

— Ты ошибаешься, Влах, — сказал я, — встречное время — это легенда, не больше. Если и существует такой мир, то он навсегда останется для нас невидимым и неосязуемым.

Он молчал. Мне стало жаль мечту, которую он не мог защитить. Захотелось поверить в нее... изобрести что-нибудь, наконец.

— Ты смог бы, — спросил я, — представить мелодию в обратной записи? Мне кажется, «музыка наоборот» — это какофония.

— То же самое сказали бы те, из другого мира, если бы... понимаешь?.. А это мысль! — Он оживился. — Обратная запись — мысль! Нужно только немного переделать магнитную головку, тогда можно все воспроизвести. У тебя ведь был магнитофон?

Я достал магнитофон и посмотрел на часы. Было без четверти час. Хотелось спать. Я понял, что его так взбудоражило. Мы ведь не зря спорили о симметрии и квантовом обмене. Ему хотелось поймать радиосигналы наших двойников. Но что такое их голоса или музыка? Бессмысленный шум, все звуки следуют в обратном порядке. И потом, искажения, неизбежные пропуски, замирания сигналов — кто сможет учесть это? Если только эти сигналы можно услышать вообще.

Но на магнитофоне можно все-таки попытаться записать сигналы и пустить затем ленту обратным ходом. И если удастся услышать хоть одну музыкальную фразу, хоть обрывок разговора на русском, английском, турецком, японском... Только бы услышать! Вот что я вдруг прочел в его глазах.

Он верил и не верил. У него было очень серьезное лицо, волосы упали на лоб, и на правой руке вздулась и дрожала синяя жилка. Удивительно, что эта простая мысль никому раньше, по-видимому, не приходила в голову. Он снял крышку магнитофона, щелкнул клавишами, настроил приемник на какой-то вибрирующий звук. В черном квадрате окна плавали красные и синие огни, потом окно качнулось, деревья загородили звезды. Я почувствовал под головой подушку. Он обернулся ко мне и что-то сказал.

— Да, да, оставайся, Влах, — ответил я наугад, — свет мне не мешает.

Во сне мыслят образами. Прошное — это мой Синегорск и солнце в зеленой траве. Будущее — как далекое облако у горизонта. Наше будущее — это чье-то прошное. Все ясно и просто.

Валька сидел ночь напролет, в комнате горел свет, и потому-то, наверное, ночь превратилась в летний вечер, когда ветер поднимает с дороги облачка пыли и они бегут до самого дома, а там ждет мать, которая, оказывается, вовсе не умерла давным-давно, а жива и здорова. Вот уже хлопотливо собирается чай на старом деревянном столе, а у окна стоит и улыбается больше-рожая длинноногая девчонка.

Еще один вечер, но совсем другой. Сентябрь. Далекие звонкие голоса. Гудки. На столе письмо. Пытаюсь угадать, чье письмо, и не могу. Стараюсь припомнить... Догадаться... Или забыть?

Кто-то теребит за плечо: «Вставай, вставай, старая дохлятина, кое-что расскажу».

— Как дела? — спрашиваю я.

— Сейчас увидишь. Вставай, опоздаешь на работу.

Он поставил самую удачную ленту. Я услышал смесь ударника и тромбона.

— Это не то. Это прямая запись. Роуз, современная пьеска для джаз-оркестра. Дальше, слушай дальше.

Звук был очень слабый. Что-то сказала женщина — совсем тихо, голос почти растворился в тишине. Я замер. Но пошла опять какая-то мешанина. Шум, свист, гром...

ТАК УХОДИТ МЕЧТА...

В то утро, когда мы впервые услышали обратные радиосигналы, мы договорились о четкой «программе исследований». Впрочем, это было бесполезно. Второй ве-

чер был похож на первый. Сафонов накурил так, что я едва видел его руки, и кольца магнитной ленты, и горку кассет, и он говорил, говорил, а я не то помогал, не то мешал ему. Много записей было пустых — шум в прямом и обратном направлении. Мы стирали все с таких лент и записывали снова. А потом слушали. Два-три осмысленных слова, по-моему, еще не означали, что мы слышим наших двойников. Из случайного набора звуков тоже иногда рождается слово или мелодия. Правда, очень и очень редко. Но во что легче поверить — в существование мира со встречным временем или в то, что из шума случайно составила подходящая комбинация звуков?

Мы не поймали больше ни звука. Эфир молчал. Может быть, мой радиоприемник был слаб, а может быть, самые обычные шумы и передачи радиостанций совсем заглушали сигнал — этого мы не знали. Да и где был этот встречный мир — далеко или рядом?

Несколько дней Влах работал до утра. Он приходил, включал приемник, и начинались настоящие поиски, напоминающие радиоигру «охота на лис».

В конце концов мы запутались в записях и потеряли ту, самую первую ленту с одним-единственным обрывком фразы.

Влах отнес мой приемник в институт и что-то с ним сделал. Теперь хорошо различались все шумы, даже шум электронов в лампах, похожий на стук сухих горошин.

В тихие погожие ночи мы вслушивались в ставшие такими привычными звуки. Но это были мертвые звуки — как шепот далеких морских волн в пустой раковине.

А утром, на работе, я ставил локти на стол, подпираю голову руками и — буду честен — дремал так до тех пор, пока локти не разъезжались в разные стороны.

— С добрым утром, — сказала мне однажды после

этого шустрая Верочка, которая вообще обращалась со мной так, как будто я был ее однокашником, а не руководителем темы.

Почему-то я рассказал ей все.

— Странная история, — сказала она. — Двое молодых бездельников, из коих один мог бы уже защитить диссертацию, или жениться, или сделать что-нибудь полезное, бьют баклуши и занимаются ерундой. Впрочем, нет. История, пожалуй, не такая уж странная. Скорее обычная.

Она даже не спросила, что же за сигналы мы поймали в тот вечер. И это была она — а что бы сказал на ее месте кто-нибудь другой?

Как разгадать эту многочисленную породу людей, которые знают точно, как следует и как не следует жить? И даже какие книги читать?

А она могла все понять. Она, оказывается, знала даже о чуде Джинса. Если в печь поставить сосуд с водой и вода замерзнет, вместо того чтобы закипеть, тогда и произойдет это самое чудо. Джинс первый вычислил вероятность того, что молекулы воды смогут — из-за простой игры случая — потерять свою энергию, а печь, наоборот, еще сильнее нагреться.

Я прекрасно понимал, что вероятность «чуда» не совсем равна нулю, но зато описывается таким количеством нулей после запятой, что ни один нормальный человек никогда не станет принимать ее в расчет.

— А ты готов поверить даже в чудо Джинса, — говорила Верочка, — хочешь, я подсчитаю вероятность того, что из случайного шума возникло одно или два законченных слова?

— Во-первых, шум всегда случаен, выражайся точнее, — ответил я ей. — Во-вторых, подсчитаешь не ты, а машина, ты только составишь алгоритм и программу, и то по тем формулам, которые напишу я. В-третьих, это не так все просто. Это ведь не чудо Джинса. Ты

что ж, всерьез думаешь, что это не случайность? Тогда что? Сигнал? Но ты и это отрицаешь. Что же остается?

— Ничего. Где вы взяли ленту? Ах, ты где-то достал... А вы проверили ее перед тем, как записать сигнал?

— По-моему, нет, — не очень уверенно сказал я, удивленный той легкостью, с какой мне давался урок по «основам».

— Вот и разгадка, — продолжала она, — уж если чему-то верить, то скорее всего тому, что на ленте осталась какая-то старая запись. Точнее, маленький ее кусочек. Забарахлило стирающее устройство или остановили магнитофон... да мало ли причин.

Я задумался. Она была права. Самое простое приходит в голову последним. Как будто прояснялось. Практичная Верочка поставила нас на место. А ведь когда-то я помогал ей писать диплом, за что она позволяла иногда приглашать ее в кино — до тех пор, пока она не вышла замуж.

Я взглянул на нее и поймал в ее глазах выражение, которое красноречивей всяких слов свидетельствовало о том, что она отлично понимает примерный ход моих мыслей.

Вскоре после этого я попросил Сафонова уйти. Мне надоел сумасшедший дом по ночам. В огромном ворохе катушек я разыскал (чудо Джинса возможно!) ту ленту с одной-единственной фразой и отдал ему приемник и магнитофон. Потому что его собственный приемник давно уже не работал.

— Возьми приборы, — сказал я, — работай, если хочешь. Когда запишешь настоящие сигналы, я подарю их тебе.

Он понял. Дело было, конечно, не в том, что я не высипался. Я перестал верить, вот что это означало. Верил ли я раньше? Наверное, да. По крайней мере, то-

гда, когда была сделана первая запись. Первая и последняя?..

Алгоритм Верочка все-таки составила. Случайное слово не получилось, у машины не хватило памяти.

ДВА ПИСЬМА

Между двумя письмами, о которых я теперь должен рассказать, есть какая-то едва уловимая связь. Это мне стало ясно потом, много позже, как стала ясна и причинная связь событий, следовавших друг за другом, словно времена года.

О первом письме я, кажется, упоминал выше. Оно пришло из Синегорска в один из сентябрьских дней. Письмо было от Ольги, простое письмо в десять фраз. Я ничего не забыл, но не ответил ей тогда. Потому что не знал, что писать. И еще потому, что голова была занята другим. А еще через год я не написал потому, что было уже неловко писать после такого долгого перерыва. Еще позже, через два года, я вспоминал о ней, но писать уже не мог. Я пробовал это сделать, но получалось довольно глупо (так и должно было у меня получаться, как я понял позже). Я порвал неотправленные письма одно за другим и успокоился. Когда это было? Может быть, четыре, а может быть, шесть лет назад.

Ждала ли она, хотела ли, чтобы я написал ей? Через два, три, четыре года? Я не знал этого, скорее всего, как мне казалось тогда, нет. Потом я понял, что это было ошибкой. Письмо никогда не поздно написать при условии, что оно будет хорошим и искренним.

Второе письмо было от Вальки, я получил его месяца через полтора после событий, о которых я рассказывал выше. В нем было несколько типично Валькиных строк:

«Внезапный порыв сорвал меня с места. Причалил

в Батуми. Отпуск. Веду махровую жизнь в джунглях, близ дома отдыха «Буревестник». Остолбенел от тепла. А на днях случилась оказия: на катамаран с острова Хонсю сиганул здоровенный парень, прозванный в местных кругах Болваном. Ну, сам понимаешь, ко дну пошла вся эта эскадра...

Постановили: за невыдержанность и поспешность сбросить Болвана с Высокой Скалы — 3 метра — в море.

Вчера вечером впервые в жизни увидел, как в ночное небо врезался крупнейший болид — зрелище феноменальное. Подробности телеграммой. Будешь ли ты в Москве 14-го? Есть важные новости.

Жму копыто. Росинант, он же Влах».

Почему он послал это письмо? Думаю, что он хотел, если можно так выразиться, подготовить меня. Фразу «Есть важные новости» я не без оснований связывал с тем, чем мы так долго и безуспешно занимались. Но неужели он и в доме отдыха возился с магнитофоном?

Он вернулся в Москву четырнадцатого.

— Там идеально прозрачная ионосфера, — уверял он меня, — где найдешь место лучше, чем под Батуми? И масса свободного времени. Я мог работать целый месяц, и мне никто не мешал.

— Может, мир со встречным временем ближе к Батуми, чем к Москве? — предположил я. — Или Черное море служит огромным рефлектором для радиоволн?

— Смеешься? Вот послушай.

Он привычно щелкнул клавишами, и мой магнитофон (до чего же он теперь жалко выглядел!) подмигнул мне зеленым глазом настройки. Запись была действительно необычная. Вот она:

«Валя... Слышишь меня? Я из Синегорска... Скоро приедем. Да, с Ольгой. Спасибо... Встречай...»

— Ну, так ты собираешься в Синегорск? — спросил он меня.

— Нет. Все давно прошло.

Я знал, почему он спросил меня об этом. Нетрудно узнать мой голос на этой записи. Мне же казалось, что произошло недоразумение. В Синегорске не было радиотелефона, значит, мой голос не попал бы оттуда в эфир и радиоприемник не смог бы его поймать.

— Не было, так будет, — настаивал он.

— Вряд ли. Там всего десять тысяч населения. Это даже и не город вовсе, одно название.

— Да пойми ты — это же телефонный разговор из нашего будущего! А для них оно прошлое и настоящее.

Я понимал. Но, честное слово, я не собирался в Синегорск: сотни километров — ради чего? Да, я хорошо помню его улицы, кончавшиеся оврагами, лощинами и перелесками. Его деревянные дома и нечаянную любовь. А потом — Москва и университет. И все, что было до Москвы, стало для меня другим континентом.

Мы запутались в гипотезах.

Вскоре появились новые заботы. Влаха на три месяца застрял в командировке. Я всерьез заболел. В больнице я встретил синюю, прозрачную весну.

Но я помнил о Синегорске. Помнил так, как будто видел...

...Летом в лощинах поднимались высокие травы. В озерах, оставленных половодьем, шуршал тростник. Мы делали из него копыя. На холмах трава росла покороче, зато одуванчиков было больше, попадались васильки, и мышиный горошек, и цикорий. Склон казался местами голубым, местами желтым. И какая теплая была там земля! Можно было лечь на бок, и тогда лицо щекотали былинки, шевелившиеся из-за беготни куз-

нечиков, мух и жуков. Скат холма казался ровным, плоским, и нельзя было понять, где вершина и где подножье. Сквозь зеленые нитки травы виднелся лес, и светилося над лесом небо, то сероватое, то розовое от солнца — какое захочешь, как присмотришься. И можно было заставить землю тихо поворачиваться, совсем как корабль.

ВЕСЕННЯЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Ко мне в палату однажды пожаловала Верочка. Говорили о каких-то пустяках, о работе. Я поймал себя на том, что отношусь к ней без предубеждения. Здесь, в больнице, с помощью старых книг и личных наблюдений я вывел формулу обычного человека. И в этой формуле было все: любовь и мечта, расчет и глупость, порыв и терпение. Все во всех, хотя и в разных пропорциях. Или, может быть, такова жизнь, что заставляет проявлять то одно, то другое свойство?

— А как со встречным временем? — спросила она напоследок.

— Не знаю.

— Жаль. Мне это очень понравилось.

— А мне скучно. Особенно с тех пор, как я попал сюда. Принеси мне книги из моего стола — Слокама, Колдуэлла, Фоссета, Мелвилла, Лондона, всех принеси. За это я расскажу тебе потом о времени. Нет, стой. Я сейчас скажу. Время — это громадный кашалот, который закусывает вселенной и выплевывает косточки.

Я дал ей телефон Вальки (в больнице телефон почему-то не работал), и он явился на следующий день.

— Надолго? — спросил он.

— На месяц. Где был?

— На Волге. В полях-лесах антенны ставил.

— Радары?

— Нет, радиотелескопы, представь себе.

— Ты отошад, как серый волк. Тебе бы на мое место. Жизнь спокойная. Лежи и думай. А хочешь — просто лежи. Только вот что, Влах: обалдел я слегка, понимаешь? Валяешься с утра до утра, и мимо санитарки снуют несносно. Принеси мне брюки и свитер.

— Зачем тебе... — начал было он.

— Штаны и свитер, — отрезал я. — У меня же здесь все отобрали. Вот ключ от квартиры.

Я смотрел ему вслед и думал. Что ж, может быть, и для него придет время открытий. Поеду ли я в Синегорск? Я чувствовал, что он прав. И эта правота не нуждалась в моем решении, не зависела от него.

В эти несколько недель, пока я лежал на больничной койке, странные мысли приходили в голову. По вечерам я видел кусок черного звездного неба между занавесками, и мир казался мне просто пустым ящиком, который я мог наполнять раскрашенными кубиками с написанными на них словами: «время», «жизнь», «грусть», «счастье», «человек» — всеми словами, какие я знал.

И в каком бы порядке я ни укладывал эти кубики, в ящике еще оставалось очень много пустого места — он был просто бездонным.

Наконец мне надоело смотреть на звезды и размышлять о сознании, творящем мир. Я окунался в книги, которые мне принесла Верочка. Это были книги, многие из которых я и раньше читал. Они до поры до времени валялись в моем рабочем столе, словно поджидали удобного случая, чтобы снова рассказать мне сказки о Полинезии, Галапагосских островах и обоих полюсах — Северном и Южном. Я понял, что все они — Нансены, Магелланы, Колумбы, Лазаревы, Амундсены, — даже если они шли среди заснеженных торосов, в конце кон-

цов, надеялись открыть волшебную страну, отгороженную от остального мира ледяной стеной.

Книги тоже надоедали.

Ветки багульника, которые принесли моему соседу по палате, то пропадавшему в коридоре, то напропалую игравшему в шашки, напоминали о весне. Еще больше хотелось на воздух, и Сафонов наконец принес одежду.

Он пришел через три дня, которые следовало бы принять за один — так они были похожи (я уже давно узнавал о днях недели из случайных разговоров).

Я оказался на улице вполне прилично одетым. Я проводил Вальку до самых ворот. Холода, по-моему, уже совсем не чувствовалось, а земля казалась летней... Я словно плыл в синем от голых веток воздухе. Теплый желтый луч, упавший с неба, согрел мою ладонь. Необычное чувство возникло у меня, возникло и пропало: не встретился ли я с двойником, не пройдена ли половина пути? Но нет, мне не открылось вдруг будущее — должно быть, не пришло еще время.

Но мне вдруг снова показалось это возможным: два мира несутся во времени навстречу друг другу, и для каждого человека, каждого дерева и травинки, для всего сущего в них рано или поздно наступает совпадение — для каждого в свое время.

Совпадение длится один миг, но оно является полным: два объекта из взаимно вывернутых пространств сливаются в один. И потом стремительно расходятся, чтобы никогда больше не встретиться. Вот тогда, наверное, и можно успеть заглянуть в будущее, если только всегда быть готовым к этому. Так не хотелось возвращаться! Ворота выходили на шоссе. Я повернул назад и, обойдя больницу, перелез через забор, отгораживавший ее от парка.

Здесь, прыгая с кочки на кочку, я буквально столк-

нулся с двумя мальчишками. Они колдовали у тонкой березы. Маленьким и плохим ножом один из них ковырнул дерево, и сок пошел.

Это было по мне.

Я отнял у них нож и, выжимая ботинками воду из-под старых листьев, добрался до высокого дерева. Но сколько я ни старался, все было напрасно, только зря березу искромсал. «Как два встречных поезда...» — почему-то вспомнил я. Я не мог еще заглянуть в будущее и не мог «вернуться в прошлое».

Наверное, я глотнул слишком много воздуха сразу, меня закачало, как на самолете при посадке, и деревья стали противно кружиться. Через минуту, когда я смог стоять, не держась за березу, что-то изменилось. Может быть, просто стемнело, но парк изменился. С паутины, прилипшей к сучку, слетел солнечный луч. Ветки стали серыми, и воздух погас.

Пахло давнишней сыростью. Мои ботинки были совсем мокрыми, к ним прозаически липли коричневые иглы и какая-то прошлогодняя дрянь.

Мое бегство не прошло даром: я простудился, и меня задержали в больнице.

В один из последних дней пришла знакомая девушка, имени которой я не буду называть. Она тоже что-то принесла мне и что-то говорила. У нее был хороший голос и милое лицо, и было приятно слушать ее, хотя все, что она говорила, было неправдой.

Глядя на знакомую звезду в черной щели между занавесками, я спрашивал себя в эти последние дни: поеду ли я в Синегорск?

Однажды мне захотелось добраться до истоков человеческой мысли о пространстве и времени. Что думали об этом тысячи лет назад пророки, передавшие в мифах свое видение мира?

Почему вселенная заново создается Брамой через каждые восемь с половиной миллиардов лет? Где истоки этого до странности смелого представления о бесконечных циклах созидания и разрушения? На подобные вопросы ответить совсем не просто.

...Было одно лишь пространство, говорит скандинавская сага, не было ни песка, ни моря, ни волн холодных, ни неба над ними. В северной части пространства располагался вечный источник холода — туманная страна Нифельгейм. Волны Урда, теплого ключа, расположенного на юге, встречались с холодными потоками Нифельгейма. И этому смешению обязана своим возникновением первоначальная материя. От нее произошел мир.

Материя — из пустого пространства. Таков смысл саги, словно предвосхитившей результаты современных исследований. Еще Клиффорд и Эйнштейн мечтали создать теорию, которая вкратце сводилась к следующему: в мире нет ничего, кроме пустого искривленного пространства. Частицы вещества — это такие участки пространства, в которых оно искривлено больше, чем везде. А перемещение частиц подобно движению волн на поверхности озера.

Волны Урда и Нифельгейма постепенно становились математической реальностью.

А время? Может ли быть такое, что о встречном времени догадывались еще во времена халдеев и древних египтян?

Я попытался представить эпизод, описанный в одной старой книге, которая каким-то чудом попалась мне на глаза как раз в те дни.

Фараон Хеопс спросил мастера небесных тайн (звание столь же высокое, как и звание начальника телохранителей):

— Правда ли, что ты можешь заставить отрубленную голову снова прирасти к плечам?

— Да, повелитель, если это будет угодно богам, — ответил мастер.

Он был одним из тех, кто составлял план Великой пирамиды, рассчитав вход в нее так, что из самой его глубины можно увидеть священную звезду.

— Пусть приведут раба, — сказал Хеопс верховному писцу.

— О повелитель, — возразил мастер, — великое строительство еще не кончилось, и пусть жизнь даже одного-единственного раба не зависит от моего искусства.

Хеопс удивленно взглянул на мастера.

— Что же ты предлагаешь?

— Пусть принесут гуся или пеликана, но я должен сам выбрать его, дабы согласовать с волей богов.

— Тебе всегда удается своевременно узнавать волю богов? — спросил Хеопс, и едва заметная улыбка тронула его губы.

Мастер молчал. Он хорошо знал, что равных ему не было во всей долине Нила и далеко за ее пределами. Едва касаясь пальцами, легкими, как струны, он мог открыть душу вещей и животных, он мог читать мысли и помнил древние слова, пришедшие согласно легенде со священной звезды.

— Хорошо, — сказал фараон, не дожидаясь ответа, — я согласен, но если ты ошибаешься, то вторым после птицы будешь ты сам.

Гусь был обезглавлен, и тело его оставлено в одном конце комнаты, а голова — в другом.

— Можешь начинать, — сказал Хеопс.

Тело и голова птицы быстро поползли навстречу друг другу и соединились, причем пятна крови на перьях исчезли, как будто их не было вовсе. Гусь поднялся на задние лапы и тревожно загоготал.

Самым интересным в этой истории было объяснение, данное фараону мастером небесных тайн.

По его словам, согласно древнему замыслу богов никакие усилия смертных не смогут нарушить всеобщей гармонии и равновесия: любое их действие повторяется небом в обратном порядке, и общий результат тем самым сводится на нет. Так вместо птицы с отсеченной головой там появляется целая птица, которую с согласия богов можно иногда обменять на убитую.

— Ерунда, — сказал Валька, когда я рассказал ему об этом. — Выбрать гуся, которому пришло время встретиться с двойником? И потом, как ты выражаешься, обменять? Нет, к нам это отношения не имеет.

— К нам?.. Учти, Влах, они в голове умещали всю премудрость тысячелетий, ныне частично утраченную, частично искаженную и лишь в малой части ставшую основой современной цивилизации.

— Если хочешь учиться у астрологов узнавать волю богов, тебе нужно родиться снова — в более подходящее для таких упражнений время.

— Боги? Да они не верили в них! Боги многих из них — словесная формула, не более. Или освященные временем предания.

— Слишком оптимистично.

— Да нет же. Вспомни, даже много позже, в просвещенной Элладе, Аристотель был обвинен в богохульстве и присужден ареопагом к смерти, но успел спастись, убежав на Эвбею. Диагор, отрицавший существование богов, также удалился в изгнание после того, как его приговорили к смерти. Сочинения Протагора публично сожжены, а сам он изгнан. Продик, утверждавший, что боги лишь олицетворение сил природы, казнен... Ну? Кто же осмелился бы открыто отрицать? Из тех, разумеется, кто хотел сохранить себе жизнь?

Валька неопределенно махнул рукой.

— Ладно. Меня это не очень волнует. Скажи лучше: ты в Синегорск поедешь?

— Этого я пока не знаю.

СИНЕГОРСК

Прошел год с небольшим — и все переменялось. Осенним вечером, когда солнце катилось по крышам дальних домов, а на темно-серой ленте реки дрожали длинные тени, я вспомнил о Синегорске. Но совсем не так, как раньше. Здесь, на осенней набережной, я уже, кажется, не сомневался.

Слева от меня, на пригорке, деревья позванивали сентябрьскими листьями. Над горизонтом висели желтые края облаков, и небо там было жарким и плотным, но над головой уже рассыпался голубой пепел. На реке, начинавшейся где-то в розовом закате, гасли и тонули золотые огни. Здесь, на грани осеннего дня, мир показался мне широким и светлым, а листья и травы впахнули вдруг чистым и ярким пламенем.

Я не сразу догадался, откуда этот необъяснимый свет.

От уходящего солнца остался красный полумесяц. Оно почти скрылось там, где за лесами, за реками был Синегорск. Кто знает, может быть, его-то лучи и пробили маленький канал между прошлым и будущим? Верили же мы в то, что каждый из нас должен рано или поздно встретиться с другим миром...

И в то, что поток фотонов мог облегчить квантовый обмен. И мы уже знали, что мир вокруг нас совсем не такой простой, каким он кажется тем, кто привык к нему. Ложная память, по-моему, так это называется. Я словно снова пережил то, что уже было когда-то давно.

Я поднял руки вверх — они как будто коснулись прохладного неба. Мне хотелось удержать солнце, еще и еще видеть и слышать, как дышит зеленая земля. Но можно ли это сделать? Странная минута...

Наверное, меня давно тянуло в Синегорск, просто я не признавался себе в этом. Нужно спешить, думал я, можно собраться очень быстро. Разве мало трех дней?

Уехать от всего, что надоело, от бесполезной и нудной толкотни. А там видно будет... Влах был прав, конечно, я позвоню ему оттуда.

В этот момент я действительно знал или, может быть, чувствовал все, что случилось потом, словно встретились настоящее, прошлое и будущее. Я знал, что скажу Ольге. Знал, что вернусь с ней. Знал, на каком поезде поеду, и в ушах уже раздавался стук колес. Знал все о встрече и о первом глотке воздуха, когда я спрыгнул на почти пустую платформу. О старых вещих соснах, все еще рассказывавших, наверное, ту самую историю, начало которой я слышал в детстве. Я представил все это так, как потом и оказалось на самом деле.

Ясно прозвучал гудок, протяжный, как северная песня.

Я шел сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. И мне казалось — я представил себе, — что кто-то другой, похожий на меня, шагал навстречу горячему восходящему солнцу и протягивал к нему руки.

СКВОЗЬ БЕЗДНУ

Везде песок. Красная мука, кирпичная пыль, нудное крошево — если вы побываете на Марсе хоть раз, вы подберете подходящее сравнение. А мне сейчас не до сравнений. Несколько минут слышен стук. Откуда? Сверху было видно одно ровное красноватое поле, потом появились ямки, рытвины. Я дернул упругую ручку — заработал тормозной двигатель. Слева тянулась гряда бурых скал, у подножия которых струилась река — пыльный светящийся дым. Черные обелиски и барельефы, мрачные одинокие пики в молчаливом небе, как татуированные руки гигантов. Звонящее солнце горит на камнях фиолетовыми кострами. Что это — следы гибели, усыпальницы, гробницы?

Я сейчас нахожусь на самом дне воронки. Я заметил ее еще с высоты ста километров. Оттуда, сверху, она казалась вишневой косточкой на скатерти. Вблизи это совсем не то. Никаких четких контуров. Ее скаты загромождают от меня горизонт. Горизонт... Рассказал бы я, что такое марсианский горизонт... Везде песок — в воздухе, под ногами. Открываешь крышку прибора — так и ждешь, что внутри вместо индикаторов и термопар окажется пыль.

Я глянул вверх. Земли не видно. В той стороне, где она должна быть, клубится песок над скатом котловины. Эта красная муть стелется как туман.

Я даже на минуту забыл о том, что привело меня в эту воронку. Я опять смотрю на северо-восток. Светлое пятнышко наконец проглянуло сквозь оранжевую пелену. У меня очень серьезные основания попристальнее в него взглядеться. Это пятнышко, эта мерцающая крапинка — Земля. Я, видите ли, мысленно увеличивал Землю до нормальных человеческих размеров. Я как бы со стороны взглянул на мой город и увидел кирпичный дом,

светлую комнату, в ней трех человек, один из которых... Опять стучит.

Я услышал стук, когда ради любопытства начал спускаться по склону, чтобы осмотреть котловину. Сделал шага три вниз и тут-то услышал: трак, трак, трак. Сначала было похоже на большие настольные часы, бывают такие, с секундной стрелкой. Стук слышно все время. Он стал теперь громче. Трак, трак — как будто бьют деревяшкой по гофрированному листу металла. Какой-то будничный стук. Я бы не сказал, что это звук металла, нет, пожалуй, это не металл, скорее всего...

Невольно перед глазами у меня встает фантастическая картина: исполинских размеров тир и спокойные гиганты; они всаживают в мишени пулю за пулей из огромных ружей. Лица у них красноватые в отблесках света, я различаю их глаза, четкие морщинки сосредоточенности. Из черных стволов — вспышки красных огней. Нет, это только моя фантазия. Вот она, воронка, котловина — песчаное дно, красноватые скаты, впереди пыль и сзади пыль, одна тусклая пыль, и ничего больше нет, ничего.

Трак, трак, трак — раздалось впереди тише и вкрадчивее.

Космонавту в подобных случаях полагается запросить ракету или Землю. Можно подумать, что оттуда, сверху, пришлют ответ: вот, мол, в чем причина, вот кто (или что) стучит, не волнуйтесь. Ничего подобного: я-то знаю. Чаще всего передают что-нибудь вроде: «Измерьте параметры, громкость, частоту. Медленно уходите к ракете, не теряя обзора». Или: «Примите необходимые меры предосторожности, остановитесь. Ждите дальнейших инструкций».

Я медленно иду к центру котловины. На западный склон уже легла густая, непроницаемая тень. Мне навстречу ползет ее край.

Трак, трак — тихо раздалось из надвигающейся

темноты. Я вижу черное пятно. Впереди, на расстоянии двадцати шагов. Я приближаюсь, медленно приближаюсь к нему... Ничего не могу рассмотреть: просто лежит пятно, и все. Я остановился. Теперь я вижу, как песок — совсем тоненькая струйка — течет к этому пятну и словно растворяется в нем. Совсем темно. Инстинктивно шарю рукой: кнопка, где ты? Нажал — сверкнул луч фонаря. Красная струя песка падает в провал. Это ход вниз, передо мной наклонный коридор, и там, там тикают эти часы, оттуда слышен звук.

Сначала ничего не видно. Всматриваюсь — кучи насыпавшегося песка, тоннель с неровными, выщербленными сводами, камни, щебень, тени, трещины. Тоннель очень полого идет вниз. Впереди черное пятно. Света фонаря не хватает, чтобы осветить все до конца. И вдруг пятно начинает приближаться ко мне. Оно идет на меня. Да нет же, это мой фонарь почему-то гаснет. Луч слабеет. Где резервные клеммы? Переключил фонарь на резерв. Подсоединил вольтметр, стрелка подскочила и поползла назад. Ну, положим, я и так знаю, что напряжение упало. А остальное — влажность, температура, датчики — все в порядке; радиометр... до него трудно добраться... сказать профессору... И почему это считают, что индикация на слух для наших целей не подходит? Есть, снял крышку. А, понятно! Ионизация! Надо уходить, скорей уходить. Иду назад, «не теряя обзора», все время наблюдая за темным пятном. Оно удаляется, скрывается за дюной. Порядок. И тут стук раздается за моей спиной. Ничего не видно. Я вдруг слышу женский голос. Обернулся — песчаные бугры куда-то исчезают, расплываются. Протянул руку — одна пустота. Потом натыкаюсь на что-то твердое. Я не вижу своей руки. Ничего нет. Женский голос стал громче, я различил слова, я узнал его. Звезды начали гаснуть одна за другой, сначала слабые, потом яркие. Я, как слепой, вожу руками, но теперь вокруг почему-то свет-

ло. В последний раз я увидел вход в марсианский тоннель, и там внутри что-то вспыхнуло, огромные силуэты промелькнули в глубине. Я что-то держу в руке... зажал в кулак... поднес к глазам — сигарета...

— Да очнитесь же, Вольд, — профессор Гамов стоит передо мной и держит в руке зажженную спичку.

Анна тут же, рядом. Она что-то быстро-быстро говорит ему. Она освобождает мою голову и руки от датчиков.

— Все в порядке, Вольд. «Космонавт» в безопасности, а как вы? Как себя чувствуете? Это ведь не шуточки — побывать на Марсе, хотя бы только мысленно, — профессор как будто извиняется за свой вопрос.

Я закурил и посмотрел на Анну.

— Что это за стук, профессор?

— Это не стук, Вольд. Это время. — Профессор посмотрел на меня, пряча рукой подобие нервной гримасы. — Вы были здесь и там, на Марсе, одновременно. Вы раздвоились. Сложились два разных хода биологического времени: вашего и вашего второго «я» — «космонавта». Получилось что-то вроде совмещения кинокадров. Собственно, это можно было предвидеть и принять меры, да...

Профессор на минуту снял очки и сразу постарел лет на десять.

— Мы привыкли к определенному ритму времени, Вольд, к земному ритму. Там, на Марсе, он совсем другой, этот ритм. Понимаете? Собственно, он не так уж и намного отличается, но все же... Если хотите, это биологическая реакция организма на другие условия существования. Меньше силы гравитации, ничтожное давление атмосферы, различие в физических параметрах орбиты, дозе лучистой радиации... не буду всего перечислять, Вольд. Это причины. А следовательно, и изменение скорости биологических процессов. Сто биологических секунд на Земле равны примерно ста одной мар-

сианской секунде. Вы чувствовали и то и другое время. Сложились как бы две киноленты разной длины. Но эти два фильма начались и кончились одновременно, Вольд. В этом вся штука. Потому что совместить концами две разные ленты можно, лишь удлинив меньшую, порвав и подклеив к ней где-то в середине пустые куски. Конечно, это лишь образное сравнение, Вольд, но оно верно передает сущность явлений. Эти пустые куски ленты воспринимаются аппаратурой «космонавта», вашего электронного дублера, как стук, треск, как провалы в его сознании.

— Вольд, расскажите поскорей, что вы там видели! — Анна воспользовалась паузой. — Все правда? Там не только пески и пустыни, Вольд?

— Подождите, Анна, — профессор привычно нахмурился, — ведь он, наверное, устал. Скажите... гм, скажите, Вольд, вы в состоянии рассказать все сейчас? Прямо сейчас, а? В состоянии?

— Да, — говорю я и начинаю: — Везде песок. Красная мука, кирпичная пыль...

«МЫ ИГРАЛИ ПОД ТВОИМ ОКНОМ...»

Ночью прошел дождь. Дорога, вымытая им до блеска, уже просохла. Ветерок еще сбрасывал с деревьев крупные прохладные капли, а по обочинам светились голубые лужи — свидетели первого весеннего ливня.

Сергей шел быстро, и его глаза сами собой прикрывались от солнца и встречного ветра, листья и цветы одуванчиков сливались в радужные пятна, а облака нависали над домами, как клубы белого дыма. Он остановился только один раз, да и то на минуту, чтобы выпить бутылку лимонада, которая перекачивалась в чемоданчике. После этого там остался один прибор для бритья, завернутый в мягкое полотенце. Через час он должен подойти к своему дому, но ему казалось, что это неправда, сон, что уже приходилось и раньше много раз видеть эту бесконечную ленту дороги, шагать домой по асфальту, по травяным дорожкам. Он стал перебирать подробности возвращения, но они терялись в памяти, словно все окутывалось туманом — и голоса и лица.

Полчаса, не меньше, приходил он в себя в зале для прибывающих, и единственное лицо, которое ему запомнилось, было лицо девушки, сидевшей за столиком напротив. Очевидно, она кого-то встречала.

Сейчас ему пришло в голову, что у нее как будто знакомое лицо, он даже попытался вспомнить, где мог видеть его, да вдруг рассмеялся. Когда он улетел, ее, может быть, и на свете не было. «Типичное лицо, — подумал он, — хорошее лицо, можно позавидовать тому, кого она ждет». Самое интересное, что и девушка смотрела на него и удивленно и вопросительно, словно вспоминая что-то. Но он не обманывался относительно своей внешности — если кто-то и знал его раньше, то вряд ли узнает теперь. От прежнего Сергея в нем оста-

лось очень мало. Скоро ему шестьдесят. Через три месяца. Теперь его вполне могут не допустить к полетам. Сошлются на какой-нибудь пункт положения... Он будет просить, он может даже ходить на голове, в ответ лишь разведут руками: «Рады бы, да не имеем права, вот прочтите сами».

Ему казалось, что стоит отдохнуть, выспаться, побриться не спеша, и он станет прежним, сорокалетним, с виду молодым, но достаточно опытным. Увы, только казалось. Но захочется ли ему самому лететь снова? Он хорошо знает, что это такое: дни и ночи, целые годы, а потом отнюдь не встреча с чудесами, не райские кущи, не земля обетованная... Лишь увидишь, как вырастет далекая звезда, станет похожей на Солнце, услышишь, как защелкают затворы фотокамер, включатся приборы, датчики, замигают огоньки на панелях дальномеров — будь внимателен, не зевай, скоро назад. Так было дважды. В этот раз его притянуло к звезде, и он едва выбрался. Официально это называется исследованием околозвездного пространства.

Сергей чуть было не угодил в воду: прыгнул, но едва дотянул до края лужицы, она была довольно широкой, с дном, исчерченным велосипедными шинами. Пахло сырой травой, клевером, асфальт еще не нагрелся по-настоящему. Из желтых одуванчиков вылетали шмели и гудели над пешеходной дорожкой. Дома зеркалами-окнами ловили и асфальт, и траву, и цветы, и облака. И поэтому окна становились то голубыми, то белыми, то синими, то зелеными. Длинным рядом цветных шахматных клеток шагали они вперед вместе с Сергеем, а возле домов прыгали, бегали, кричали дети.

Ему пришлось успокаивать пятилетнего мальчугана, гнавшегося за девочкой, которая отняла у него жука. Сергей остановил его, но это было каплей, переполнив-

шей чашу: мальчуган залился слезами. «Мертвый жук... мой жук», — повторял он всхлипывая. Майского жука он сам нашел на земле. Девчонка была старше его. Сергей дал ему большую белую ракушку. Мальчик, не переставая, всхлипывал. Сергей подождал немного и сказал ему, что ракушка с Марса.

Он уже отошел метров на сто, когда его догнал мальчишка с собакой. В руках ивовый прут; собака, остановившись поодаль, виляет хвостом. Он что-то сказал, но тихо, и опустил голову, ковыряя землю прутom. Он тоже просил ракушку с Марса.

— Очень жаль, — сказал Сергей, — у меня была только одна... Что? В следующий раз? Нет, я больше не полечу. Никогда. «Стриж» — моя последняя ракета.

Собака подбежала ближе и завилала хвостом еще быстрее, мальчик водил по земле прутom.

— Видишь ли, — сказал Сергей, — раньше я всегда привозил много камней и ракушек ребятам из нашего дома, а сейчас так уж получилось... Я давно не был дома, а дети стали взрослыми. Да, брат... Ну, мне пора.

Эта ракушка, собственно, предназначалась его сыну. Она долго пролежала в чемоданчике, во всяком случае, в прошлый раз он возвращался уже с ней — нашел возле базы на Марсе. Сыну тогда было семь лет. Но дома его ждала коротенькая записка. Жена забрала мальчишку и ушла от него. И мебель и полы в комнатах были такими чистыми, как будто их мыли и протирали только вчера, — ни пылинки, ни соринки. С тех пор жена не давала о себе знать, пропала, как в воду канула. А он через некоторое время улетел. Собирался лет на восемь, а вышло на двенадцать. Он любил жену и поэтому заставил себя забыть о ней. Сына он забыть не смог.

Он остался тогда один, все надеялся разыскать их, увидеть сына, да так не собрался. Передумал. В ожи-

дании отлета (у него бывали свободными целые дни) подружился с соседскими ребятами. Мастерил для них игрушки — прыгающих зайцев и лягушек, ракеты, которые летали выше дома, бабочек впрягал в маленькие повозки из бумаги и ниток.

Шум да гам поднимался по вечерам во дворе, когда дети собирались вместе. Кто же захочет терпеть такое? Им не разрешали громко кричать, ломать ветки деревьев, кидать камнями в кошек, бегать с сачками по газонам, прыгать, взявшись за руки, на автомобильной стоянке. Мало этого. Им совсем запретили играть под окнами — только на детской площадке. Все, кроме Сергея. Он не ругался, не жаловался их строгим молодым мамам. Ему нравилось, когда под его окнами они затевали шумные игры. По крайней мере, скучно не было. Но родители пытались испортить и это маленькое их удовольствие. Они требовали, чтобы дети каждый раз вежливо спрашивали у Сергея разрешения бегать и прыгать под его окнами.

И когда он возвращался домой, ребяташки, оставив на минутку игру, как по команде, кричали: «Сергей пришел!» (Нашли ведь товарища!) И длинноногая Элька, самая старшая из них, подбегала к нему и спрашивала:

— Мы играли под твоим окном. Можно?

Зашуршали шины, легковая машина, поравнявшись с Сергеем, замедлила ход. За рулем сидел мужчина, рядом та самая женщина, которую он видел в порту.

— Вас подвезти? — мужчина за рулем почему-то улыбался.

— Нет, спасибо, мне недалеко, — отговорился Сергей.

— Он подвез бы вас до самого дома, — сказала женщина.

— Мне уже предлагали машину в порту, я отказался. Надоела техника, да и спешить некуда. Вы издалека?

— Марс, Юпитер-два, — ответил мужчина и опять улыбнулся.

Женщина внимательно смотрела на Сергея. Его начинало это раздражать.

— Я был подальше, — сказал он.

— Мы знаем, — сказала женщина. — Соскучились по дому?

— Нисколько. Забыл, где он и находится.

— А ты? — спросила она спутника. — Не забыл?

— Нет, — ответил тот, — но мне не нужно было это и помнить, ты же обещала меня встретить.

Они уехали. Он пытался вспомнить, где видел ее раньше. Видел ли?

...Он шел по своей улице и издалека узнал предпоследний дом у перекрестка. Нашел свои окна, зашел во двор. Дом был тот же, да не совсем, словно тоже постарел. Деревья, которые сажали еще при нем, здорово выросли, и поэтому дом казался чуть ниже.

И там, во дворе на скамейке, словно поджидая его, сидела женщина, с которой он разговаривал по дороге. Она заметила его, наклонилась, что-то сказала... И тогда он увидел детей, бежавших к нему. Сергей остановился. Он узнал. Два лица наконец слились в его памяти. Элька, прыгающая через веревочку под его окном... Элька с коротенькими пушистыми косичками и длинными ногами? Неужели она помнит его? Он в нерешительности перевел взгляд с нее на ее мужа, на детей, подбежавших к нему. Нужно было что-то сказать, хотя бы просто поздороваться. Он видел, что им хорошо, что им весело.

— Здравствуй, здравствуй, Сергей! — закричали дети. — Мы играли под твоим окном!

Его разбудил звонок. Он не сразу понял, чего от него хотят. Деревья, кусты, люди, машины на дальнем шоссе — все, что он успел увидеть за окном, едва открыв глаза, казалось продолжением сна, начало которого затерялось в далеком мальчишеском детстве. И тогда, как сейчас, были люди, лица, небо, затянутое облаками. Мягкий свет в комнате. Шаги за дверью, на кухне. Голос не то бабки, не то матери. Утро. Звонок. Пора в школу. Его торопят. Скорей, скорей, опоздаешь!.. Ах, как не хочется вставать, еще минутку бы! Но ласковая бабка безжалостно срывает одеяло.

Пока он одевался, кто-то нетерпеливо нажимал кнопку звонка. С улицы доносились голоса, тихий рокот моторов, далекие гудки.

Сергей открыл дверь, пригласил войти. Человек помедлил, словно в нерешительности, потом быстро прошел в комнату и после обычных извинений сразу приступил к делу.

— Видите ли, — начал он, — нам неясны некоторые детали, касающиеся вашего возвращения. Может быть, это покажется странным, но я должен кое-что узнать у вас. Моя фамилия Волин, я с космодрома.

— Спрашивайте, — сказал Сергей.

— Не помните ли вы точное время приземления?

— Десять часов двадцать минут.

— Вы приземлились на ракете «Стриж»?

— Да, на «Стриже».

— Номер посадочной площадки?

— Площадка номер девять. Что-нибудь случилось?

Волин молчал, словно собираясь с мыслями. Сергея раздражал его тон, хотя он и понимал, что Волина привела к нему важная причина. Прийти, не связавшись предварительно по фону? Ему вдруг показалось, что тот хотел появиться неожиданно, сразу, не предупреждая.

— В чем же дело? — снова спросил Сергей.

— Дело в том, — медленно проговорил Волин, — что площадка номер девять пуста.

— Где же ракета?

— Нигде. Ее нет. Она пропала.

— Вы шутите... поищите ее в моем чемодане.

— Это бесполезно. Ракеты вообще не было.

— То есть как не было?

— «Стриж» не приземлялся.

— Выходит, я пришел пешком?

— Вам это лучше знать.

Странное чувство испытывал Сергей. В голове крутились обрывки воспоминаний, впечатлений, мыслей. Он внимательно смотрел на Волина, его лицо словно удалилось, голос тоже звучал откуда-то издалека. После вчерашнего голова еще кружилась, если бы его не разбудили, он бы, вероятно, спал еще долго. Усилием воли Сергей поборол остатки сна. Лицо Волина приблизилось. Собранный и подтянутый, с нарочито неторопливыми жестами, Волин как будто изучал Сергея. Внимательные глаза его были полуприкрыты. Именно такие вот, до поры до времени находясь как бы в засаде, могут молниеносно повернуть события, в единый порыв вложить всю силу и ум.

— ...представьте, — медленно говорил Волин. — Прилетает космонавт. По крайней мере, утром случайно становится известно, что он дома. Ракета исчезает. Ищут следы приземления — их нет. Физико-химический анализ поверхности площадки говорит за то, что никакой ракеты не было вообще. Никто не зарегистрировал приземления. Никто не видел ракеты. Ни один человек. Ни один локатор. Какие-нибудь догадки, пояснения? Их нет. — Волин смолк, повернувшись спиной к собеседнику.

Сергей будто вслушивался в его многозначительное молчание. Совершенно неожиданно ему вдруг стало

смешно. Потерять ракету? Что они, ошалели, что ли? Сдерживая улыбку, он повернулся к Волину.

— Так, значит, «Стриж» не приземлялся? Едем на ракетодром.

...Сергей прошел к взлетной площадке. Волин остановился у низеньких перил. Был обычный рабочий день. Поодаль, метрах в ста, люди в комбинезонах готовили к старту чью-то ракету. Оттуда доносились мерное электрическое жужжание и резкие металлические звуки.

Между каменными плитами ракетодрома пробивалась пыльная трава. От труб энергопитания поднимался теплый воздух. Дальний лес серой дрожащей лентой исчезал за горизонтом. Площадка номер девять была пуста. Ветерок перекачивал по бетону тяжелую соломину.

Сергей понимал, что обстоятельства вовлекли его в центр необъяснимых пока событий. Но где их начало? Его считали погибшим. Неожиданное отклонение от расчетной траектории — и ракету бросило к звезде. Он видел красные фонтаны протуберанцев совсем близко, почти как этот лес на горизонте. И раскаленный звездный ветер гнал за корму светящиеся облака, горячие, извивающиеся вихри, словно в дышащей жаром печи жгли золотистых змей. Можно ли само его возвращение считать первым звеном в цепи этих событий? Очевидно, нет. Он ведь отлично помнил, чего ему это стоило. Он остался жив, потому что перенес перегрузку.

Но дальше... эта пропавшая ракета. Сергею вспомнилось, как Волин разыскал того самого мальчишку, который просил ракушку. Собственно, найти его было нетрудно. Дом Сергей примерно помнил, его жизнерадостную белую собачонку знали здесь многие. Мальчик сразу узнал Сергея. Когда Сергей полусхутя попро-

бовал передать ему разговор с Волиным о ракете (им все еще владело веселое настроение, и дорогой он подтрунивал над Волиным), мальчуган вытаращил глаза. «Вполне естественная реакция», — сказал Сергей как будто про себя. Волин промолчал.

И все-таки версию о недоразумении приходилось отбросить. Ракеты не было ни на одном из космодромов. Сергей медленно шел сейчас к тому самому месту, где вчера он сошел с трапа на землю. Волин что-то крикнул и показал руками.

— Что, что? — переспросил Сергей.

— Возвращайтесь, — услышал он, — не ходите по площадке!

Темного дерева стол, два-три стула, шкаф с книгами во всю стену, окно настежь — это и был кабинет профессора. Сергей остановился у двери, профессор Копнин предложил стул, извинился за беспорядок, украдкой смахнул на лист белой бумаги окурки, расползшиеся из пепельницы. Лист скомкал, зажег свет («Как быстро стемнело, я и не заметил»), из-под очков — рассеянный взгляд на Сергея, голос тихий, спокойный:

— Знаете, просчитали мы по вашим данным траекторию. Осталось всего двадцать тысяч километров до фотосферы, «Стриж» неминуемо должен был встретиться со звездой, понимаете? Сгореть, исчезнуть. Как это вам удалось, расскажите-ка!

Сергей ответил что-то. Что он мог рассказать ему? Можно ли рассказать о годах надежд и тревог, о любви, о смерти, о жизни? О минутах ожидания? Об отвоенных секундах и метрах, подаривших ему жизнь? И о том, как нервы звенят, словно натянутые струны, и руки сжимаются, да так, что костяшки пальцев стано-

вятся белыми? Ведь слова будут сухими, непохожими на правду.

Копнин предлагал для объяснения происшедшего весьма сложную гипотезу. Он ссылаясь при этом на недавние астрофизические исследования структуры звездных спектров.

— Представьте каплю и океан, — говорил он Сергею. — Каплю мы изучили, взвесили, измерили и поражаемся всемогущей природе, создавшей такой шедевр. Об океане же знаем очень мало и потому считаем его просто большой лужей, в лучшем случае механическим собранием множества капель. Капля — это Земля. Океан — звезда. Некоторые думают, что звезда — это чуть ли не извечное скопление осколков атомов, что-то вроде гигантского костра, котла, в котором не найдешь ни одной целой молекулы. Отчасти это верно, но лишь отчасти.

Нельзя сбрасывать со счетов эволюцию. Почему это в одной-единственной капле — горы и равнины, люди, ракеты, любовь, плотины, революции, искусственный синтез ядер, математика? В океане — нуль. Разве это так уж бесспорно?

Сергей рассеянно слушал. Ему захотелось подойти к открытому окну и помолчать. Сейчас, когда над столом мягко горел свет, а на улице стихал городской гул и от кустов, травы, деревьев пахло молодыми листьями, он по-настоящему наслаждался. Это был его второй вечер. По шоссе плыли огни. Красные, желтые, зеленые. Над теплой землей дрожали звезды.

Он пока не вполне понимал профессора. С большим удовольствием он поговорил бы с ним о цветах и яблонях, о старом доме, в котором жил мальчишкой, о кино, книгах, рыбной ловле, но каждый раз Копнин деликатно переводил разговор на интересовавшую его тему. По его словам, нуклоны и электроны, эти кирпичики, из которых построено вещество, могут распола-



гаться так, что их комбинация будет устойчивой, способной противостоять огненному урагану звезды. И, раз возникнув, она не исчезает, не растворяется в огне, потому что сама похожа на вихрь, на горячий смерч. Такой вихрь появляется чисто случайно, вероятность его рождения ничтожна. Но ведь звезды существуют миллиарды лет, их масса... стоит ли это напоминать Сергею? Цифры говорят о том, что такие устойчивые вихри не фикция. У потока радиации берут они энергию, новые силы.

Странную гипотезу развивал профессор Копнин. Из известного факта о материальной основе мысли он делал далеко идущие выводы. Движущиеся ионы, электрические потенциалы, биотоки — вот с чем связана мысль. Но и рой элементарных частиц с его неизмеримо более высокой энергетикой, со структурой, четко оформленной гигантскими силами, с молниеносными нейтрино, по мнению Копнина, был не менее подходящей питательной средой для мысли.

Копнин подал Сергею конверт. Тот вопросительно посмотрел на него.

— Там снимки, ознакомьтесь.

Сергей достал два фото — большое и поменьше. На большом фотоснимке ночное небо, в правом верхнем углу — слабое светящееся пятнышко. На втором фото — пятнышко покрупнее.

— Случайные снимки, — сказал Копнин, — сделаны примерно за пять часов до вашего возвращения.

— Вихрь, о котором вы говорите? Уж не думаете ли вы, что дело обошлось без ракеты?

— Для меня это почти очевидно.

— Но кислород... все остальное?

— Э, пустяки! Из одного литра нуклонов и электронов можно сделать столько кислорода, что хватит на все человечество.

— Ну да, нужно лишь расположить их в определенном порядке.

— По-видимому, у них это получается.

— Живые вихри? На звездах? Переносящие космонавта на Землю? Но ведь для этого им, по крайней мере, нужно уметь угадывать мысли, а это не так-то просто — анализировать биотоки мозга. Неужели вы верите?

— Я верю фактам, — сухо сказал Копнин.

— Но если даже было что-то похожее, почему я не помню ровно ничего?

— Это уже дело техники. Внушение, гипноз — как угодно. Так нужно, понимаете? Почему? Ну хотя бы для того, чтобы не травмировать психику. Вы летели в ракете. Но это лишь иллюзия. Ракеты не было. Это точно установлено... Что? И вас и ракету? Это гораздо сложнее — перенести ракету. Если хотите, из чисто экономических соображений.

Сергей лихорадочно искал возражения. Все в нем сопротивлялось желанию поверить в услышанное. Выходит, он своим спасением обязан кому-то? А кому — толком и неизвестно.

— Хорошо, — сказал он, — пусть они настолько проницательны. Допустив это, мы сразу придем к противоречию. Я же хотел не просто вернуться. Я хотел увидеть сына. Что им стоило? Если все так и есть, как вы говорите, для них это сущий пустяк, а я... попробуй-ка теперь найди его. Я видел его, когда ему два года исполнилось, понимаете? Жена наверняка не рассказывала ему об отце... А как вы так быстро узнали о моем возвращении? Ракета не приземлялась. Меня считали погибшим, так ведь? Меня и помнит-то здесь одна Элька. Девчонкой была, когда улетал, а узнала.

— О вас мы узнали от ее мужа. Он слышал от нее про вас и хотел помочь — избавить вас от обычных

формальностей. Вернулся он в тот же день, утром, приехал в порт — оформить свои дела, заодно и ваши, чтобы лишний раз не беспокоить вас... М-да, сын, я и не знал, что у вас есть сын. Но его вы разыщете сами, возможно, что это уже выше их сил. А этот, как его... Добров, Владимир Добров, ее муж, сам-то возвратился раньше времени — отказал основной реактор. И без всяких видимых причин. Два необычных приземления одновременно — случай в нашей практике весьма редкий... Вы хотите спросить?

— Да. Этот Добров — он давно летает?

— Нет. Вернулся из первого полета. Хороший парень. Мать схоронил лет десять назад, отца и не помнит...

Сергей повернулся спиной к изумленному профессору и расстегнул ворот рубашки, как будто он душил его.

— Так вы говорите, его зовут Владимир Добров?

Снова и снова всплывали в его памяти женщина с ребенком на руках, смех, плач, улыбки, слезы старых дней. Вот она, Елена Доброва, его жена, — стоит только дать волю воспоминаниям, и она опять как живая. Вот ее руки, совсем близко, сейчас она поднимет глаза...

Слишком поздно он вернулся.

Он думал, что забыл ее, и, чтобы крепче забыть, улетел. Только подсознанием он чувствовал иногда легкую, почти незаметную боль слева, в груди. Она прокрадывалась в его сны все эти годы. И тогда он как будто снова бродил по пояс в траве. И где-то рядом был знакомый голос. Желтые края вечерних облаков. Тени от кустов на влажной земле.

Закрыв ладонями лицо, Сергей снова перебирал подробности, боясь поверить, боясь ошибиться. Возвра-

щение. Мальчишки на улице. Элька, Волин. Разговор с профессором. Владимир Добров. У него фамилия матери. Странное стечение обстоятельств? Случайность? Нет, исключено. Они ведь возвратились одновременно. Копнин прав.

Сжав голову руками, Сергей попытался справиться с захлестнувшим его потоком. И не смог. Он думал о сыне. Ему бы и в голову не пришло... хотя он и похож на свою мать.

Их дети — его внуки, возможно ли? Ему захотелось увидеть их, но на улице была уже ночь. Он стал припоминать лица. Черты их были знакомыми, близкими и все-таки ускользали от него, терялись, таяли, а взгляд встречал в темноте за окном лишь светляки фонарей, от которых шли влажные лучи.

КРАТЕР

Не помню, пригласил ли меня Зенцов или он не успел это сделать и я сам напросился к нему. Как бы там ни было, через полчаса после телефонного разговора мы сидели за столом в его комнате, и я вертел в руках какой-то осколок: минералогия — моя первая страсть и вторая профессия. Скажи мне тогда кто-нибудь, что скоро я назову этот молочно-белый камешек чем-то вроде чуда и даже напишу о нем рассказ, я ни за что не поверил бы.

Мне кажется, тогда я не чувствовал необычности происшедшего. Будто бы и не пропадал Зенцов несколько лет. Я словно вчера видел его и теперь зашел просто поговорить. В последнее время меня увлекает работа, я не замечаю, как бегут месяцы.

Внешне он не изменился. Те, кто видел его по возвращении, могут это подтвердить. Я говорю «внешне», потому что годы космической экспедиции не могут оставить человека прежним.

— Твой стакан! — то и дело говорил он в редких перерывах между моими вопросами. Наполнив стакан густым чаем, он возвращал его мне, а я задавал ему следующий вопрос.

За окнами рдел весенний вечер, бодрый и прозрачный, как капля дождя. Звонкие голоса детей изредка врываются в комнату. Мы зажгли свет. В свою очередь, я сообщил ему все, что, по-моему, как-то его касалось.

Вспомнили однокурсников.

Помнится, мое внимание опять привлек осколок, лежавший на столе. Не знаю, почему я не принял его за пепельницу. Он мог бы сойти за нее. Я коротко спросил его:

— Это оттуда?

Он кивнул. Разговор сразу вошел в нужную колею.

— Взгляни. — Он выдвинул ящик стола. — Вот

сюда. — И подал мне небольшой серый конверт. Я восторженно посмотрел на конверт, потом на него.

— Там, в конверте...

Ого! Неплохой фотоснимок. Яркое фиолетовое небо, пожалуй, даже светлее, чем на популярных открытках с космическими пейзажами, контрастировало с черной равниной. У горизонта виднелись такие же темные скалы с правильными очертаниями. Кое-где различались пятна теней. Ближе выделялся холм. Его вершина совершенно плоская, будто срезана (не представляю, как тут обошлось без ножа). «Подгоревший пирог» — сразу окрестил я этот холм с темно-бурыми склонами. На темном фоне угадывались небольшие светлые участки и микроскопические белые крапинки — самая мелкая деталь, которую мне удалось рассмотреть.

— Не смог бы представить ничего похожего. Мрачно... — я даже зажмурил глаза: интересно, как воспринимается это в натуральную величину.

— А камешек?.. Сувенир? Что-нибудь такое, о чем еще не напечатали в газетах?.. В самом деле?

— Видишь ли, у тебя в руках не совсем обычный сувенир... — Он замолчал, словно предоставляя мне возможность самому решить, что же это такое. На ощупь осколок напоминал пластмассу, скорей всего полистирол.

— Необычный? Значит, что-то из ряда вон выходящее?

— Видишь ли... — он опять замялся, — это, пожалуй, неинтересно... Нет... Никакого отношения к минералогии... Да... Нет, скорей небольшое приключение... Ну хорошо, хорошо... Конечно, с самого начала... Я говорил, почему мы едва успели выполнить программу? В общем, работали по десять-двенадцать часов. Почти каждый день. Саша по горло был занят упаковкой и сортировкой всяких корней, стеблей, кактусов... Слова «кактус» он не терпел, а именовал их по-научному,

длинно и непонятно. В последние дни ему доставалось больше всех.

Как только у нас наметился просвет, мы собрались ему помочь. Я и геолог. В конце дня добрались до кратера... Да, до этого самого... Да, пирог... Даже с начинкой... Так вот, сверились с картой, на всякий случай обстреляли местность излучением, все как полагается. Район новый, кактусов как из мешка высыпали. Маленькие, большие, оранжевые, бурые, под цвет почвы...

Пока я возился с одной неподатливой колючкой, выкапывая ее из песка и шепча про себя, какой замечательный подарок получит Саша, геолог ушел вперед. Я взмок, пока выдирал корешки — так глубоко они сидели. До холма было метров четыреста, он уже взбирался по склону. Я видел его ноги и раздутый рюкзак. Когда я доконал кактус, склон был пуст.

Легкий голубой дымок, как облачко, висел над ним. Чем лучше я старался его рассмотреть, тем призрачней он казался. «Не может быть, — окончательно решил я, когда затекшая спина немного отошла, — там ничего нет». Холм был хорошо освещен и был совсем рядом.

Крик я услышал отчетливо. Как будто бы он кричал над самым ухом.

Я сразу же ответил, но он молчал. Я спрашивал, что произошло, — безрезультатно. Я не уловил интонацию его голоса. Что-то стряслось. Он звал меня. Но зачем?

Я бежал, бежал что духу было.

В действительности все обстояло как раз наоборот: сначала я помчался вперед, а уж потом попробовал соображать. В такие минуты ноги работают быстрее головы.

Быстро ли приближался ко мне холм, я не видел, потому что, когда бежишь, нужно смотреть под ноги. Разумеется? Согласен, но нам пришлось заново открыть это простое правило там, — он показал, где

именно, махнув рукою куда-то вверх. — Я бежал сломя голову до самого холма. У его подножия длинные корни или щупальца выросли вдруг из плотной темной почвы. Дернуло ногу, я чуть не упал. Склон был в двух шагах. Я просто споткнулся... так я тогда подумал.

Не ожидал, что карабкаться так трудно. Медленно, ползком, распластавшись — ума не приложу, как он справился с рюкзаком.

До полета мы знакомились с образцами почв, доставленными первой экспедицией, но ничего подобного не встречали. Склон покрыт коричневой массой, рыхлой. Она будто пузырями изъедена и очень легкая. Пузыри не больше мяча. На снимке не рассмотришь.

Я хорошо запомнил первый миг: внутренний склон кратера, крутой, почти обрыв, с торчащими кое-где большими белыми камнями, и оранжевые клубы внизу, под ногами. «Облако... Газовое облако выползает из жерла...» — несколько мгновений мной владела эта иллюзия. Наверное, сказывались мои чисто земные представления о природе вообще и о вулканической деятельности в частности. Нет, это не было извержение. Иллюзия внезапно растаяла. Я увидел на дне гладкую поверхность, по которой пробегали цветные блики. Сейчас ты можешь верить или не верить, но у меня тогда выбора, в сущности, не было. Они плыли, как волны разных цветов и оттенков, а поверхность оставалась ровной. Они плыли и отражались от бурых краев этой гигантской воронки...

— Кто «они»?

— Блики. На дне кратера сияло озеро. Видишь ли, более подходящего названия этому я до сих пор не придумал. Очень красиво, и очень жаль, что тебя с нами не было.

«А геолог? Что случилось с ним?» — вопрос вертелся у меня в голове, но я не хотел его перебивать.

— Общий фон «озера» постоянно менялся. Оно иг-

рало сотней оттенков: от нежнейшего розового до холодного темно-синего. Это как цветущий майский луг, только ярче, как горное озеро, когда в нем отражаются радуги, и еще сильнее, еще красивее. На меня обрушился шквал красок, и я не сразу пришел в себя. На легком облачке, висевшем над кратером, светились слабые отблески. Потом все потускнело. Когда это произошло, отлично помню, я еще не отдышался после быстрого бега.

Наконец мне удалось задать вопрос, не перебивая его.

— Геолог? Разве я не сказал?.. — Он казался несколько удивленным. — Антенну он повредил, входной контакт. Хороши, нечего сказать, эти наружные антенны, только для кинофильмов. Поэтому и замолчал... А-а, понимаю... Тебе мерещилось что-то таинственное, — в глазах его сверкнуло веселое ехидство, — ты ведь любишь слушать про космические злоключения, особенно из первоисточников, а?

Но почему мне все-таки казалось, что он изменился? Нет, его не так-то легко переделать.

— Перестань. Хватит с меня одного твоего несладкого чая. Не вздумай прикидываться, будто тебе неизвестно, что в сахарнице стопроцентный вакуум.

«Не пора ли уходить?» — тревожно вспомнил я. Будь дома телефон, я предупредил бы жену, что задержусь. Она бы, конечно, сказала: «Приходи скорей». После этого можно было бы посидеть еще.

— Так что же это? — я щелкнул пальцем по осколку. С одного края его покрывали коричневые брызги (я употребляю здесь слово «брызги» с большой натяжкой: ни одно пятнышко не сдиралось ногтем).

— Что? Хотел бы я сам это знать. Подобрали на обратном пути к вездеходу. Возле белой глыбы из этого же теста. Воронка сплошь ими усеяна. Что?.. Химический состав?.. Вот... — Скомканная бумажка заше-

лестела в его руке, скрипнул ящик деревянного стола. — Вот: кислород, углерод, кремний, водород, кальций, азот... — Здесь я по вполне понятным причинам должен опустить, к сожалению, остальные шестьдесят четыре химических элемента из тех семидесяти, которые там значились. Он продолжал: — Обнаружены геолообразные компоненты с белковоподобными гранулами и прослойками.

— Разыгрываешь? Думаешь, я поверю? — От меня так и веяло спокойствием.

Но нет! На смятой бумажке, хладнокровно мной расправленной, слово «белковоподобный» было подчеркнуто красным карандашом.

— Вот это фокус! Белок налицо, а жизнь? Космическая фауна. Целая экспедиция не нашла ничего, и вдруг — этот камешек... Что это за «белковоподобный»? Что ты молчишь? Что ты думаешь об этом?

— Конечно, подавай тебе сразу гипотезу! Может, тебе нужны точные доказательства? Может, собираешься написать учебник космической зоологии? Ничего нет у меня. Говорю тебе, ничего. Времени не хватило.

— Вы стартовали в тот же день? — вспомнил я не очень уверенно.

— Я уже говорил. Через каких-нибудь четыре часа. Нагоняй за длительную внеплановую прогулку получить все же успели, — он слабо улыбнулся, — и благодарность от Саши. Знаешь, — по его лицу скользнула легкая тень сомнения, — когда мы выбирались из кратера, я заметил еще раз... щупальца, но хорошенько мы так ничего и не рассмотрели. Нас срочно вызывали по радио, а у него — случится же такое — порвался рюкзачный ремень. Тут уж не до наблюдений. Ты не думаешь, что здесь есть связь: эти камни, странный кратер... щупальца. Геолог успел щелкнуть все это на пленку. Портативной камерой. Пока я искал его там... среди белых глыб. А «озеро»? Интерференция, игра

света? А если это часть общего целого, сложного и пока не разгаданного? Часть того, о чем мы сейчас можем сказать лишь самой общей формулой?

— Невероятно... Неужели ты всерьез полагаешь?

— Полагаешь... — поддразнил он, — ты слышал что-нибудь о батибии?.. Собственно, этого следовало ожидать. Так Гексли назвал в прошлом веке вязкую слизь с заключенными внутри ее известковыми камешками, добытую со дна океана. Батибий означает «живущий в глубине». Гексли считал ее первичной живой протоплазмой. Совсем еще недавно это считалось модным — искать первичную протоплазму. Так вот: скелет — камешки, тело — протоплазма, все вместе — батибий, «живущий в глубине». Логично? А на самом деле ничего общего с протоплазмой! Ты понимаешь, зачем я вспомнил это? То, что сходило с рук Гексли, не разрешается веком позже.

...Когда я вышел от него, на моих часах было четверть первого. Лил дождь, мое легкое весеннее пальто быстро тяжелело. Он молодец, думал я, глядя, как стремительные водяные горошины рождают в лужице на асфальте маленькие фонтанчики — извержения, он шутил и смеялся со мной, угощал несладким чаем, он весел и бодр, он заразил и меня, подумаешь, немного помокну под теплым дождем, но, значит, там он держался настоящим молодцом.

Я увидел кратер лет десять спустя. Дороги, мечты и работа снова разлучили меня с Зенцовым, но на этот раз я работал в составе группы «Кратер», а на его долю выпали дела земные. Нам предстояло провести на планете полгода. Первые месяцы пролетели так быстро, что мы и опомниться не успели.

Березину удалось детально изучить кратер, я помогал ему. Немного странен был вывод: кратер живет, он

заполнен органическим веществом, его поверхность излучает широкий спектр электромагнитных волн, а вот для чего это излучение, мы пока не знали. Ведь если кратер — живое тело, а так и выходило, то он не мог расточать напрасно огромную энергию. Бойко и Кротов первые три месяца были заняты исключительно астрофизическими исследованиями, но вдруг наши пути сошлись.

На соседней планете тоже обнаружился кратер. И существа, разделенные космической пустотой, общались друг с другом световыми лучами. Да, они общались — таков был вывод Бойко и Кротова. Луч соседнего кратера был нацелен точно на нас. Если бы мы могли заметить его невооруженным глазом, то увидели бы световой зайчик, охватывавший и наш кратер, и нашу станцию, и еще несколько километров окрестности. Приборы с легкостью нащупывали луч. Надо полагать, луч нашего кратера также был бы ощутим на соседней планете. Мы угадывали теперь целую группу, сообщество космических организмов. Через месяц эти предположения подтвердились. Был пойман луч из соседней звездной системы, потом еще один. За вспышкой световой активности последовало затишье, световое «молчание». Что это значило?

— Позывные весны и молодости, — сказал Березин, — они ведь живут и дышат, лучи — это их голоса, их руки, это их движение. Но они, возможно, глухи к тому, что рядом с ними.

— Должно быть, у них есть враги, — подумал я вслух, не подозревая, что окажусь прорицателем.

Через несколько дней Кротов показал нам облако. Оно было едва заметно в полуденной чаше неба. По словам Кротова, облако неподвижно висело над кратером несколько часов кряду, не меняя формы. К вечеру оно стало опускаться. Края его были темные, клочковатые, а середина исторгала мерцавший полу-

свет, точно там пылала топка и пламя в ней просвечивало сквозь темное стекло. От нашей станции до кратера было не больше километра, и мы хорошо все видели.

Возник свистящий звук. Он усилился, и ушам стало больно от звуковой волны. Над кратером взвилась пыль, повисла в воздухе... Гром! Слепящая зарница. Минутная тишина — и снова раскат грома, еще и еще. Из середины облака выскочила фиолетовая яркая капля, за ней тянулся белый шнур. Капля опускалась медленно, как на парашюте. Мы слышали, как раздался сигнал тревоги и наш робот включил приборы защиты. Станция неуязвима для электрических разрядов любой силы, но кратер...

Фиолетовый комок коснулся озера, светящийся шнур изогнулся, взорвался, и зеленая вспышка затмила день и само светило. Удар. Ослабленный защитой шквал... Ксироловый купол над станцией дрогнул, на его вмятинах заиграла радуга, ослепительные интерференционные блики. Между облаком и кратером изламывались молнии. Лучи от них жгли и кусали мои руки, которыми я прикрыл лицо, они были как брызги расплавленного свинца.

Наконец прохлада и тишина... Облако быстро опустилось и легло на кратер. В воздухе рассыпался хруст, сухие щелчки, точно мельница молола гравий. Верх облака клочкотал бесшумно, как далекий морской прибой. И казалось, под ним билось нечто живое — причина этого кипения, клочкотания. Минута, другая, и вот взметнулись вверх темные края облака, точно крылья хищной птицы. Облако полетело в поднебесье — быстро и плавно. Оно засеребрилось, стало похоже на аэростат, вскоре пропало. Все стало на свои места. Но чего-то не хватало.

— Погас кратер! — крикнул кто-то. — Смотрите, что случилось!

Я первым добежал до кратера. Он был пуст и мертв. Скаты воронки обуглились, на дне осела черная пыль. Его сердцевину выжгло пламя облака. Вероятно, кратер защищался, иначе не было бы электромагнитной войны, продолжавшейся, правда, лишь несколько мгновений. Хищник либо убивает жертву, либо погибает сам — так истолковали мы происшедшее.

Склон был усыпан осколками. Я поднял один, рассмотрелся. Он напомнил мне давний московский вечер, Зенцова, его первый рассказ о кратере, которому я когда-то верил и не верил. Точно такой же белый камешек я видел у него.

Незадолго до того, как Зенцов и другие нашли кратер, наверное, тоже прилетало облако, но кратер ожил, возродился, быть может, не без помощи лучей, посланных с других планет. Именно на такой ход событий мы надеялись, рассматривая осколки.

АЛЬКИН ЖУК

Нужно было возвращаться в город. Потому что солнце уже покраснело и по траве ползли длинные прохладные тени. Красотки еще хлопали синими крыльями, но самые маленькие стрекозы — стрелки уже спрятались, исчезли.

Мы с Алькой прошли за день километров пять по берегу ручья и поймали жука. Теперь Алька то и дело подносил кулак к уху — слушал. Жук скрежетал лапками и крыльями, пытаясь освободиться. Еще час назад он сидел на пеньке, задремав на солнышке, и Алька накрыл его.

Никогда не видел я таких жуков! Полированные надкрылья светятся, как сталь на солнце, лапы словно шарниры, усы — настоящие антенны.

— Знаешь, это совсем не жук, — сказал Алька серьезно.

— Да, мне тоже так кажется, — сказал я, безоговорочно принимая условия игры. Но я слишком быстро и охотно это сделал. Альку не проведешь — хитрюга, в мать.

— Я серьезно, а ты... — Он не закончил. Замолчал, замкнулся. Дети — маленькие мудрецы, все чувства на лице, зато мыслей не прочтешь.

Мы медленно шли к дому вдоль ручья с цветными керосиновыми пятнами, мимо куч щебня и цемента, заборов и складов товарной станции. Мы перешли железнодорожное полотно, деревянный мостик через канаву, на дне которой валялись так хорошо знакомые нам старые автомобильные баллоны, ржавые листы металла и смятая железная бочка. Лесопарк уступает место городу постепенно. Эта ничейная земля нравится и Альке и мне. Мы всегда останавливаемся на мостике, словно ждем чего-то...

Солнце катилось по самым крышам. Последние лучи

еще грели руки и лицо. Издалека доносился гул, стучали колесами поезда. Над полотном дороги дрожали фиолетовые и красные огни. Раздавались гудки. Такие дни очень похожи друг на друга.

— Жук стал теплым, — сказал вдруг Алька.

Я потрогал. Жук был очень теплый. Алька объяснил:

— Я читал книгу про марсиан. Они как кузнечики, сухие, с длинными ногами. Или как жуки.

— Это фантазия, — сказал я. — Никто не знает.

— Фантазия всегда сбывается. Разве ты не знаешь?

— На Марсе нет жизни, там очень холодно.

— А на других планетах, у других звезд — там тепло...

...В моих руках стеклянная банка. Вечером Алька посадил туда жука, накрыл ее чайным блюдцем, поставил на окно. Мы молчим, хотя Алька мог бы повторить все, что он говорил по дороге домой. Но теперь мы знаем, что это очень серьезно. Банка пуста, за ночь в ней появилось отверстие с ровными оплавленными краями. С полтинник, не больше. Мы оба понимаем, что ждать продолжения этой истории придется, вероятно, очень и очень долго.

Весна пришла поздно. Мартовское солнце днем здорово грело, и тогда оттаивала грязь, в лужах всплывала какая-то слизь, прелая трава, прошлогоднее гнилье. Иногда же, особенно вечерами, с неба спускался холод, и земля застывала.

— И все-таки весна хорошее время, — говорил я в один из таких вечеров своему другу Саше Колоскову, начинающему писателю.

— Весна ужасна, — возражал он, — каждая лужичка, каждый сантиметр асфальта кишат микробами, мне кажется, я вижу их и без микроскопа.

Он забежал ко мне на минуту и узнал, что Алька болен. В квартире было непривычно тихо, потому что и Алька, и его мама на время болезни перебрались к бабушке, которая ухаживала за обоими.

— Это опасно? — спросил Колосков.

— Врач говорит — воспаление, но неопасное. Да... Алька просил принести книжицу. Почитать. Но я не смог ее найти.

— Что за книга?

— Ему читала мать. Очень давно. Он уже не помнит.

— Ни заглавия, ни автора?.. О чем книга?

Я задумался. Жена рассказывала мне, что по ночам Алька бормотал о книге про маленьких человечков. Кажется, она даже вспоминала отдельные страницы, но этого было слишком мало для того, чтобы разыскать книгу. Она спрашивала Альку: «Может быть, это книга о лилипутах?» — «Нет, о лилипутах я знаю». — «О Дюймовочке? О Карлсоне?» — «Нет».

— Эта книга о маленьких людях, — сказал я, — но не сказка. Сказки он знает лучше нас. Скорей фантастика. Это не Ларри, не Брагин. Насколько я понимаю, человечки живут только сутки: утром рождаются, утром же умирают. Из песчинок построены их дома. Железо, которое они выплавляют, во много раз прочнее нашего. Стекло тверже алмаза. Что еще?.. Ах да, они охотятся на цветочных мух, мотыльков, ос, за это пчелы дают им мед. Они храбрые охотники, хотя ростом не больше обычной булавки.

Мы курили у темного окна, от которого пахло холодным стеклом. Пришел час, когда звезды спускались поближе к Земле.

— Но главное вот в чем, — продолжал я. — Может быть, ты уже слышал о том, как мы поймали жука? Нет? Так вот... — И я рассказал ему историю с жуком, о котором, по словам Альки, тоже написано в книге.

— Дело в том, — сказал я, — что действительность смешалась с вымыслом. Он сам искренне верит тому, о чем рассказывает. Да, мы поймали странного жука. Случай необычный. Но Алька уверен, что жуки помогают маленьким людям. Они как будто бы живут на одной планете очень далеко от Земли. И человечки не смогли сами прилететь к нам в гости — путь очень долг. Но жуки чем-то похожи на роботов; своим появлением они, во всяком случае, обязаны маленьким людям, и живут они долго. Можно ли представить лучших исследователей и одновременно хранителей знаний? И Алька так привык к этой мысли, что, кажется, даже ночью разговаривает с ним... с жуком. Нет, я не слышал, но Алька говорил мне, что у него очень тихий голос и он один может его понять. Да... Это, видишь ли, потому, что Альке ведь нужно знать самые простые вещи. Ну, например, живые жуки или нет, существуют ли человечки или нет, далеко ли их планета. И на эти вопросы он как будто бы ему ответил... оставаясь невидимым. Но в последнее время жук стал появляться все реже, и Алька, как бы лучше сказать... боится потерять его, что ли. Он уверен, что в книге все это написано, и хочет перечитать ее, понять... И еще он ждет лета — в тот же день, седьмого августа, жук обещал прилететь к ручью.

...Через несколько дней Алька листал книжку с картинками. В ней рассказывалось и об охоте на муравьев, и о водяных каплях величиной с окно, и о разных небывалых травах, и обо всем, что он привык считать чистейшей правдой.

— Как тебе удалось сфабриковать это? — в тот же день спросил я Колоскова.

— Издательство помогло. Алькину книгу, как ты и сам догадываешься, никто не мог вспомнить, потому что скорей всего ее попросту не существует. Пришлось написать заново. Знакомый наборщик, друг-редактор,

два-три вечера самому пришлось быть подручным в типографии — и вот результат: книга в одном экземпляре, уникальная вещь. Книга для Альки. Обрати внимание на виньетки: они выполнены тушью, вручную.

— Но Алька узнал книгу? Как это объяснить?

— Ты сам рассказал содержание с его слов! — удивился Колосков. — А истина, художественная правда — она ведь одна. Даже в фантастическом произведении.

— Ну, ну... положим, ты несколько преувеличиваешь, — начал я спор, в котором, впрочем, мы оба вскоре запутались.

...Теплым летним вечером мы снова встретились. Алька пил чай, потом стал баловаться, выложил варенье из банки в блюдо, налил туда чаю, размешал смесь ложкой и опрокинул на себя. Я отправил его в другую комнату и долго спорил с Колосковым о Репине и Кандинском. В наших взглядах не было, как говорится, ни одной точки соприкосновения, хотя и делить как будто нечего: он — писатель, я — художник. Мы когда-то и сошлись близко из-за неудавшейся совместной работы, послужившей первопричиной бесконечных дружеских споров. И каждый из нас решил для себя: дружба — да, но сотрудничество — за какие грехи? Ведь истины, рождающиеся в спорах, обходятся слишком дорого.

Наконец ему надоело спорить. Он распахнул окно. Пахло землей и травой. Вдали раскинулся лесопарк. Колосков вдруг спохватился:

— Как это ты сразу догадался тогда, что книгу написал я?

— Видишь ли, — ответил я, — наши друзья из издательства попросили меня сделать несколько иллюстраций. Но пойми меня правильно, — добавил я улыбаясь, — до поры до времени им удавалось скрыть от меня, что ты автор текста.

— Что ж, значит, мы можем работать вместе. Кста-

ти, где книга, интересно бы еще раз взглянуть, да к тому же сегодня седьмое августа, помнишь?

Конечно, ни я, ни Алька ничего уже не помнили. Он, оказывается, забросил книгу в угол с электрическими игрушками, и она валялась там, покрываясь пылью, — осиротевшая растрепанная бумажная вещица, служившая иногда искусственным препятствием для космического вездехода. И эта книга, с которой он еще три-четыре месяца назад не расставался!

— Алик... — начал было укоризненно.

— Ничего, ничего, — сказал Колосков, — это вполне естественно, я и сам вспомнил о ней случайно. А ведь сегодня, братцы, седьмое августа. Раскроем книгу...

И мы прочли:

«Жук сказал: «Я прилечу седьмого августа на то же место у ручья, жди меня». Потом расправил крылья, взлетел и, повисев над поляной, полетел вперед, поднимаясь выше, выше. Как маленькая ракета летел жук, потому что он знал секрет светового луча. А луч не только плавит стекло — он может давать и движение».

Самое удивительное заключалось в том, что мы нашли книгу, вновь вспомнили о жуке именно в тот самый, нужный нам день.

— Я знаю, — сказал Алька, — это он подсказал незаметно... Да, жук. Пойдем в парк.

И мы пошли в парк.

И опять мы проходим мимо такой знакомой нам старой товарной станции, где на вросших в землю рельсах стоят бурые покосившиеся вагоны. И рядом зарылся в землю, точно мамонт, облезший, ржавый паровоз. Потом приближаемся к деревянному мостику через канаву, на дне которой прибавилось за год два автомо-

бильных баллона и помятое велосипедное колесо, похожее на мухомор. Прежде чем ступить на ничейную землю, мы с минуту стоим на мостике.

Вот и поляна. И ручей. А там знакомый пень, ставший серым от дождей и давних зимних морозов. И на пне, точно на маленьком аэродроме...

— Жук!

Голос Альки звенит. Колосков тащит меня за рукав туда, где расправляет крылья большущий жук, отливающий светлой сталью. Я сопротивляюсь, случившееся заставляет меня задуматься очень и очень серьезно. Выходит, что... я не нахожу слов.

— Алик! — кричу я, потому что он уже протягивает руки.

Но нет! Алька и сам знает, что мешать ему нельзя. Жук расправляет крылья, взлетает, с минуту висит над поляной, как бы прощаясь с нами. Потом летит вперед, поднимаясь выше и выше. И в воздухе белой молнией сверкает луч. Мы знаем, уверены: этот луч может пронести его через бездны времени и пространства — к зеленой планете.

ЧИТАТЕЛЬ

Рано утром он пришел к космодрому и стал кричать через проволоочное ограждение людям в мундирах, что хочет на Марс.

Рэй Брэдбери.
МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ

В солнечную среду он подошел к дому писателя. Огромные насквозь пропыленные ботинки глухо ударили по ступеням. Правым локтем он уперся в дверь, слегка покачиваясь, и стал беспрерывно звонить.

— Выйди, Брэдбери, мне нужно поговорить с тобой! — гремел он. — Уж не думаешь ли ты, что я пьян? Ну, выходи... Это ты увлек меня своими небывшими, ты забил голову мальчишке. Не глотай он твои книжки, разве вздумалось бы ему на Марс полететь, космонавтом стать? Да я бы спокойно гонял себе мяч или, на худой конец, сделался бы врачом, а когда пришло время — женился бы... уж будь спокоен.

Он звонил — дом отвечал тишиной, возможно, что там не было ни души, но он не терял надежды. Он грозил, просил, требовал, умолял. Почему до сих пор не открыли дверь? Завтра ему лететь туда, где он проторчал двенадцать лет. Приятного там мало. Песчаные дюны, стоградусный мороз. А здесь не с кем и словом перемолвиться. Жена школьного дружка только что вежливо выпроводила его из дому. А он хотел выпить чашечку кофе. Может быть, он и в самом деле громко разговаривает? Привычка — врачи советовали, чтобы совсем не разучиться говорить там, в песках. Никому он зла не желает, только вот не с кем потолковать, душу отвести. Может, Рэй катается на велосипеде? Он подождет. Он расскажет кое-что. Не о чудесах вовсе. Чудес там нет — голод да холод. Однажды на обратном пути они ели кожаные пилотские кресла. И все

умерли — один за одним, потому что кожа оказалась дешевым синтетическим заменителем. После этого... он снова улетел, надо же. А теперь он не может не лететь, рад бы, да не может. Его тянет туда. Здесь его забыли, он и семей-то не успел обзавестись. А если б и была у него жена, разве удержалась бы? Не ушла? Кто поручится?

Ну так в чем дело? Почему Брэдбери не хочет поговорить с живым капитаном Йорком? Где он там прячется? Может, прилег вздремнуть? Так он разбудит. Если звонок тихий, он постучит в окошко, бросит камешек в стекло. Один, другой. Пусть Брэдбери встанет на минутку, пусть выслушает его. Что зазорного в том, что они выпьют вместе по чашечке кофе? И пусть его извинят, он привык к небьющимся стеклам.

— Мне нужно поговорить, завтра я улетаю. Нельзя откладывать!

Он кричал и говорил не переставая. Он хотел поговорить о друзьях, и о полетах, и о марсианских песках.

Осколки стекла потревожили мохнатых шмелей в золотистых цветах перед домом. Подошли два полисмена.

— Посмотри-ка на него, — сказал первый. — Еще один. Просто эпидемия.

— Может быть, этот настоящий? — спросил второй. — С Марса?

— Да ты свихнулся, что ли? Бери его, только осторожно.

И он замахнулся дубинкой. Но космонавт увернулся и выбил ему зубы. Подоспела полицейская машина. До конца дня было тихо и солнечно.

ШОТЛАНДСКАЯ СКАЗКА

В ЗАМКЕ ДАНВЕГАН

По неровной стене замка размытым облаком бежала тень опускавшегося моста. Хольгер видел, как она погасила вечерние блики на противоположной стороне рва и, накрыв кусты шиповника, упала к ногам.

Замок Данвеган сохранил первозданный облик: проломы, оставшиеся после давних нашествий, тщательно заделаны, вновь скрипят колеса, опускающие подвешенный мост, который ведет во внутренний двор. Над входом, как и сотни лет назад, горит факел, его пламя колеблет ветер.

По винтовой лестнице Хольгер поднялся в просторный зал, голые стены которого украшены древними гербами и головами оленей. В углублении посреди зала неровно дышала открытая жаровня, выпуская вверх красноватые языки, и тусклые отсветы, метавшиеся по полу, выхватывали из полусумрака, казалось, не мертвые плиты — годы и десятилетия, сложенные здесь, как в консервной банке. Вокруг бушевали ураганы и войны, лилась вода и кровь — замок прятал в подвалах и башнях следы минувшего.

Хольгер отошел от группы туристов, прибывших вместе с ним из Швеции, и на несколько минут остался наедине с застывшим прошлым. Трудно представить людей, домом которых были эти стены, коридоры и ступени, сотканые из каменных жил, тяжелые и неподвижные, точно кадры немого фильма или старая незнакомая гравюра.

В южной башне он осмотрел оружие британского и скандинавского происхождения. Меч викингов, похожий на тяжелую железную палку, напомнил о целой эпохе, когда рослые светловолосые воины с выпуклыми глазами прошли на ладьях, словно на морских конях, пол-

мира — от Каспия до Америки, — оставив и здесь, в Шотландии, не только память о себе, но и часть себя.

В верхней камерке с одним-единственным окном заметнее был слой пыли и тот же едва уловимый запах старого камня. Комната была пуста, и Хольгер вопросительно взглянул на вошедшего с ним служителя.

— Покрывало фэй, сэр. Местная реликвия, — ответил тот на молчаливый вопрос.

Тут только Хольгер заметил в углу на маленьком столе сверток темно-зеленого цвета.

— Могу рассказать, если хотите, историю, связанную с этим покрывалом.

...Много веков назад вождь могущественного клана, владевшего замком, Малколм, взял в жены фею, которую он повстречал на берегу ручья Хантлиберн. В тот день было солнечно, пели птицы, звезды анемон и белые колокольчики тянулись вверх, и лиловый ковер вереска на горных склонах казался продолжением неба.

В прозрачном воздухе раздался легкий звон, и Малколм увидел всадницу на сером коне. По узкой тропинке она медленно приближалась к нему. Странно сиял зеленый шелк ее платья под бархатным плащом, а волосы светились всеми оттенками пламени. Эта встреча решила судьбу обоих.

Счастливо жили они в замке, пока однажды жена не призналась Малколму, что тоскует по своим. В день рождения сына Малколм сам проводил ее на берег ручья, туда, где большие потрескавшиеся от времени камни указывали дорогу в Страну Фэй.

Вечером в замке устроили пир — праздновали рождение сына, будущего вождя клана. И Малколм, стараясь превозмочь грусть, веселился вместе со всеми. А в башне спал новорожденный, и молоденькая няня, сидевшая у колыбели, со вздохом прислушивалась к звукам вольнок, доносившимся из зала. Ей так захотелось побыть там хоть минутку и попробовать угощение,

что она решилась: быстро пробежала по извилистым коридорам, залитым лунным светом, и осторожно вошла в большой зал.

Малколм заметил ее и попросил вынести ребенка, чтобы показать его гостям. Девушка поспешила в башню. И ей показалось вдруг, что там не все спокойно. У колыбели, пока она отсутствовала, действительно кое-что произошло.

Крик большой совы разбудил мальчика, он заплакал, и у матери-феи сжалось сердце (ничего удивительного в этом нет: феи способны услышать даже тихо сказанное слово, как бы далеко они ни находились). Фея поспешила к сыну, прикрыла его зеленым покрывалом и, когда тот заснул, исчезла.

Минутой позже няня увидела это тонкое, как весенняя трава, покрывало, вышитое особым узором — крапинками эльфов. Соткано покрывало так искусно, что ей недолго пришлось гадать, откуда оно появилось. Но девушка не особенно доверяла феям. Ведь многие знали: они могут подменить ребенка. На этот раз, однако, все обошлось благополучно: может быть, фея действительно любила Малколма или чуть-чуть жалела его...

С тех пор подарок феи хранится в замке Данвеган, — закончил служитель свой рассказ.

Хольгер подошел к столику и притронулся к покрывалу. На нем различались крапинки, соединявшиеся в непонятный рисунок.

— Она появляется здесь, — сказал служитель.

— Кто она? — не понял Хольгер.

— Фея. Однажды я долго искал дома трубку, а потом решил, что оставил ее в башне, и вернулся. Свет зажигается этажом ниже, но я забыл это сделать, а спускаться не хотелось. Светила луна. Ларец с покрывалом оставался в тени. Я пошарил рукой на столе, потом повесил покрывало у окна и поискал в ларце, а когда поднял голову, увидел у окна женщину.

— Я читал о феях, но встречаться с ними не приходилось, — сказал Хольгер серьезно.

— Думаю, они такие же люди, как и мы, только умеют гораздо больше. Я слышал, что настоящая фея совсем недавно жила где-то на севере, кажется, в Инвернесе. А с феей из нашего замка разве что не удалось еще поговорить.

Хольгеру было двадцать пять, и он готов был поверить.

— Может быть, и мне удастся взглянуть на нее? — спросил он.

— Что ж... Вправду сказать, мой рассказ никто не принимает всерьез. Да и кого удивит в наш век такое? Пожалуй, если в один из ближайших лунных вечеров вы захотите проверить, не забыл ли я закрыть дверь башни, это может обернуться для вас небольшим приключением.

Хольгер опустил руку в карман, но англичанин остановил его.

— Не надо, сэр. Вы поверили мне — этого достаточно.

МАРГАРЕТ, МЭГГИ, МЭГ

С вертолета Шотландское нагорье похоже на волнующееся море: гребни и вершины кажутся застывшим прибоем. А впадины между волнами — это бесчисленные узкие долины, глены, с гигантскими валунами, оставленными ледником, склонами, поросшими вереском, и голубыми стеклами озер. Даже обычные березы среди этого великолепия выглядят иначе, точно на полотнах старых мастеров. Хольгер летел с единственной целью — увидеть все это, и, когда вертолет опустился, он еще мог, прикрыв глаза, представить Шотландию такой, какой она была в этот солнечный день.

Двухчасовое воздушное путешествие закончилось в

городке, похожем на десятки других, и среди домов с аккуратными цветниками под окнами Хольгер в две минуты нашел знакомую вывеску. В бар он вошел вслед за девушкой, оставившей автомобиль на другой стороне улицы, и присел к ее столику.

В девушке ему нравилось все: и короткие каштановые волосы, и глаза, и улыбка, едва заметная, осторожная. Может быть, просто сегодня такой день, подумал он и тут же поймал себя на том, что рассматривает воротник ее платья — даже этот круглый воротничок был до странного красив и строг.

Встреча с ней казалась естественной, предрешенной, и если бы она не состоялась сегодня, завтра, послезавтра, Хольгер, может быть, не отдавая себе отчета, надеялся бы на такой же солнечный день, когда хочется вместе смотреть на луч, упавший через окно в синюю пустоту воздуха.

Ей нравилось, как он говорит по-английски — переделывая слова, глотая звуки, коверкая фразы. Хольгер сказал что-то по-шведски, и она непостижимым образом поняла смысл. Это развеселило обоих.

Но можно ли смеяться долго, не боясь, что веселье сменится грустью?

*Когда-то, друзья, я любил и мечтал
И летнее солнце улыбкой встречал,
Но ранняя осень неожиданно пришла
И с нею холодная мгла.*

— Дан Андерссон. — Хольгер сделал нарочито трагический жест. — Когда-то читал...

— Давно? — живо спросила девушка.

— Да, очень. Еще в школе.

— Еще в школе... — с шутливым разочарованием повторила она, — я думала, вы моложе. А стихи вам очень идут.

— Мы еще не успели познакомиться...

— Маргарет.

— Хольгер.

...Ее дом стоял у западной дороги недалеко от города. Когда они вышли из машины, он подумал, что вечер будет лунным, и вспомнил о замке Данвеган.

Калитка закрылась, шум, доносившийся с шоссе, пропал, смешавшись с тихим перезвоном жесткой высокой травы по краям дорожки, посыпанной круглыми зернами шлака. Чист и ясен был здесь воздух с запахом роши после дождя, и небо над головой казалось другим — прозрачнее, глубже.

Они прошли к дому. Одна из стен была наполовину закрыта оранжевыми, зелеными и голубоватыми листьями, уживавшимися на одних и тех же стеблях. У низкого крыльца стояла большая глиняная ваза с тонким зеленым рисунком по краю, сверху в нее падала струйка воды, падала и вытекала на землю в том месте, где от вазы был отбит кусок с рисунком.

Излом был таким свежим, что Хольгер невольно искал глазами осколок. Поднимаясь на крыльцо, он успел заглянуть в вазу, но не увидел дна. Почему-то стало ясно, что на дне осколка тоже нет.

Необъяснимо легко, от одного прикосновения ее пальцев распахнулась дверь — комната показалась продолжением сада. На розовой каменной стене неяркой краской были очень живо набросаны те же листья трех оттенков. В углу стояла такая же ваза, что и в саду. И точно так же не хватало кусочка керамики в верхней ее части, где по всему кругу шел поясик орнамента.

Хольгер подошел к вазе и протянул руку, ловя водяную струю, сбегавшую вниз и не оставившую следов.

— Зеркало, — улыбнулась девушка.

И он понял, что это точно было зеркало, отражение в котором почти не отличалось от реальной вазы: так легко возникала иллюзия объема. На ладони как будто

бы даже осели невидимые росинки — тоже, конечно, иллюзия.

— Это вы придумали? — спросил он.

— Что тут особенного? В доме должно быть хорошее зеркало, а куда его поместить — сразу видно. Настоящее зеркало должно оставаться невидимым, незаметным.

В комнате были и книжный шкаф, и стол, и телевизор, и легкие кресла, но эти привычные вещи сочетались тем не менее с едва уловимой новизной, необычностью.

Электрический свет не зажегся, не вспыхнул матовыми пятнами — просто засиял воздух вокруг, и оставалось непонятным, как возникло это сияние. Кресло передвинулось, повинаясь пальцам, а комната, казалось, меняла размеры, точно кто-то творил неслышимые заклинания. Изображение не уместилось в тесном квадрате телеэкрана — линии замыкались уже в пространстве, очерчивая как бы некоторый объем.

Книги... Их страницы пахли яблоками, как окна в сад. И рассказывали они о голубых лугах, где плескались волны травы, о жемчужных полях спелого овса, о грибах лесных, дождях, даримых летними грозами, — обо всем таинственном и неповторимо прекрасном. И каждая страница являлась отражением дня, ушедшего в прошлое, одного дня, который как будто забылся, растаял и снова всплыл в памяти — веткой весенней березы или горной сосны, вписавшейся под тонкий переплет с запахом яблок.

— Вы любите.. об этом? — голос ее был рядом, но Холгер понял вопрос скорее по движению губ.

— Да. У вас хорошие книги, где только вы раздобыли их?

— Эти книги о хорошем. Но есть и другие. Взгляните. — Она притронулась длинными пальцами к ядо-

вито-зеленой обложке. Книга раскрылась. Возникли правдивые желчные слова.

«Является ли туризм экологическим фактором того же порядка, что и землетрясение, пожар или наводнение? Нет, это явление регулярное, хроническое, а не случайное, как стихийные бедствия, и похоже больше на заболевание. На альпийских перевалах автостоянки теснят луга, на туристских маршрутах в Англии и ФРГ в прошлом году сбиты десятки тысяч зайцев и косуль...»

— Это не о нас, — сказал Хольгер. — У меня нет машины. У вас она есть, но вы не турист. И потом, эти зайцы и косули искупили собой жизнь многих людей, которых сбили бы те же автомобили, пролегай их маршруты в других местах — там, где нет косуль, но зато есть люди.

— Безразличие — вот настоящий убийца. Оно настагает везде и всех, без разбору. Как-то я нашла на дороге зайца с отдавленными лапами. Только через месяц он смог бегать.

— Он живет у вас?

— Нет. Ушел к себе в лес. Иногда заходит в гости по старой памяти. Вам нравится у нас?

— Да. Сегодня я видел Шотландию...

— С вертолета? — спросила она с легкой иронией и сухо добавила: — Сегодня тепло и солнечно, но и в такую погоду с вертолета многое можно не заметить.

Хольгер встретил ее строгий взгляд.

— Вам нужно побывать на Гэльских сборах, — посоветовала она. — Шотландия — земля гэлов, кельтов. Гэлы... Ведь это слово скоро останется только в книгах, в сказках. И вересковые пустоши исчезнут. Будут жить только земля и камни. Что было раньше, давным-давно, когда не было Принсес-стрит и Джордж-сквер, Эдинбургского замка и еще раньше?.. — она как будто

спрашивала о чем-то неясном или думала вслух, без надежды на ответ.

Хольгер вспомнил голубовато-серый ромб озера Лох-Ломонд, широкие волны земли с редкими рошицами, очередь у ночного клуба в Глазго, пляшущую, кричащую, извивающуюся — длинноволосые юнцы и симпатичные девочки с бутылками виски в сумочках. И еще хмурое утреннее небо над Клайдом, паучьи лапы кранов, суету миллионного города и сутулые спины свободных от работы. Это была Шотландия, и все-таки знал он ее так, как можно узнать по моментальному снимку, не более.

— Гэльские сборы... Это, кажется, фестивали, где поют старые песни и играют в гэльский футбол. Машина времени. Единственный способ увидеть частицу прошлого.

— Не единственный. Но оставим Шотландию. Расскажите, чем вы занимаетесь у себя на родине.

— Я электрик, инженер-электрик. — Было немного жалко, что ответ на ее вопрос звучал так прозаически.

— Это интересно? — спросила она серьезно.

— Не очень, — признался Хольгер, — но если бы пришлось снова выбирать, то лучше трудно было бы что-нибудь придумать.

— Я думаю, человек дважды открывает истину, — неожиданно сказала она, — сначала в искусстве, потом в науке, в технике. Можно многое уметь, не зная настоящих причин. Уметь интереснее, чем знать.

Она почему-то вздохнула.

— Вы правы, — сказал Хольгер. — Золотым коробочкам из Ирландского музея две тысячи лет, а следы сварки на них обнаружили недавно. Ирландские кельты были знакомы с холодной сваркой металлов, они умели это делать, объяснение же нашли инженеры двадцатого века.

Она не ответила, и Хольгер смутился. Янтарный

свет, мягко очертивший пространство комнаты, отражался в ее глазах, готовых к улыбке снисхождения, улыбке радости, улыбке любви. И понять это было совсем нетрудно, но они говорили о книгах, о Клифе Ричардсе, о кино — долго, так долго, что на небе успели смениться десять оттенков синевы, а на востоке и западе проросли звезды.

...Пролетала короткая ночь. Он поймал себя на том, что не знает названия городка. Вертолет подвернулся случайно, а ему было все равно, куда лететь.

— Инвернесс, — сказала она. — Ты прилетел в Инвернесс.

— Инвернесс, — повторил он, словно что-то припоминая.

Потом, уже про себя, он повторил ее имя: Маргарет, Мэгги, Мэг.

НЕТ НИЧЕГО ПРАВДИВЕЕ ЛЕГЕНД

Что-то совсем простое заставляло Хольгера вернуться в замок Данвеган, что-то имевшее причиной и мягко светящееся глубокое небо, неотделимое от волшебного запаха трав, и летние звезды, большие, как под увеличительным стеклом, и косматую, в облачных гребешках луну, которая то вырывалась на звездный простор, то блекла.

Лучшие дни всегда в прошлом, но в двадцать пять это незаметно. Особенно если пришло время отпуска, а теплый ветер, работавший семь дней, прогнал над Шотландским нагорьем дожди, по морю расстелил белую пену и соединил горы и воду с небом прямыми, как мост, лучами.

Когда гасли голубые колосья трав и спускалась на плечи ночь, дороги становились длиннее, задумчивее. Можно было бродить, бродить, пока не наступит час первой звезды и не вскрикнет утренняя птица-неви-

димка. Одна из ночных дорог привела Хольгера к замку.

Конечно, история с феей, рассказанная служителем, казалась совершенно неправдоподобной. Но были тогда в его лице и голосе какое-то спокойное равнодушие, усталость, лучше слов говорившие о размышлениях, о неверии и в то же время неспособности перечеркнуть, забыть увиденное, как сон или сказку. Если это и не так, разве не стоило удостовериться в силе чистого вымысла, может быть, самообмана?

...Старый замок притягивал тени, как гигантский магнит. Хольгер пробирался в южную башню. Слились, растворились ориентиры — ров, знакомые выступы стен. За кронами столетних деревьев луна была как высокая и слабая свечка. Хольгер потерял удобную дорогу, а идти напрямик становилось все труднее. Вдоль стены липкими, цепкими шеренгами вставали кусты шиповника, точно ежи, наколовшие листья на круглые спины.

Нужно было бы лететь, стелиться над землей и, добравшись до стены, перемахнуть через нее, а лучше бы сразу влететь в окно, как бабочка или как фея. Открыв дверь, Хольгер подумал, что легче совершить преступление, чем добраться до южной башни обычным способом. Служитель не обманул: с дверью действительно было все в порядке. На всякий случай Хольгер прикрыл ее за собой и перевел дыхание.

В этот момент мелькнула какая-то неуловимая мысль, сразу переключив его внимание, мозг, и он снова почувствовал упругость мышц, услышал собственные осторожные шаги, уловил ритм сердца.

Лестница вела круто вверх. Было похоже, что звуки глохли, как в лабиринте, рассеиваясь каскадом ступеней. На пороге комнаты он с минуту помедлил, точно собирался проникнуть в тайну, оставаясь невидимым. Потом вошел: комната была пуста. Здесь, на высоте

южной башни, луна всплыла над кронами огромной холодной рыбой, и стены комнаты засветились как днем. От окна к небу выткалась серебристая невесомая тропа.

Хольгер ждал. Но ничто не менялось, и время, лишенное связи с событиями, текло то быстро, то медленно. Хольгер подошел к столику и бережно прикоснулся к легкому свертку. Считается, что феи очень маленького роста, однако покрывало было почти нормальных человеческих размеров. По крайней мере, когда Хольгер расправил его и поднял за углы, ткань, мягко шурша, опустилась до пола.

И тут он уловил едва заметное движение. Мгновением позже он увидел за покрывалом женщину. Руки сами собой застыли в воздухе. Медленно подымая голову, он чувствовал, как от висков к ладоням бежала быстрая теплая волна. Простые, как цветы и трава, линии ее лица, шеи, рук делали ее похожей, наверное, на всех красивых женщин. Но в следующий момент явилось почти неуловимое отличие, может быть, в широко расставленных глазах или коротко стриженных волосах, светящихся каким-то собственным светом и все же оттеняющих лицо, явилось то, что заставило потом Хольгера еще и еще раз вспоминать эту встречу.

Легкая грусть была в ее взгляде, и всепонимание, и тень былого счастья, тень радости и забот. И может быть, каждый день жизни высветился в ее глазах своей особой, ни с чем не сравнимой искрой. Она была совсем девочкой и пыталась скрыть легкую грусть или разочарование— это Хольгер понял гораздо позднее, когда снова и снова пытался вызвать в памяти мимолетное волшебство.

Прошло, казалось, лишь несколько секунд. Хольгер держал покрывало за углы, застыв, забыв о нелепой своей позе. Опуская полупрозрачную ткань, он заметил, как фея быстро наклонилась, легко взмахнув ру-

ками. Всплеснула длинными пальцами и исчезла, растворилась в лунном свете.

Хольгер подошел к столу, спрятал струящийся шелк и, вздрогнув, обернулся, но в комнате было пусто. Лишь в зеркале на стене холодной рыбой забился месяц.

Часы отстукивали четвертый час ночи. Выходило: в замке он провел без малого три часа. Наверное, вот так же герои шотландских сказок — гости фей — не замечали хода времени.

...В отель он вернулся перед рассветом и проснулся так поздно, что можно было сразу идти обедать. Ушедшая ночь всплывала смутным сном. Пока он лениво одевался, отчетливо вспомнился небольшой кружок в углу покрывала — деталь, выпадавшая из общей композиции затейливого рисунка эльфов. Уловить какую-либо общую систему в причудливом узоре, возникавшем из крапинок и тонких черточек, было трудно. А кружок напоминал мишень для стрельбы — концентрические полоски занимали всю площадь: темное «яблочко», потом светлый участок, и опять почти черное колечко. По краю колечки были совсем узкие, и он так и не смог сосчитать их.

Хольгер почти уверился, что эти колечки ему знакомы, и теперь, умываясь, мучительно соображал, когда и где видел их раньше. Возникло наконец такое чувство, какое бывает, если ответ уже вертится в голове, точно знакомая фамилия, которая всплывает в памяти, если подскажут первую букву. Он даже перестал водить руками по шее, а просто положил голову так, чтобы на нее падала сильная холодная струя, и, когда все вокруг словно наполнилось легким свежим туманом, а кожу стало приятно покалывать, закрыл кран. Потом медленно протянул руку за полотенцем. В этот момент возник ответ.

Не так давно он листал книгу по голографии. По-

лосатый кружок был решеткой Френеля — голограммой одной-единственной точки. Стоит лишь осветить такую решетку — возникает точка, маленький кирпичик объемного изображения. Вот оно что такое, покрывало фей, думал Хольгер, и вдруг отчетливо вспомнилась женщина из замка в коротком плаще. Да, она была совсем живой, только на полу не было заметно ее тени.

Хольгер нарисовал ход лучей в придуманной схеме. Старое зеркало на стене отражало падавший в окно свет луны на голограмму-портрет. Крапинки эльфов — искусно вышитые линии, черточки, точки — как раз и были волновой копией оригинала. При освещении возникало объемное изображение. Феи умели вышивать голограммы, как скатерти или сорочки!

Ему всегда казалось, что легенды не могли быть просто выдумкой. Рыжеволосые кельты — самое изобретательное племя на планете — рассказали на этот раз и вправду о настоящих своих соседях, феях и эльфах, чем-то похожих на них самих.

Пожалуй, никто не ответит на вопрос, приходились ли эльфы кровными родственниками кельтам. Да и кто они были вообще?

Легенды наделяют их странным и неровным характером, способностью видеть и слышать так далеко, что эта способность кажется совершенно непостижимой. Чувствуется, что те, кто рассказывал о них, не могли понять их вполне. Неизбежные неточности и прибавления так исказили всю эту историю, что после записи устных рассказов получилось как бы кривое зеркало, в котором трудно увидеть подлинное лицо.

Хольгер попробовал представить, как это могло быть: тонкие пальцы, серебристые нити, мелькающие, как струны, над легким шелком, и почти неслышимая мелодия — и ему казалось: да, это так и было. Он угадал и значение точки, волновое изображение которой



поместилось в углу голограммы. Это была и в самом деле просто точка. Точка после подписи мастера, создавшего портрет.

Ему пришло в голову разыскать книжку о феях. Пусть это будут старые легенды. Среди них, наверное, найдется и та, что слышал он в замке. Кто знает, может быть, служитель пропустил или, наоборот, прибавил что-нибудь. Во всяком случае, легенда стоит того, чтобы ознакомиться с ней.

В маленьком магазинчике, где и покупателей-то было всего двое — он сам и седой остроносый старичок в пенсне, — нашлось среди прочих бумажных редкостей и растрепанное, двадцатилетней давности издание сказок о феях.

— Только одна книга из этой серии, — заметила круглолицая высокая девушка в очень коротком платье, напоминавшем сложенные крылья ангела. — Но многим нравится очень современная «Ночь кукол» и «Возвращение Франкенштейна», по мотивам старого фильма, с цветными иллюстрациями. Ну как?

Не дождавшись ответа, она резко повернулась и сделала выразительное движение плечами.

Хольгер листал содержание книги, но разыскать требуемое оказалось не таким простым делом: названия говорили слишком мало.

— Легенды! — вмешался старичок в пенсне. — Вы любите легенды?

— Я разыскиваю одну историю... О покрывале фей.

— Прекрасно! — Страницы в его руках замелькали с непостижимой быстротой. — Вот! — И он подвинул к Хольгеру раскрытую книгу: — «Знамя фей в Данвегане». Как раз то, что вам нужно.

Старичок собрал со стола газеты, которые до этого

сосредоточенно изучал, и дружелюбно заметил на прощанье:

— Нет ничего правдивее легенд, молодой человек.

...Содержание первой части легенды совпадало с тем, что рассказал служитель замка. Во второй части речь шла о том, какую важную роль играло покрывало фей в жизни клана Мак-Лаудов, к которому принадлежал Малколм.

Когда молоденькая няня, повинувшись приказу Малколма, понесла ребенка в зал, где происходило пиршество, послышалось пение фей. В песне содержалось предсказание: покрывало, оказавшееся знаменем фей, спасет клан в годы бедствий. Однако разворачивать его позволялось лишь в тяжелый час, отнюдь не по пустячному поводу. В противном случае на клан обрушатся несчастья: умрет наследник, будет потеряна скалистая гряда — владение замка, и в конце концов в семье вождя не хватит даже мужчин-гребцов, чтобы переплыть залив Лок-Данвеган.

Знамя фей бережно хранилось в чугунном ларце. И ни сам Малколм, ни его сын, ни ближайшие их потомки ни разу не прибегли к его помощи.

Только много десятилетий спустя знамя развернули в первый раз. Это случилось, когда Мак-Дональды выступили против Мак-Лаудов. В самой гуще сражения взметнулось вверх зеленое знамя, и Мак-Дональдам почудилось, будто к противнику подошло подкрепление. Они дрогнули и побежали.

Позже знамя спасло от чумы скот Мак-Лаудов. И все снова убедились в его могуществе.

Но вот сто с лишним лет назад некто Бьюкенен, поступивший на службу к одному из Мак-Лаудов, решил отучить людей от суеверия, взломал ларец, извлек знамя и помахал им в воздухе на глазах у собравшихся. И сбылись постепенно все предсказания фей: прямой наследник рода погиб при взрыве военного корабля «Шарлот-

та», скалы «Три девы» перешли во владение Кембелла из Иснея, а слава клана скоро померкла, и в семье вождя не набралось гребцов, чтобы переплыть морской залив.

Вот что рассказывала легенда о зеленом шелке с изображением феи, может быть, самой королевы фей, ставшей женой вождя клана. Не все поддавалось объяснению. Возможно, несколько иной, более понятный смысл был вложен в первоначальный, не дошедший до нас текст: те, кто «развернул знамя» без серьезных оснований, несомненно, могли быть только вздорными, неумными людьми и, безусловно, заслуживали лишь неприятностей. «И я развернул знамя», — неожиданно подумал Хольгер.

ИНТЕРЛЮДИЯ В ОТЕЛЕ

Хольгер вернулся в отель и зашел в ресторан пообедать. Здесь он увидел Эрика Эрнфаста, с которым вместе летел из Стокгольма. В зале почти никого не было, как всегда в это время. Туристы, остановившиеся в отеле, заходили сюда обычно часом-двумя раньше, большими шумными группами рассаживаясь за столы. Потом зал пустел.

Эрнфаст приветственно взмахнул рукой:

— Где ты пропадал? Садись-ка и расскажи!

Судя по всему, он чувствовал себя здесь как дома. Не дожидаясь ответа, Эрнфаст проглотил полстакана какой-то смеси и заказал еще.

Место и в самом деле было уютное. Большие окна выходили на тихую улицу с серыми, как земля, домами, подстриженными кустами и цветниками. Из пасти мраморного льва у входа в отель озорно торчала охапка веток. В старой витрине напротив красовалась реклама: «Курите папиросы «Кинг».

Хольгер втянулся в разговор. Он казался себе перво-

открывателем. Совсем даже неожиданно с легкой и неприятной для самого себя откровенностью Хольгер рассказал Эрнфасту о поездке в Инвернесс, о Мэгги (он так и называл ее в разговоре — Мэгги). Потом с наигранной шутливостью стал говорить о феях, о старом замке, понимая, что другой тон был сейчас неприемлем.

— Не понимаю, — возражал Эрнфаст, — не люблю сказок. Да и зачем тебе фея, если ты с такой девочкой познакомился?

— Здесь есть какая-то связь... какая-то загадка.

— Загадка — это плохо. Загадок не должно быть.

— Не должно, — машинально повторил Хольгер, наблюдая, как Эрнфаст наполняет стакан.

Ему вдруг ясно вспомнилось, как Маргарет набирала кувшином воду из вазы, но только не из той, что стояла на крыльце. Она не выходила из комнаты, лишь приблизилась к зеркалу, в котором отражалась ваза, протянула кувшин — и тот погрузился в воду! Разбежались круги, с кувшина упали прозрачные капли. Он не обратил внимания на это тогда же, потому что все произошло так естественно, даже незаметно, как будто зеркальное отражение и было настоящей вазой.

Теперь же, пытаясь разубедить себя, Хольгер вновь и вновь переносился в тот вечер, слыша ее легкие шаги до головокружения отчетливо. Но нет, кувшин снова опускался рядом с зеркалом, снова позванивала в ушах и разбивалась на капли падавшая с него струйка, снова Маргарет отводила со щеки каштановые волосы... Колдовство.

Странная, почти нелепая мысль все больше овладевала им. Наверное, сказалась ночь, проведенная в замке. Потому что разве иначе пришло бы в голову, что феи могут жить рядом, сейчас, вместе со всеми. Может быть, их совсем мало осталось, но они ведь всегда жили на этой земле.

Уже тысячу лет назад они умели и знали больше,

чем нужно было другим. Умение угадывать, совсем особый талант видеть истину, а не ползти к ней вслепую, нащупывая выступы легковесных парадоксов, должны были постепенно отгородить их от остального мира.

Давным-давно ничего не стоило уйти, раствориться в бесконечных просторах зеленевшей земли, но за несколько сот лет исчезли рощи и янтарные пляжи, тяжелые мосты опоясали помутневшие реки. А солнце продолжало светить так же щедро, и жизнь стала иной: тем, кто хотел оградить себя от липкого любопытства, от мелких, но нескончаемых посягательств на все сущее, теперь достаточно было походить на остальных, не выделяться ничем. Но как, наверное, трудно привыкнуть к этому...

— Не стоит грустить, — голос Эрнфаста прервал его размышления. — Что с тобой, в самом деле?

Хольгер молчал. Непонятное беспокойство, какая-то неизъяснимая тревога все отчетливее переходили в вопрос: «Зачем я сижу здесь? И зачем говорю о невозможном, неповторимом с этим пьяным болваном? Но почему нельзя этого делать? Да потому, что разве не протянутся жадные, досужие руки к тайне, к хрупкой неизвестности — не сейчас, может быть, не сразу, — чтобы разрушить, смять, растерзать, расколоть ее, хотя бы из любопытства, из желания опередить других?»

— Выпьем, — потребовал Эрнфаст. — Не зря же мы прилетели в Шотландию.

— Нет. Хватит.

— Не хочешь выпить со мной... из-за какой-то шотландки, — тонкие губы Эрнфаста оформились в саркастическую полуулыбку. — Впрочем, теперь, кажется, считается хорошим тоном игнорировать правила хорошего тона.

— Баста. — Хольгер встал.

— А я говорю, выпьем! — Эрнфаст вдруг загремел на весь зал, раскинув на столе руки-щупальца.

— Ты с ума сошел, — тихо, но внятно сказал Хольгер, — пошли отсюда.

— Нет, останемся. Пока мы не уйдем отсюда, мы останемся здесь, понятно?

Эрнфаст поймал его за руку и покачнулся вместе со стулом. Освободив локоть, Хольгер быстро пошел к выходу, точно ему представилось вдруг, что нужно немедленно, сейчас же догнать нечто ускользавшее от него.

СОЛНЕЧНАЯ ДОРОГА

Посадка на вертолет уже закончилась, но он размахивал руками и, задыхаясь, на ходу кричал, чтобы его тоже взяли. Кто-то подал руку, помог подняться. Он сел в кресло и молча наблюдал, как поблескивали солнечные монетки окон в домах фермеров и густел воздух в долинах. Но далекая земля, пробегавшая внизу, была для него лишь призрачным пятном света. Потом возник в сознании неровный ромб озера, наполовину закрытый тенью и вытянувшийся в сторону Инвернесса. В ту же сторону безответными попутчиками неслись облачка дыма.

Когда после медленного падения вертолет повис в воздухе большой багряной стрекозой, Хольгер жадно припал к стеклу, стараясь угадать верную дорогу к ее дому. Там, куда он смотрел, стояло над горизонтом продолговатое облако, и по нему опускалось вниз солнце. «Вот она, западная дорога», — подумал он.

Едва вертолет коснулся асфальта площадки, вернулось чувство земли. Тени стали большими и неуклюжими. Он спускался по ступенькам, и встречный воздух расправлял легкие.

Хольгер зашагал быстро, не оглядываясь, так, как будто сотни раз ходил здесь раньше. Прикрыв глаза, можно было видеть солнце — ориентир, чуть подернутое сухим облачным пеплом. Длинное облако-айсберг

подвинулось в сторону, с него все реже и реже слетали багровые лучи.

Далеко впереди показалась знакомая ограда, и он зашпешил к ней, расправляя ладонью волосы. Снова увидеть Маргарет — сейчас, через несколько минут... Но что он такое сочинил сегодня? С легкой усмешкой вспомнил он вдруг выдуманную им самим историю. Да, она необычная девушка. Но не более того.

Спору нет, если бы феи жили в наши дни — вышивание голограмм было бы для них старинной бабушкиной забавой, конечно, они научились бы многому. Сотни лет... И за более короткое время все вокруг меняется до неузнаваемости.

Но кувшин, наполненный водой как бы от одного лишь соприкосновения с зеркалом, следовало объяснить иначе. Просто фокус, или не все успел заметить (что, впрочем, близко по смыслу). Кто знает, может быть, когда-нибудь физики и в самом деле откроют способ передавать со световым лучом воду, воздух, сначала отдельные атомы, ну а позже — до краев наполнять колбы или стаканы с помощью демонстрационного зеркала, установленного где-нибудь в аудитории перед безразличными к научным чудесам студентами? Но это когда-нибудь, да и то в лучшем случае.

В общем-то логично даже допустить, что феи совсем не исчезли. Но речь ведь шла о Маргарет. Можно ли поверить? Выходит, ей ничего не стоило, например, услышать, как он болтал с Эрнфастом? При воспоминании об Эрнфасте Хольгеру стало стыдно. Разумеется, выдуманное — вздор, непонятно даже, как такое в голову может прийти. Но рассказывать о Маргарет... Ничто не давало ему такого права, похожего на право предавать. Боясь верить себе, вспоминал Хольгер подробности разговора в отеле. Да этот Эрнфаст мог заявиться в Инвернесс с ватагой таких же, как он сам, молодчиков в любой подходящий день...

Вот о чем думал Хольгер, направляясь по залитой закатным светом дороге к знакомому дому.

Трудно было оценить все последствия совершенного, потому и другая мысль, успокаивающая, даже радужная, мажорным аккордом прозвучала в нем. Мысль эта была продолжением невероятного, невозможного, это была мысль-мечта, вызывающая то легкую улыбку, то прилив тепла к вискам и ладоням, она манила поверить во всемогущество желания, когда легкое, но точное прикосновение действует, как невидимый ураган, а взгляд мгновенно проникает в суть, в душу вещей. Разве в нем не может воскреснуть крупца тайны, бывшей когда-то достоянием многих?

Чем ближе он подходил, тем яснее становилось, что там, впереди, в том месте, с которого он глаз не спускал, произошли изменения. Погас самый низкий солнечный луч, точно струна зацепилась за верхушку дерева и лопнула. И тотчас как будто холодок спустился с неба, и возникло тревожное чувство — предвестник беды. Как бы пристально ни всматривался он, взгляд не мог найти ничего знакомого, ничего похожего на ее дом.

Холодной желтой лентой тянулась дорога навстречу закату. Калитка была приоткрыта, дорожка вела к ветхому крыльцу. Два-три запыленных куста торчали из-под ржавых металлических обрезков. Рядом валялись смятые канистры и полуразбитые деревянные ящики. Из-за этих ящиков вышел большой тощий пес и лениво зевнул, показывая влажные клыки.

Хольгер обошел дом дважды, пытаясь разобраться в случившемся... «Я перепутал дорогу... Или она действительно все слышала?» Было тихо, и никто не окликнул его.

Откуда-то выскочил заяц. Казалось, он увидел что-то смертельно опасное, но у него не было сил немедлен-

но умчаться прочь. Хольгер подошел к нему совсем близко, и тогда заяц, заметно прихрамывая, пустился наутек. Хольгер смотрел вслед, пока тот не скрылся из виду. «Ему нужно было прискакать сюда немного раньше... или позже», — подумал он.

Вечерний свет зажег пыльные кусты и черные пустые окна неровными языками закатных огней. Хольгер нагнулся: под ногами лежал какой-то предмет, привлекавший его внимание. Это был глиняный черепок, и Хольгер узнал его. На потемневшей керамике еще сохранился зеленый орнамент. Черепок крошился в руках. Казалось, его откололи от вазы очень давно. Может быть, так лишь казалось.

Хольгер собрал с земли крошки и медленно пошел назад. Только раз, взобравшись на холм, он обернулся, словно еще на что-то надеясь. Но все оставалось на своих местах.

БАРЬЕР

АДАЖИО ВМЕСТО СКЕРЦО

Когда прибрежные камешки зазвенели под ногами, Вольд остановился и прикрыл глаза ладонью: противоположный берег скрылся где-то между средним и безымянным пальцами, блестящие темные пятна запрыгали на воде. Полная иллюзия безбрежности. Кое-где песок размыло, и обнаженная пластмасса торчала белыми заплатами. Вольд бросил несколько камней подальше от берега — спугнуть сонных рыбешек, совсем потерявших счет времени. Глухо булькнуло, пузыри с клеком вырвались вверх, камни стукнули в дно. Круги от них разошлись и сомкнулись, ударив в берег и встретившись в центре.

При некоторой доле фантазии этот тридцатиметровый аквариум все же можно было считать озером. Но об удочке и думать не приходилось. Вольд достал из кармана маленькую сетку и, накрошив хлеба, бросил ее в воду, снова заколебавшуюся. Как только пойманным рыбкам стало тесно в банке, он выпустил их у самого берега, и они долго копошились там, лениво шевеля хвостами. Вольд прикинул, что с того самого дня, как он здесь, каждая рыбка была поймана его сеткой в среднем не меньше трех раз (если считать, что всего их здесь около тысячи). Отсюда следовало, что в один прекрасный день такая охота потеряет остатки спортивного интереса для обеих участвующих в ней сторон.

Вольду неожиданно захотелось разбудить профессора или Копнина, тихо войти в комнату и сорвать одеяло, плеснуть холодной водой, а когда Копнин спросонья начнет ругаться и натягивать на себя одеяло, прокричать какую-нибудь чепуху, например, что он проспал сто миллионов релятивистских суток и пора выходить, потому что они уже вернулись на Землю.

Потолок постепенно стал голубым и засветился, как небо, розовые облачка бросили вниз тени. Из-под веток выпорхнули пестрые бабочки. Загудели пчелы, тишина растворилась в шорохе редкой травы, в мягких аккордах утренней музыки. Нужно было уходить. Скоро все встанут — и Копнин, и профессор... и Анна.

Вольд дернул бечевку. Но нет, зацепилось. Он шагнул за сеткой — по щиколотку в прохладную воду, по колено, и остановился на шершавом песке, словно задумавшись, и рыбки скользко били по ногам.

Он как раз, присев на камень, бросал их в воду одну за одной, когда почувствовал прикосновение к плечу. Глянул вверх — Анна. Конечно, она все видела... и костюм — вот не везет! — весь в мокрой рыбьей чешуе. На берегу билось еще несколько рыбешек. Вольд поспешно смахнул их в воду и выпрямился, повернувшись к Анне.

— Знаете, Анна, лет десять назад я так же ловил уклейек в парке. Мы с товарищем убежали тогда с уроков. Я держался за ветку и соскользнул в воду. Мы долго бродили по парку, чтобы просохла одежда — не появишься же дома в таком виде.

— Конечно, — сказала Анна серьезно. — Но здесь-то уж вас никто не отругает за то, что вы испортили костюм. За десять лет все изменилось к лучшему.

Вольд понял, что Анне очень хочется рассмеяться — такое у нее было совсем серьезное лицо — и что она этого ни за что не сделает.

— Вы всегда просыпаетесь раньше всех, Вольд?

— Н-нет, но сегодня я действительно рано встал. А вы поднимаетесь в одно и то же время? Всегда? А я не могу. Почему? Как бы объяснить... Может быть, я слишком быстро привык ко всему. Звезды в иллюминаторе кажутся просто пятнышками белил на черной бумаге. Они как будто застыли на месте. И корабль тоже. Трудно представить, что мы несемся с такой скоростью...

Все так обычно, слишком обычно. Облака, ветер, трава, озеро. Совсем как дома. И все так неизменно, понимаете? Хочется иногда почувствовать себя выбитым из привычной колеи. Помните, на днях мы приблизились к границе разрешенных скоростей, и нас чуть трясло и качало? По крайней мере, было ясно, что мы на настоящем корабле и вокруг пространство, а не детские раскрашенные кубики. А потом опять мертвая тишина. Я слышу ее, когда вечером читаю в своей комнате... Вам не кажется, что конструкторы зашли слишком далеко? Сделать корабль непохожим на корабль? Я понимаю — привычная обстановка, психология... Но порой хочется слышать рев двигателей, пульс автоматов или видеть струю энергии, выдыхаемую рефлекторами в пустоту. Этого-то не учли. Все изолировано, скомпенсировано, шумы складываются в противофазах, излучения фильтруются и тоже гасятся. Ни единого рабочего звука. Ни намек. Нас учили работать в реальной обстановке. Так где же она? Сплошная фикция. Не корабль, а бабушкин палисадник. Тоска. Разве я не прав?

— Не знаю. Не забывайте: впереди еще длинный путь. Даже в музыке после адажио может последовать аллегро или скерцо.

— Да, так. Не хватает скерцо. Знаете, Анна, я хотел сказать... то есть спросить...

— Пойдемте. Посмотрите, какая сегодня чудная погода. Вам нужно переодеться. У вас и ботинки совсем мокрые. Милый Вольд, вы ведь так можете простудиться. Вы хотели спросить, как всегда, буду ли я вечером на семинаре профессора Гамова? Я не ошиблась?

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОФЕССОРА ГАМОВА

Профессор Гамов четкой, нестарческой походкой прошел вперед и окинул комнату взглядом — только стекла очков блеснули. Разговор смолк. Вольд то и дело погля-

дывал на дверь: Анна задерживалась. Кто-то сел рядом на стул, он хотел было вежливо сказать, что место занято, повернул голову — да это же Анна! «Как это я просмотрел вас?» Анна прижала палец к губам: «Ох, попросит нас сейчас профессор говорить вместо него».

Гамов отвечал сейчас на чей-то вопрос.

— Представьте, — говорил он, — что мы тщательно изготовили копию... гм, ну, скажем, будильника, копию в одну десятую натуральной величины. Будет ли она работать? В принципе да. Значит, весь вопрос в масштабе. Вот тут-то и дает себя знать релятивистский парадокс. В самом деле, если масштаб уменьшения не сказывался бы качественно, нужно ли было бы ограничивать скорость космических кораблей? В принципе нет. Возросла скорость — тотчас же в полном согласии с теорией относительности уменьшились размеры. Близка скорость к световой — размеры корабля со всем его содержимым и экипажем становятся на время микроскопическими. Убавили скорость — все пришло в норму. Очень просто. Но только, оказывается, до некоторых пределов. Строго доказано, что за барьером разрешенных скоростей должен произойти качественный скачок. Можно ли после этого снова вернуться, так сказать, в исходное состояние? Восстановятся ли нормальные размеры, пропорции, если скорость снизить? На это не так-то просто ответить. Совсем не так просто... Мы переходим, таким образом, в новое устойчивое состояние. В микросостояние. Случись такое с космическим кораблем, его не удалось бы рассмотреть и в самый сильный микроскоп.

Меня иногда спрашивают, что это за состояние и как это мы вместе с атомами, нас составляющими, и электронами, бегающими по их орбитам, можем стать частью, скажем, того же электрона? Ведь именно так и обстоит дело. В микросистеме электрон становится для нас как

бы новой галактикой — так велик масштаб преобразования. Нет ли тут противоречия, спрашивают меня. Разумеется, нет. Игрушечный автомобиль отличается от настоящего не только размерами. Так и в нашем случае. Атомы в том смысле, как мы их обычно понимаем, перестают существовать. Все, что нас окружает, да и мы сами сразу лишаемся, так сказать, строительных деталей в старом понимании — их место займут гораздо более мелкие кирпичики. Они во столько же раз мельче прежних «строительных блоков», во сколько электрон меньше галактики. Привычные понятия исчезнут или преобразятся. Но формы сохранятся. Внешние формы не изменятся. Все остается как будто на своих местах: по трубам продолжает течь вода, гвозди по-прежнему крепко держат доски, стекло разбивается от удара камнем. Только вот трубы уже сделаны не из атомов, в воде мы не найдем привычных молекул, гвозди лишь по форме гвозди, в стекло попадает не камень, а мизерная копия с него, к тому же неизвестно из чего изготовленная. Вещи словно отразятся в волшебном зеркале гномов. Если бы нам, людям, удалось посмотреть в это зеркало, мы увидели бы в нем себя — крошечных лилипутов, пытающихся решить задачу о пылинках и галактиках. Изменяться, понятно, и законы, иначе все рассыплется в прах. Знаки в некоторых физических уравнениях поменяются на обратные. Где был минус, появится плюс. Например, в законе Кулона. Возможно, что одноименные заряды будут не отталкиваться, а, наоборот, притягиваться. Другой пример: центробежная сила... Может показаться, что в некоторых случаях причина и следствие как бы поменяются местами, но это очень сложный вопрос. Некоторые самые простые эксперименты будут выглядеть очень странно. Листочки электроскопа притянутся. Кусочки фольги, наэлектризованные одной расческой, прилипнут друг к другу. Все как будто останется на местах, уменьшенное в бил-

лионы раз, а действия и противодействия поменяют знаки.

...Гамов рассеянно смолк. В заднем ряду кто-то от нечего делать попытался освежить в памяти курс школьной физики. В тишине раздался удивленный возглас. Вольд приподнялся. Справа от него на маленьком столике блестело «золотце» от конфет.

— В чем дело? — спросил Гамов.

Кто-то показал ему расческу.

— Что, что? — переспросил он, не поняв.

— Не выходит опыт с расческой.

— Не может быть. Это делается так... заряжаются две маленькие... минутку... две маленькие полоски папирсной фольги. Вот они, видите. Я прикоснулся расческой к каждой бумажке. У них теперь одинаковый заряд, и, как видите, они отталкиваются друг от... гм...

Профессор мельком взглянул на узенькие полоски фольги и побледнел. Они плотно прижались друг к другу.

ЖЕЛТЫЕ ЗВЕЗДЫ

Вольд захлопнул за собой дверь. Темнота встретила его тихим шепотом, бульканьем, словно пузырьки лопались в тесте — это по уцелевшим каналам управления кораблем, в химотронах, в усилителях бежали сигналы.

В иллюминаторе горели звезды — тусклые желтые пятна, совсем как маленькие фонари. Серебристые блики дрожали на полу, в углах черные тени прятали паутину трубок-каналов.

Вольд включил сигнализаторы. «Все в порядке, все в порядке, — тихо пропели они. — Полет идет нормально, скорость 0,8 с». Подумать только, эти искусственные живые ниточки, эти полимерные цепочки, по которым сновали электроны, управляя кораблем, никогда не смо-

гут понять, что для людей-то все изменилось, что желтые звезды за окном уместятся в одном-единственном атоме какой-нибудь детской игрушки. Для них по-прежнему все в порядке.

Собственно, электроны — это уже не электроны, а что-то другое... Что там профессор говорил о биотоках?.. Ах да, биотоки не причина, а скорее следствие процессов в организме. И тем не менее... Логика... Должна измениться сама человеческая логика. Странно. Вряд ли.

Теперь Вольд на две минуты должен заменить отключенный аппарат курса, этот слепой искусственный мозг.

Такая малость — две минуты. Но за сто двадцать секунд он успеет отдать все, что он знает, все, что записано, как на ленте, в маленьких клетках его мозга.

Вольд сосредоточился. Ему казалось, что он спокоен.

Пора... Только сохранить сознание, пусть две минуты начнутся в этот миг.

Тысячи гибких струящихся ниток прильнули к его голове, ко лбу, к темени, они склонились над ним, лежащим на полу, словно хоботки бабочек. Они извивались. Они брали у него все — сознание, мозг, душу, знания — клетку за клеткой, нейрон за нейроном.

На миг в памяти всплыли знакомые лица. Анна. Гамов. Они будто что-то говорят, но он знает — сейчас их слушать нельзя. И они вдруг исчезли, затерялись среди желтых пятен звезд. И звезды уже не звезды, а снежинки в пургу. Сквозь снег бегут навстречу огни. Вот они, рядом, только шагни — и достанешь рукой.

...Вольд уже не слышал, как через час по центральному коридору застучали две пары ног. Они загремели и остановились перед дверью. Никто не открыл ее, и стало тихо, как в погребке. Но если бы профессор и Копнин вошли внутрь, они ничего не смогли бы изменить.

И Вольд не услышал бы и не узнал их. Профессор и Копнин вышли из своей комнаты примерно полутора часами раньше. Так как Вольда не было дома, они пошли по коридору к отсеку управления, и Гамов по пути развивал гипотезу, с которой он еще раньше успел познакомиться Вольда.

По его словам, теперь у корабля была скорость меньшая, чем в момент скачка в микропространство. Для возвращения нужно было использовать законы микрогалактики. Неумолимый кодекс физики привел их сюда, и если бы этот кодекс не изменился, то стоило увеличить скорость выше порога, как они оказались бы в третьей системе пространства, еще более микроскопической, потом в четвертой, и так до бесконечности. Но теперь, после перехода в микросистему, изменился знак в уравнении движения. Уравнение получало совсем другой смысл: при увеличении скорости корабля выше порога физические законы микромира обеспечивали переход в старую систему координат. Иными словами: чтобы возвратиться в свою Галактику, достаточно было увеличить скорость.

— Но прежде чем это произойдет, — говорил профессор, легонько взяв Копнина под руку, — прежде чем мы вернемся туда, откуда мы прибыли, пройдет порядочно времени. Почему? Видите ли, строго говоря, мы должны вернуться в наш мир — если нам удастся это сделать — в тот самый момент, когда мы исчезли, когда корабль оказался в микрогалактике. Но для этого, как ни странно, время должно изменить свой ход на обратный, иначе ведь мы не вернемся в тот самый момент. Что-то вроде киноленты, пущенной не с того конца. Но этот странный фильм будет хорошим предзнаменованием, он будет означать, что мы возвращаемся. Вам хочется вернуться?

— Не вижу разницы, все осталось прежним.

— Не шутите. Не шутите так... мы сами изменились,

поэтому трудно заметить разницу. Самое интересное то, что в нашей памяти не останется ни малейшего следа от этого приключения, если только оно когда-нибудь кончится. Никто не сохранит о нем даже малейших воспоминаний — ведь время пойдет назад, строго говоря, не время, а процессы. Мы забудем об этом. В памяти сотрется все, как на магнитной ленте... У меня сейчас такое чувство, как будто я очень устал, как будто на меня свалилась гора времени. Вы ничего не чувствуете?

— Да, что-то случилось, у меня... едва разжимаются губы. Вот дверь, мне почему-то кажется, что Вольд там. Но я не могу... поднять... руку.

Когда Копнин произнес эту фразу перед закрытой дверью, Вольд как раз начал осуществлять план, вытекавший из гипотезы Гамова. В этот момент он включился в систему управления.

ЭПИЛОГ

Анна — вот она, перед ним. Ее глаза улыбаются — не губы, не лицо, а глаза. Вольд прячет мокрую сетку в карман. Маленькие утренние волны бегут по озеру. «Странное чувство, — думает Вольд, — как будто это со мной уже когда-то случалось. Давно, давно». Вольд даже приложил руку ко лбу — что-то совсем знакомое есть в выражении лица Анны. Такое знакомое, что он, кажется, может прочесть на этом лице все, что Анна сейчас скажет ему...

Но он так и не вспомнит ничего. Стерлись в его памяти желтые звезды. Расскажи ему сейчас кто-нибудь всю правду — Вольд не поверит. Как на киноленте, пущенной с конца, кадр за кадром прошло все в обратном порядке, начиная с того момента, когда Копнин с профессором остановились у закрытой двери. И кадр за кадром, повинувшись законам физики, стерлись все вос-

поминания о стране желтых звезд. Это была плата за возвращение.

Они вернулись в свой мир, в наш мир, в то самое утро, из которого они исчезли, растворились внутри какого-нибудь затерявшегося в галактике электрона. Возможность перехода в микрогалактику вследствие резкого скачка скорости из-за местного искривления пространства снова стала для них вероятностным математическим символом, не больше.

Время вернулось в свое начало. Анна спросила:

— Вы всегда раньше всех встаете, Вольд?

— Н-нет, но сегодня я действительно рано встал. Иногда хочется выбиться из привычной колеи... Подумать только: сделать корабль непохожим на корабль... И почему это с нами ничего не случается? Копнин сказал как-то, что в космосе от скуки можно умереть, на Земле гораздо интересней.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СУХАРЕВА

ПРОЛОГ

Со стороны могло бы показаться, что человек спокойно спал, полулежа в кресле. Но если бы остаться с ним подольше, то через минуту-другую можно было услышать тревожный сигнал. Человек мгновенно тянулся к экрану и с видимым усилием всматривался в мелькающие точки, в созвездия лампочек и светящихся цифр. Усталые глаза лучше слов поведали бы, как обманчиво первое впечатление.

Он откидывался в кресло, и едва успевала дремота коснуться его, как снова раздавался сигнал: корабль проходил сквозь метеорное облако, парившее в космосе, точно саранча, несомая ветром пустыни.

Трое или четверо суток — он уже не помнил, сколько именно, — он почти не смыкал глаз, потому что поминутно звучала тревога. Возможно, шли уже пятые сутки с тех пор, как вышел из строя автоштурман. Быть может, даже шестые... Оставалось только одно: дотянуть до конца метеорного скопления. Но ритм однообразных предупреждений об опасности убаюкивал: может, сначала все-таки выспаться?..

Даже приблизительно не смог бы он сказать, сколько времени прошло еще, когда электрический импульс разбудил его в последний раз. Не открывая глаз, он поднял руку, и подумал: «Спать... наконец-то». Ему казалось, что опасность миновала. Во всяком случае, метеоры были меньшим злом. Рука его как бы сама собой оборвала шнур сигнализации.

В его сонные грезы лишь на мгновение вошел корабль — беззащитная скорлупка в океане времени и пространства — и стремительная точка метеора, пересекающая его путь в своем смертельном полете.

МАЖОРНЫЙ АККОРД

Странное чувство не покидало Сухарева: ватные облака и зеленые квадраты полей, речки и белоснежные постройки ракетодома — они неожиданно вынырнули из-под облаков, — все это он видел как будто нарисованным на холсте рукой мастера, вдохнувшего в них жизнь. Он не верил, что полет кончится сейчас, в эту самую минуту.

Толчок амортизатора — и он почувствовал, как к горлу подступила легкая тошнота.

К трапу подъехал автомобиль. Вольд увидел женщину.

Волны ее волос струились на ветру. Светлый плащ, стройные ноги, она улыбалась... Анна... Голубой воздух был полон звуков: слышны были далекие сигналы транспорта, людские голоса, щебет птиц, в стороне что-то металлически жужжало и гудело — за десять лет он отвык от этого. Она побежала ему навстречу. Он так и стоял, покачиваясь немного, на верхней ступеньке трапа: ветерок и запах травы, как хмель, ударили в голову.

Ее каблучки быстро-быстро стучали по трапу. «Милый Вольд...» — она с трудом выговорила два слова. Тут только он заметил, что ее глаза полны слез. Он хотел что-то сказать... Его губы раскрылись, и он, как ребенок, уткнулся в ее плащ чуть ниже шеи.

СТРАННАЯ ГИПОТЕЗА ПРОФЕССОРА ГАМОВА

Профессор Гамов сухо поздоровался, пригласил Вольда в кабинет и без лишних слов приступил к делу.

— Важны подробности. Собственно, рабочая гипотеза у нас уже есть, какой бы необычной она вам ни показалась. Но мелочи всегда убедительны, особенно в этом случае. Вы говорите, что в момент пробуждения

вы бросились к экрану. Экран был пуст: ни следа облака? Что ж, возможно, это вполне реально... Но неужели вам ничего не показалось заслуживающим внимания, кроме этой пластинки? Ну? — Гамов выжидательно смотрел на собеседника.

— Нет, ничего. Разумеется, ничего больше, ведь я сказал бы вам об этом раньше. Кроме ощущения небольшой слабости и головокружения, о которых я уже рассказал. Нет, все шло как обычно. Я проснулся, подошел к экранам и продолжал полет. Потом я нашел в кармане вот это, — и Вольд дотронулся до пластинки, лежавшей на столе, — она меня так заинтересовала, что я сообщил о ней...

— Ну хорошо, — Гамов наклонился над столом, спрятал пластинку и внимательно посмотрел на Вольда из-под очков, — хорошо. Теперь слушайте внимательно, вы должны это знать. Ракета была пробита несколькими метеорами. — Гамов помолчал, невольно усиливая эффект последней фразы. Его глаза внимательно изучали собеседника, а рука потянулась к портсигару. — Ракета была изрешечена, а вернулась целехонькой. Как вы объясните этот парадокс? Вы сейчас поверите в то, что я говорю, Вольд. Мы нашли следы ремонта. Это было очень трудно, невероятно трудно... над ней поработали ювелиры — девять пробоин, подумать только... Нет, нет, слушайте спокойно, я расскажу все по порядку. Вы все равно должны знать... Конечно, восемь пробоин были результатом первой. Первый же метеор вывел из строя кое-какие приборы, а потом началось... Удар за ударом. Представляю себе, как это выглядело... Но вы, Вольд, к этому времени уже были мертвы. — Гамов предупредительно подвинул к собеседнику портсигар, взглядом предостерегая его от ненужных вопросов.

— Вас уже не было, — повторил он задумчиво, — конечно, я допускаю, что это только моя гипотеза, но



иначе, пожалуй, и быть не могло. А потом, когда пилот проснулся и ракета пошла по прежнему курсу, то это были уже не тот пилот и не та ракета. Ракета отремонтирована, как я уже вам говорил, а пилот... пилот был подменен абсолютно точной копией с него. Вы не Вольд, и труднее всего поверить в это вам самому. И в то же время вы Вольд, в это трудно поверить нам...

Договорив, Гамов потянулся к сигарете, в его взгляде Вольду почудилось новое выражение, которого раньше он не замечал. Все то, что говорил ему профессор, он пока считал каким-то недоразумением, хотя и был далек от мысли, что кто-то из них двоих сошел с ума.

— Вот копии протоколов обследования ракеты после ее возвращения. — Гамов, скрипнув ящиком старомодного стола, подвинул несколько машинописных страниц. — Не спешите, посмотрите внимательно, особенно выводы. Я не буду вам мешать.

Профессор отошел к книжному шкафу. Вольд листал протоколы. Химический анализ, структурный анализ — все в норме. Усталость металла... диаграммы... корпус ракеты, и на нем пятна... Вольд насчитал девять пятен — зон абсолютно того же состава, но с небольшими отклонениями в физических показателях... Да, это пломбы — с ума можно сойти — и опять пятна на диаграммах — следы ремонта.

— Послушайте, — тихо окликнул Вольд профессора, делавшего вид, что он разыскивает в шкафу какую-то книгу, — вам удалось узнать, что же это за штуку я нашел тогда в кармане? С пластинки ведь все и началось, как я понимаю?

— Нет. Понятия не имеем. Назначение пластинки трудно угадать. Она осталась у вас случайно — ее не могли подкинуть преднамеренно. Это шло бы вразрез с остальным... с их планами. Девять пробоев и пилот... Они сделали все, чтобы скрыть происшедшее. И им это

почти удалось. Пластинка забыта ими. Но для нас этого оказалось достаточно.

Мы отлично знаем, Вольд, наши возможности. Мы знаем, на что способны наши руки и наш мозг, мы построили стройное здание науки, мы создали совершенные машины и автоматы. Но никогда, Вольд, до вас ни одна человеческая рука не могла держать подобной вещицы. Почему? Видите ли, удалось исследовать очень маленький наружный участок пластинки, микроскопический пятючок размером микрон на микрон. Его атомы уложены как кирпичи. Самые разные атомы. Я не могу привести никакой удачной аналогии, Вольд. Затейливое архитектурное сооружение из элементов, соединенных по законам какого-то сложного кода. Причудливая мозаика из молекул и атомов. Простите, я увлекся, следовало бы пока помолчать, все равно это пока невозможно передать словами. Мы напали на след, Вольд, и вы должны помочь нам, раз уж вам так повезло.

— Невероятно, профессор... Должны же быть у вас доказательства... факты...

— Нет других фактов. Ничего, кроме того, о чем я рассказал, — ответил профессор, помедлив. Он замолчал и долго мямл потухшую сигарету.

— Что это было за облако, Вольд? — вдруг резко спросил он без всякого перехода. — То есть я хочу спросить, что это были за метеоры? Конфигурация, вес — хотя бы очень приблизительно? Можете сказать?

— Нет. Но разве это так уж важно?

— Как знать, как знать... — тихо пробормотал Гамов. — Мы просто не можем поставить себя на их место, а они... Впрочем, не будем фантазировать.

Его большие глаза спрятались под очками, за бликами света на их выпуклых стеклах.

...Темнота создавала иллюзию одиночества. Вечер был так тих и яркие звезды мерцали так спокойно, что

если бы Вольд прислушался, то ничего не услышал бы, кроме звука собственных шагов.

Он мысленно продолжал разговор. Совершенно неожиданно к нему пришло убеждение, что в рассуждениях профессора есть слабое звено. Но какое? Неприятный металлический голос профессора снова и снова спорил с ним, убеждал, успокаивал... Да, он прав. Факты. Логика. Неопровержимые заключения. Значит, все так и было? Слабого звена не находилось.

«Я же отлично помню, как это было, — попробовал он в который уж раз мысленно спорить с профессором, — я уснул и потом проснулся. Все было в порядке. Я отлично себя чувствовал. Я помню все, потому что я — Вольд Сухарев и никто другой. Ведь это я в школе убежал с урока биологии в кино вместе с Колькой Утриловым. И часы с компасом мне подарили в день рождения, я их еще показывал девочкам. Одна попросила примерить и разбила часы, а компас так и остался цел. Она очень испугалась тогда. Мне ее стало жалко. «Хватит плакать, — сказал я ей, — мне все равно часы не нравились, хорошо, что ты их разбила». Мы с ней потом подружились...»

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ФИНАЛ

Они шли по аллее, похожей на коридор; справа и слева подстриженные кусты, немного дальше ряды деревьев с запутавшимися в их кронах яркими звездами. Живые глаза профессора, пристально разглядывающие его поверх массивных очков, вдруг опять всплыли в его памяти. «Усталость металла» — это из протокола. Диаграмма, таблицы, фото... Его ракета: два черных глаза иллюминатора, своды корпуса неровно отсвечивают остатками защитного слоя, сбоку приземистая машина техслужбы, трап, придвинутый к запасному люку, дюзы зачехлены — трудно поверить, что такое нелепое соору-

жение совсем еще недавно могло летать... Он крепко взял Анну под руку. Казалось, сон продолжается. Прежде чем покончить со всем этим, он сказал:

— Похоже на то, Анна, что слово «гипотеза» нужно заменить словом «реальность». Я думаю, что Гамов...

— Не надо, — мягко перебила она, — я не хочу даже слышать эту фамилию. Все в порядке, поверь мне, уж я-то знаю это лучше Гамова.

— Но, Анна, это похоже на истину.

Она вдруг остановилась и повернулась к нему.

— Глупый, глупый, — быстро заговорила она, — в твоих рассуждениях совсем нет логики. Неужели ты думаешь, что я этому поверю, даже если это случилось в самом деле? Ну скажи, неужели ты так думаешь?

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Это был зеленый одноэтажный дом. На перилах крыльца, на дорожке, ведущей к нему, на пыльной траве и подстриженных кустах был разлит предвечерний свет. Деревянные ступени едва слышно поскрипывали, встречая и провожая гостей.

Сергей прошел в большую комнату с детскими рисунками. И пока он оставался здесь, он чувствовал, что маленькие хозяева выставки старались деликатно не замечать его присутствия.

Чего только здесь не было! Акварельные железные дороги и ракеты, незнакомые планеты и синие моря. Звезды, похожие на серебряных птиц, и солнце, похожее на апельсин.

Кто постарше, обсуждали картины вполголоса, критически («Вагоны похожи, тепловоз — нет», или: «Таких деревьев не бывает»). Малыши же были скорее фантазеры, чем реалисты. И говорили они смешно. У картинки, изображающей праздничный салют, один из них объяснил: «Какой-нибудь дяденька купил шарики, сделал свечки, подбросил на небо, и получился салют. Красный, желтый, зеленый, фиолетовый».

Сказки не вызывали кривотолков. И зубастый волк, и олень, который «прыгнул на небо и достал звездочку на елку», и коза-мать, и семеро ее козлят-ребятушек были похожи на самих себя.

Где-то между реальностью и чистой фантазией лежала «ничейная земля», область полусказки: вечные льды, неоткрытые страны, таинственные джунгли, звездные дороги и синие улицы, вымытые дождями, в безымянных городах, куда нужно лететь много дней и ночей, а потом ехать на самом быстром автомобиле и идти пешком по холмам и горным тропкам, прежде чем

у горизонта поднимутся дома из стекла, покрытые зелеными полупрозрачными тенями.

Злые и добрые звери мирно уживались в этой комнате с людьми из далекой и близкой мечты. Можно было подумать, что они и в жизни отлично бы себя чувствовали среди зарослей молодого школьного сада или на палубе атомного корабля.

Это была уникальная коллекция.

Сергей задержался у пестрого холста, под которым значилось: «Пионерская оранжерея», Соколова Маша, 5 лет, Марс, Павловск, 5-я школа.

Листья, яркие стебельки, пурпурные лепестки роз были не очень похожи на настоящие, но здесь пахло травами и цветами. Лесные гвоздики, лютики, цикорей, львиный зев — ведь они живые, они раскрывают и закрывают свои цветки каждый в свое время. А тот, кто знает, когда, в какой час ложатся цветы спать и когда просыпаются, тот видит их по-своему.

Тут же висел тетрадный листок: «Лес и река», Никитина Толи из детского сада № 2 станции Луна-3. Карандаш плохо еще слушался Толю и вывел на клетчатой бумаге очень незатейливые линии. Но тона были подобраны верно!

И вдруг — на черном поле желтый огромный круг. Больше ничего. Сергей прочел: «Наше солнце», Замятин Саша, 3 года, Плутон, поселок Дальрейс.

Нетрудно начертать линии, окружности, эллипсы, и в ажурном переплетении их можно узнать термостанцию Меркурия или драги на Венере. Но вот лица... тут были исключительно добрые лица. Добрых чаще рисуют. Особенно дети.

И опять веселое зверье, деревья, марсианские кактусы. Коричневые шарики с виду довольно безобидны. Смертельный, обжигающий яд — внутри. Двадцать лет назад Сергей зацепил такой шарик, и — повезло! —

рука — ничего, работает. Боялся — от полетов отстранят. Нет же, обошлось. Мало ведь посмотреть на Марс, на Венеру, хотелось понять, привыкнуть, освоиться. Туда, в небо, ведут серые дымящиеся дороги с пыльными перекрестками, весенняя распутица, долгие месяцы пути, годы надежд и тревог. Но оттуда виднее Земля, ее горы и поля, леса и озера.

К человеку в конце концов приходит время, когда сердце становится большим и добрым, как старая книга, а руки не смогут, если понадобится, смять металл. Это не только от возраста. У каждого свой календарь. И каждый знает сам, когда приходит его день. Тогда прощайте дальние пути.

Сергей задержался у большого полотна. По солнечной дороге шел домой человек в пилотской форме, с чемоданом в руке. Перед ним разбежались косогоры, перелески, лощины. И до самого края земли дрожал и звенел ясный весенний воздух. Сергей прочитал: «Дороги весны», Константин Камальдинов, 8 лет, Москва, 466-я школа».

А рядом трава. Чистые, яркие тона. И черная собака. «Черная собака в траве». Вспомнил: вот такая собака встречала его, когда он возвращался из школы. Но как ее звали?.. Он попробовал вспомнить, как звали собаку, и поймал себя на том, что обходит выставку во второй раз.

Отсюда не хотелось уходить. Сергею нравилось здесь, безусловно, все. Если бы можно было остаться среди нарисованных изумрудной зеленью лесов и полей, где качался от ветра донник и травы ложились под ноги до самых горизонтов! Если бы можно было видеть и слышать так же близко черных бархатистых ласточек и золотистую иволгу, спрятавшись за смолистым деревом!

Странное чувство, подумал Сергей. Он все-таки обошел комнату дважды, ища разгадку. В самом деле,

почему так не хотелось уходить отсюда? Какая сила тянула к этим игрушечным синим рекам и серебристым лугам?

Только на пороге дома Сергей смог ответить на этот вопрос. Задержавшись на скрипучих ступеньках, он смотрел на длинную тень от крыши. На пыльную траву, вбирающую последние лучи. Он увидел какого-то жука. Матовую паутинку. Запоздавшую бабочку. Они были непохожи на нарисованных. Очень просто, подумал он, наверное, я уже стар.

ЗВЕЗДНЫЕ ДАЛИ

— Вы не спите? Посмотрите-ка на ночные огни, — полголоса сказал Черешнин.

Сергей открыл глаза. Уже стемнело. Машина неслась вперед. Скоро будем на месте, подумал Сергей, вздремнул на минутку, а прошел целый час. Собственно, он не хотел спать, просто думал так сосредоточенно, что перестал замечать ход времени. Думал о полете. О прошлом. О будущем. Вспоминал. Слушал кого-то. Сам говорил. Встретил старого товарища. Спорил. Смеялся. Конечно, уже во сне.

Синяя темнота за стеклом машины смешалась с зарницами на дальних дорогах. Огни, казалось, разбежались в беспорядке по небу и парили слева и справа, впереди и за спиной, внизу и вверх.

— Господи, вот уж сколько езжу, а такого не видел, — скороговоркой сказал Черешнин, — посмотрите: словно вся земля сдвинулась с места.

Белые огни стремительно летели над широкой лентой автострады. За машинами едва поспевали красные пятна — отсветы предупредительных сигналов. Это непрерывное движение могло бы вызвать мысль о стотонных чудовищах, спешащих на ракетодром по тревожному, понятному лишь им сигналу.

Но машины шли беззвучно, по крайней мере, из кабины не было слышно вовсе рокота моторов. Поэтому они напоминали скорее сказочных медоносных птиц с желтыми глазами и красными хвостами. Или тени птиц.

...Где-то в звездных даях, подхваченный гравитационным ураганом, мчался навстречу неведомому исследовательский корабль «Фотон». Сверхновая вспыхнула рядом с ним, и ее могучее дыхание едва всколыхнуло Галактику, но десять человек — экипаж и сердце атомной ракеты — боролись с чудовищной силой, сжав-

шей стальной корпус, несшей их в бездну, как буря птицу со сломанным крылом. Лучший исследовательский корабль, предназначенный для изучения околозвездного пространства, оказался беспомощным перед лицом стихии, взрывающей раскаленные недра солнц.

Вот почему в ночной мгле вспыхнули тревожно огни. Уже на рассвете спасательный корабль должен был ворваться в галактические просторы, не теряя ни минуты. Это был совсем необычный корабль.

Огни летели над автострадой, вычерчивая светящуюся прямую. Скорость этого полета не ощущалась. Она угадывалась. У перекрестков огни собирались в стайки. Они подтягивались сюда с юга, востока и запада, чтобы продолжить полет в одном направлении — на север. К ракетодрому. Там они отдавали горящие их грузы в просторные отсеки корабля, равного которому еще не было.

...Стрелка спидометра касалась пятисот, а потом вдруг поползла, поползла вниз. Черешнин напряженно прикрыл глаза.

— Остановимся.

— Надолго?

— На пять минут.

Машина остановилась — стала заметной скорость движения на трассе. Грузовики проносились мимо как угорелые.

— Я еще помню старые машины, — сказал Черешнин. — Там проще: разъело клапан — можешь ставить хоть пятикопеечную монету, отлично доедешь.

— Сколько же вам сейчас? — спросил Сергей.

— Пятьдесят девять.

— Мы с вами, что называется, ровесники. По нашему календарю.

— Вам сложнее. Когда летите?

— Сразу. Если разрешат. Это вряд ли можно назвать полетом. Скорее скачок в пространстве. Туда и обратно.

— Почему вас не подвезли автобусом? Или вертолетом?

— Не могу терпеть ни того, ни другого. Нужно войти в ритм, понимаете? Ночной грузовик чем-то напоминает корабль.

— Вы преувеличиваете.

— Нет. Может быть, когда-нибудь и я буду водить такой же грузовик.

— Наверное, таких тогда не будет.

— Все равно.

Они вышли из кабины и почувствовали под ногами теплую, упругую землю. Обочина и придорожные ели казались белыми в свете фар. На секунду откуда-то сверху опустилась тишина. Слышно было, как далеко-далеко треснула сухая ветка. Краем глаза Сергей увидел, как вспыхнул и сгорел метеор. Тепло от нагретой шиной автострады поднималось к звездам. Над их головами протянулся светящийся след.

— На Марс, — сказал Черешнин, — обычная, ближняя. Вот утра бы дожждаться... увидеть. Знаете, у меня там, на «Фотоне», сын. Второй пилот. Лучше б его не отпускали. У него ведь руки нет. Левая кисть ампутирована... Да... Ну, готово.

Они вскочили в машину. Над землей снова полетели ночные огни. Стекла кабины чуть подрагивали. Сноп света от фар вырывал из темноты белесые дымки над раскаленным полотном дороги. Сотни машин гладили и утюжили его звенящими шинами. Здесь все пути вели на север. Это движение было неотвратимо, а темп его нарастал с каждой минутой.

— В этом есть что-то давно знакомое, — медленно говорил Черешнин, подбирая слова. — Как будто ожи-

ла сказка о будущем. Корабль с нейтринным реактором! Неужели ему само время нипочем?

— Пожалуй. Время просто не поспевает за ним. Световой барьер ограничивает среднюю групповую скорость волн-частиц. А максимальная скорость волн де Бройля, например, может быть во много раз больше. Мне кажется, открытие светового барьера можно сравнить с открытием «неделимых» атомов. Еще одна условность.

— Да. Я понимаю это так. Разве нельзя мысленно увеличить световую скорость в два, три, десять раз? Мысленно это нетрудно сделать, правда? Значит, в бесконечно сложной вселенной должна быть такая возможность. Нельзя выдумать невозможное. Ведь мысль только отблеск, отражение реальности. Но одно дело — общие принципы, и совсем другое — техника, корабли, двигатели...

— Да, одних принципов мало. Эффект инверсии открывает коридор, в котором скорость света — это как раз минимально возможная скорость, но энергия... для этого нужна сила, способная сдвинуть планету. И вот этот бросок на север. Почему — знаете?... Да чтобы избежать заметного смещения земной оси.

— Нелегко сразу поверить... Световые годы — за три часа! Я могу дождаться вашего возвращения, не выходя из кабины. И это время стоит целого исторического периода.

Откинувшись на спинку кресла, Сергей пытался оставить здесь, на последних земных километрах, усталость и тяжесть, память о тревожных снах, груз былого — все лишнее, словно старую тесную одежду. Ночной рейс будто и вправду сбросил с плеч десятков лет.

Руки Черешнина чуть подрагивали, прокладывая путь среди тысячи огней. Над землей поднималось прозрачное зеленоватое мерцанье.

Огромная равнина была похожа на океанское дно, и

они были здесь как в батискафе. Стекла кабины гасили ночные звуки, шорохи веток и трав, гул моторов. Молчаливая ночь могла бы показаться бесконечной, но над лесом поднимался все выше далекий свет, словно зарево в стране вечного утра. Там начинались дороги в небо.

...Здесь начинались дороги в небо. В синем ночном воздухе мерцали ракетные огни. Черешнин видел, как Сергей поднимался по трапу — маленькая фигурка, почти лишенная очертаний. Колодцы иллюминаторов матово засветились изнутри.

До отлета оставалось немного, может быть, два-три часа. Черешнин отвел машину подальше, свернул на обочину и прилег, как бывало, в кабине, в просторном кресле, от которого пахло маслом и теплым железом. Он знал, что остановил машину слишком близко, но ему хотелось увидеть это своими глазами. Увидеть, чтобы лучше понять. Спасательный корабль «Инвертор» был нацелен совсем не на сверхновую, а в противоположную сторону. И это его немного беспокоило, хотя, конечно, ошибки быть не могло. Смутно он чувствовал красоту решения.

Он почти забыл старые школьные книги с графиками мировых линий, с описаниями пространственно-временного континуума и различных моделей вселенной — книги, из которых он впервые узнал, что можно придумать не одно, не два, а много объяснений прихотливой связи пространства и времени и все они будут согласовываться с теорией относительности.

Делались же попытки исключить из мироздания материю. Все есть ничто, говорили древние. Материя есть возбужденное состояние динамической геометрии, говорили две тысячи лет спустя.

Что, казалось бы, можно было противопоставить

бесконечной вселенной с несчетным числом солнц? Эвклидову пространству? Прямым линиям, уходящим в бесконечность?

...И вот замкнутая вселенная. Начала и концы соединились. Прямые замкнулись. С помощью телескопов, повернутых на сто восемьдесят градусов относительно объекта наблюдения, ищут обратную сторону галактик.

Еще немного времени — и снова говорят о разомкнутой бесконечной вселенной с отрицательной кривизной пространства, вселенной, похожей на седло или горный перевал.

Но вот сверхмощные телескопы как будто бы доказали: кривизна положительна, вселенная замкнута. Есть обратная сторона галактик! И опять посыпались вопросы. Вопросы и ответы.

Оказалось: мы видим обратную сторону мира сразу, мгновенно, как будто нет огромного, замкнувшегося на себе самом пути, по которому путешествует луч света. Как будто тот мир, к которому привыкли глаза и телескопы, — лишь призрак, тень, запоздавший кинофильм, отделенный от Земли световым барьером. А та, обратная, сторона далека, но реальна, словно она и есть настоящая вселенная, свободная от запретов старой теории. Страшно далекий мир, но с тем же временем. И о сверхновой узнали одновременно со вспышкой, не из запоздавшего фильма — из первоисточника. Но где прямые доказательства, что все так и есть? Мало кто летал пока по замкнутой траектории. Разве трудно ошибиться? Кто-то сказал, что время измеряют с помощью движения, а движение с помощью времени. И если та, обратная, сторона не наш мир, а совсем другой, хотя и похожий как две капли воды? Что тогда?

— Не стоит думать об этом, — сказал Сергей на прощанье. — Допустим, что гипотеза неверна. Допустим невероятное: это другая вселенная, в точности та-

кая, как наша. Ну и что? Раз доказано полное тождество, значит, и там есть свой исследовательский корабль «Фотон», в точности такой же. И я разыщу его. Полное тождество, понимаете? А точнее, симметрия. Один чужак физик строго доказал, что в этом случае должен был бы соблюдаться закон зеркального отражения. Если удастся, к примеру, привезти оттуда журнал, то читать его придется справа налево. А если журнал будет переправлен дважды, то его не отличить от нашего.

Это, конечно, была шутка. Может быть, не совсем удачная. Черешнин помнил, что среди двадцати моделей вселенной несколько было создано шутки ради.

И все-таки какое-то предчувствие не давало ему спокойно заснуть.

Сейчас, оставшись один, он лежал с открытыми глазами и слушал, как остывал мотор. Короткая северная ночь постукивала минутами, темнота то слегка сгущалась, то таяла. Гурьбой пробежали едва различимые темно-пепельные облака. Небо быстро менялось, дрожали странные лесные тени, приближалось утро.

Ожидание и бездействие стали нестерпимо томительными. Он осторожно достал из-за сиденья двустволку в старом брезентовом чехле, положил в карман десяток тугих папковых патронов и пошел в ту сторону, где едва намечалась зеленоватая полоса рассвета.

Он шел по сухой, потрескивающей хвое, раздвигая смолистые ветви, от которых воздух был густым, как настой.

Где-то тут, недалеко, немного к северу и немного к востоку, был его старый дом. Он помнил город над светлым северным морем и ветры, приходившие сюда со всех сторон света, чтобы бороться с волнами.

Сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз ходил с сыном за форелью на Белый мыс и еще

дальше, в Концезерье! Он и сейчас, наверное, нашел бы дорогу к им одним знакомому ручью, где через полчаса можно было бросить в багажник брезентовую сумку с форелями. Или к холодному водовороту, где прижились речные раковины-жемчужницы и где они раз, промокнув до костей, нашли все-таки несколько серебристых горошин.

Море он не любил. Может быть, потому, что на море человек во многом зависит не от себя. Прокричит невидимо гагара, прилетит северик — северный ветер, завяжется непогода, попробуй тогда пробиться через клочущую воду, которая поливает, кажется, и снизу, и сверху, и с боков. Редкий катер удержит курс.

Да что море! Весенние реки во время сплава, просторные, как моря, и ветер, острый, как нож, — разве не сильнее человека?

...Майским утром они с сыном смотрели, как вяжут плоты, как спускают кругляк на воду, как сплавщики, управляясь одними баграми, разводят заторы. Легко ли удержаться от соблазна самому прокатиться с багром в руках? Черешнин видел, как бежал он по бревнам, словно по шаткому мосту, как упал, как повернулось под ним предательское бревно и подоспело со стороны другое — огромная сосна, выскочившая из стремнины. Не помнит только Черешнин, как сына вытащил. Кажется, кто-то из сплавщиков помог, а может быть, уж после подбежал народ.

Отняли парню левую кисть, а новую сам не захотел. «Подожди, отец, — сказал, — писать, работать и так смогу, летать тоже разрешат, а это — после успеется». Так и не успелось пока...

Помнил он сына и в день отлета, удивлялся немного: как ему, такому скромному и внешне не особенно приметному, честь оказали, вторым пилотом послали. Видно, разбирались все-таки в людях...

С тех пор как Черешнин остался один, он вел, в сущ-

ности, полубродячую жизнь, и она ему нравилась. Сколько городов увидеть довелось и сколько людей! А рейсы сквозь леса и заснеженные равнины, когда кажется, что машина летит над землей!

За много лет он исколесил столько, что хватило бы, если выпрямить дороги, до иной звезды. Годы пролетели незаметно, и он спрашивал себя иногда: и это жизнь?

Да, это была жизнь. Он помнил, как давным-давно, еще со своим отцом, сиживал он на озерах, на заводах во время весеннего лета, когда утки на косых крыльях плюхались на воду из-за розовых березняков. Как шагали они по черной, живой и ленивой воде и грелись у костра, варили чай с брусникой и жарили уток с перьями, обмазав их глиной. Странное это было время.

Уже всерьез обсуждали проект гигантской плотины через Берингов пролив — с турбинами, способными выгнать холодные арктические воды на юг, сделать климат на севере теплым и влажным. Уже посылали первые автоматические звездолеты, а северные леса стояли, словно задумавшись, и не тронутые человеком синие дали по-прежнему расходились во все стороны, во всех четырех измерениях.

Северный ракетодром создали за два года. Провели дороги, протянули линии электропередачи, построили дома — маленький город, укрытый от зимних ветров гибким стеклом и пластиком.

Говорили, что нейтринные ракеты могли со временем изменить скорость вращения Земли, перечеркнуть астрономические константы. И вот — нашли же выход! — перевели грузовые линии на север. Именно здесь Земля меньше всего чувствовала ракетные толчки. Но говорили и другое: ведь ракетодром — это гигантская площадь дорог, аэродромов, это взлетные площадки для грузовых ракет, полигоны для радаров и ра-

диотелескопов, а где свободной земли больше? Ясно где — на севере.

О проекте писали и говорили еще лет двадцать назад. Могло показаться, что говорить тут особенно не о чем. Нужен ракетодром — значит, будет. Сегодня — мечта, завтра — явь, и все же спорили. Доказывали. Опровергали. Подсчитывали. За неброскими словами о целесообразности крылось на этот раз нечто новое. Трудно было предвидеть последствия. Создавая ракетодром, нужно было чем-то жертвовать. Не лучше ли было изучить досконально земные океаны и моря? Недра, мантию Земли? То, что спрятано глубоко под ногами?

Вывозить урановую руду с Марса, золото и платину с Меркурия невыгодно. Легче добывать их из морской воды.

А микромир? Может быть, как раз гигант ракетодром отнял те силы, которые помогли бы вчера и сегодня совершить не менее удивительное путешествие в глубь частиц, исследовать природу внутриядерных полей и в конечном счете открыть новые источники энергии, гораздо более эффективные и пригодные для тех же полетов в космос?

Если бы человеку дать вторую попытку? Каким бы стал мир, созданный его руками и талантом? Может быть, электричество или нейтрино были бы открыты на десять или сто лет раньше? Может быть, в лабиринте прогресса, где необходимость то и дело упирается в тупики случайности, был бы проложен более короткий путь?

Ясно одно — многое изменилось бы и, возможно, до неузнаваемости.

Ракетодром означал новый резкий поворот — лицом к космосу. Никогда в истории своей человечество не тратило столько сил, средств, времени, сколько тратилось их на космические исследования. Научные дости-

жения не вызывали сомнений, но они, как казалось иногда, вели к цели не самым коротким путем.

И все-таки, что бы ни говорили об этом, мало кто принимал в расчет право ошибаться. Ошибаться — и открывать новые законы. Попутно. Случайно. Как Рентген свои лучи.

Обратную сторону галактик искали и нашли. Что дальше? Мир замкнулся, стал похожим на глобус, но разве трудно представить себе другое пространство — время, бесконечное, словно раскручивающаяся спираль? И может быть, чужак физик, известный, впрочем, ученый в своей области, тот самый, о котором говорил Сергей, все еще надеется на случайность. На свою случайность, которая покажет, что время идет по виткам спирали, как электрический ток по катушке. Но между витками, по его мнению, можно проскочить и напрямую. Так, электрическая искра пробивает обмотку соленоида, когда напряжение увеличивается. Странная все же идея!

Выходит, что обратная сторона вселенной — это уже другой виток. Новый мир, похожий на наш, как отражение в зеркале.

Он почувствовал, что пора возвращаться, и быстро пошел к машине мимо темных, еще не засветившихся озер. В утренней полумгле в сорока километрах отсюда, на ракетодроме, звучала монотонная мелодия, словно там пели валторны. Земля дышала, он чувствовал ритм этого дыхания. «В укрытия, в укрытия!» — пели валторны. Пролетели раскаты легкого грома. Дрогнула белая утренняя звезда, Синий луч, поднявшийся вверх, расколол небо пополам. Лесное эхо вернуло звуки тревоги.

Стало светло как днем и еще светлее. Над лесом, зелено засиявшим, над полями, над серыми дорогами

поднялось зарево. Светящееся облако повисло над горизонтом. Мгновение стоял этот свет, вырвавший словно из темноты морского дна и деревья, и кусты, и островки пыльной травы. Свет ударил по глазам. Вспышка была ослепительна. Когда Черешнин открыл глаза, то увидел, что облако поднималось вверх, гасло, рассыпаясь красными гроздьями.

«В укрытия, в укрытия!» — пели вдали валторны.

Земля под ногами сдвинулась с места. По траве побежали тусклые тени. Сверкнула зеленая точка над головой. Вскрикнула птица. Зашептались ветви. Пришел ураган. Корабль был уже далеко, а могучая стихия, освобожденная от стальных оков, рвала зеленые волосы леса. В двадцати метрах от машины упала старая ель.

«В ук-ры-тия!» — прерывисто звучали валторны.

Удар был таким сильным, что казалось, будто небо опрокинулось на голову. Черешнин упал, теплый вихрь прижал его к колесу машины и умчался вверх, разорвав утреннее облако на три части.

В небе расплывались контуры «Инвертора», словно его запоздавшая тень. Далеко-далеко вздохнула земля. Зашелестело, как сено, как былинки в сушь, — это ложились на землю деревья.

Ровно через три часа он встречал сына, второго пилота корабля «Фотон», вернувшегося на Землю впервые в жизни в качестве простого пассажира корабля «Инвертор».

Через пять минут после приземления люди с «Инвертора» вышли из антиускорительных ячеек, защитивших их от фантастических перегрузок.

Еще через пять минут они оставили радиационные скафандры, словно рыцари свои доспехи, и спустились по трапу.

В ясном воздухе корабль высился плоской призрач-

ной громадой. Машины застыли как памятники, оставив людей наедине с тишиной.

...Сергей видел, как шли по дорожке Черешнинь, очень похожие друг на друга. Вот он, Черешнин-сын, настоящий сын-космонавт. Только... какое-то предчувствие подсказало ему, что это должно произойти сейчас же. Внезапное сознание слабости, беспомощности, необъяснимой вины захлестнуло его. Земля слегка покачивалась под ногами, и он остановился, чувствуя, что погружается в быстротечный кошмар. Усилие воли ненадолго вернуло его к реальности.

В небе, на земле почти ни одного звука. Желтый лист застыл в своем падении. Птица висела в воздухе, словно в раздумье подтягивая крыльями свое тело к верхушке дерева.

Вот Черешнин-отец настороженно замер. Здоровой рукой его сын достал сигарету, щелкнул зажигалкой. Но это была не та рука. Это была левая рука.

Сын был так спокоен, что, казалось, одной рукой смог бы удержать ураган. Летели секунды — одна, другая, третья... Краем глаза космонавт поймал тревожный и вопросительный взгляд отца, но не ответил на него. Он успел заметить, какое тихое было утро, как падал желтый лист и повисла на крыльях птица и как зелеными языками тянулись к небу деревья, а вокруг расстилалась неоглядная земля. Он узнал ее, это была его земля, она должна была стать его землей. Этот лесной воздух нельзя было спутать ни с каким другим, так же как нельзя ни с чем спутать слабый дым таежных костров из-за дальних наволоков и давних друзей.

Его глаза ничем не выдавали потока, захватившего его мысли. Пришло время снова взвесить быстротекущее время, годы ожиданий, лишений, тревог, мгновенья, разделявшие свет и мрак. Память о былом, огнем согревшая сердце, надежда и любовь, жизнь, смерть,

отлетевшая серой тенью, сделали его мысль быстрой, как молния. Но разве успел бы кто-нибудь заметить короткий луч, метнувшийся в углах его глаз?

Почему он выбрал бесконечную дорогу? Разве приятно быть вдали от того, что дорого? Он готов был ответить на все старые и новые вопросы.

На борту корабля исчезает и прошлое и будущее. Остается настоящее. Прошлое не изменить, а будущее неизвестно и безбрежно, как само пространство. Но тем радостней возвращение. И он наконец почувствовал, что вернулся.

— Хорошо, что ты встретил меня, отец, — сказал он. — Теперь мы сможем снова забраться на Белый мыс за форелью.

— Да, — сказал Черешнин, — теперь поедem куда захочешь...

— И в Концезерье поедem, на блесну щук ловить?

— И в Концезерье, сынок, я ведь без тебя так и не собрался туда.

ПОМНИТЕ МЕНЯ?

Иногда я спрашиваю себя: почему эта малоправдоподобная история представляется мне совсем реальной, а не сном наяву? И не нахожу ответа.

В комнате ничего не изменилось. Тот же письменный стол, шкаф с моими старыми студенческими книгами, бронзовая пепельница, статуэтка Дон-Кихота. Среди этих привычных вещей все и произошло.

Прежде всего — о встрече с человеком без имени. Мы заканчивали проект и работали допоздна. Когда я возвращался домой, в метро было совсем мало народу, а мой вагон был и вовсе пуст. Тускло светили лампочки. Жужжали колеса по невидимым рельсам. Темно-серые тени на бетоне тоннеля проносились мимо. Перегон. Станция. Перегон. На остановках хлопают двери. Снова тени бегут навстречу.

Вдруг меня резко бросило к перилам сиденья. Раздался скрежет и визг. Поезд замедлил ход. В окне прямо перед собой я увидел человека, прижавшегося к овальной стене тоннеля. Я видел его руки, вцепившиеся в металлические скобы, его лицо — бледное пятно, мелькнувшее и скрывшееся в сумраке за вагоном. Непередаваемое выражение глаз — спокойное любопытство, необъяснимую внутреннюю уверенность — я помню совершенно отчетливо. Только однажды я встретил взгляд с таким ярким искренним любопытством. Давно-давно... В зоопарке. Мы подошли к клетке с крокодилами, а недалеко дремали на солнце пестрые удавы, свернувшись клубками. По ту сторону клетки стояла девочка. Она казалась мне тогда совсем взрослой и была аккуратно и изящно одета: белая кофточка с большим синим значком, темная юбка. Прошло много лет, а я сохранил впечатление, которое она произвела на малыша, с засунутым в рот пальцем смотревшего то на нее, то на бассейн с крокодилами. Отец, крепко держа

меня за руку, чтобы я не потерялся, все повторял: «Ну, пойдем, пойдем же». Он спешил куда-то.

«Еще немножко, чуть-чуть посмотрим и пойдем», — говорил я ему. И девочка... Она посмотрела на меня, и в глазах ее не погасло еще любопытство, неподдельный интерес, с которым она разглядывала то, что находилось за прутьями клеток. Я тогда заплакал и вдруг сказал отцу, что хочу домой.

...Я вышел из метро, но никак не мог отделаться от мысли, что за мной наблюдают. Дома я открыл окно: вечер был жаркий. Спать расхотелось. Над теплой землей дрожали звезды, вдали по шоссе пробегали красные и зеленые огни. Мне показалось, что в комнате кто-то есть. Я отвернулся от окна и увидел человека. Мои ощущения в тот момент можно, пожалуй, выразить так: «Он всегда стоял здесь, я просто не замечал его». Его я и видел в метро. И в глазах — крупницы того особого выражения, о котором я уже говорил, пытаюсь передать его с помощью условных символов, называемых словами. Пожалуй, все же это непосильная задача.

Он пробормотал извинения.

Не знаю, как воспроизвести наш разговор. Он уверил меня... Ему удалось убедить меня в том, что он не человек, не просто человек. Что-то вроде робота. «Живой робот», «исследователь» — это его выражения. И меня изумляет, что я поверил ему. Без капли сомнения.

Он сказал это не сразу, не в начале разговора, а незаметно подвел к своей мысли, совершенно ее не навязывая.

Представьте двух человек за письменным столом. Блики от ночных фонарей в окнах соседнего дома. Отдаленный шум автомобиля. Красное пятнышко, ползущее по шоссе. Я слушал его спокойно, как будто он рассказывал сказку.

— Скажите, как вы представляете себе контакт с

разумной Галактикой, с теми, другими... Вы понимаете, о чем я?

Этот вопрос прозвучал бы, наверное, несколько неожиданно для меня в другое время. Но только не сейчас.

— Сразу трудно ответить. — Я не кривил душой. — Есть, вероятно, специалисты, это их дело.

— Но вы ведь тоже интересуетесь этим?

Я вздрогнул. Откуда он знает?

— Ну да, в некотором, гм, роде. Но совсем не так. Я дилетант. Вы спрашиваете о средствах общения с инопланетными цивилизациями, насколько я понимаю? Видите ли, есть лінкос — универсальный космический язык, логика, наконец, общие математические закономерности. В фантастических романах можно найти десятки способов, и некоторые из них могут быть осуществлены. Взять хотя бы строение атомов или опять те же константы. Будь живы древние строители египетских пирамид, мы поняли бы их, они нас, со временем, конечно. Да разве мало можно отыскать способов, если вас это интересует?

— Вы полагаете, что тут подойдут те же средства, которыми пользовались бы в подобных ситуациях египтяне или древние греки, — те же методы, хотя бы и переведенные на язык двоичного кода? Лінкос? Это ключ. Но этим ключом не откроешь дверь: слишком долго нужно возиться. Годы, десятки лет, а вы наконец постигаете лишь тривиальную истину, что, кроме общеизвестных констант, существуют и чуть-чуть более сложные вещи. Нет. Выход только один: увидеть все своими глазами. Впрочем, это неточно. Не только своими глазами, но и глазами тех, других — глазами тех, кто создал свою цивилизацию, строй мыслей, эмоций. Вы догадываетесь, что я имею в виду?

Посмотрите на меня внимательно. Я носитель этого метода. Я робот, но я и человек одновременно. Самый

настоящий, такой же, как вы, только... взгляните в окно. Видите, вон там... нет, нет, чуть правее, — видите эту слабую звездочку? Как раз над крышей соседнего дома? Видите? Я оттуда. Я рожден там. Создан из клочущей в трубах лабораторий белковой массы, соткан из настоящих нервов и наэлектризованных молекул — в рокоющем огне животворящих лучей. В меня вдохнули способность к анализу, я получил совершенную связь с ними — всепроникающую, быструю, как мысль, как блеск молний.

Вы спросите, может быть, где они взяли шаблон, так сказать, оригинал, по которому вылепили меня? Да, они похитили одного космонавта. Его ракета была буквально изрешечена метеорами... Они нашли его уже мертвым, но смогли воссоздать живую копию. Да...

Вы можете заинтересоваться многим, и вы имеете на это право. Но я плохо осведомлен. Те, другие... — Он на минуту задумался и посмотрел мимо меня в черное небо, усеянное звездами. — Они совсем не похожи на вас, лучше сказать — на нас. Чтобы это понять, нужно побыть с ними, внутренние различия гораздо ярче внешних.

Я очень мало помню из того, что было там... Смутные картины оранжевого неба, оплетенного светлыми, почти прозрачными канатами. Звездный закат над темно-синим берегом. Большой пластмассовый ящик. Лампочки, огоньки, стрелки, цифры — меня обучают, меня скоро пошлют к вам...

Они тщательно продумали эксперимент. У них был четкий план. Вы скоро убедитесь в этом.

По вашему календарю это было около шести месяцев назад. Я вошел в вашу жизнь, как в неведомый поток, но теперь я привык к ней. Это было предусмотрено их планом. Постепенно телепатическая информация стала идти помимо меня, без всяких усилий с моей сто-

роны. Вам, конечно, трудно представить себя на моем месте.

Так шли дни и недели, пока не случилось что-то. Я потерял всякую связь с ними, стал совершенно неуправляем. Не знаю, почему это произошло. Может быть, это вызвано неожиданными изменениями там, откуда меня прислали. А может быть, отказ от внешнего управления, так сказать, переход на автономный режим предусмотрен уже в первоначальном их плане, — трудно сказать. Как бы там ни было, я все чаще стал чувствовать себя человеком. Самым обычным человеком.

Мне вдруг стало казаться, что я помню свою мать. Будто бы она говорит мне, совсем крошечному малышу: «Слушайся старших, сынок. Расти умным мальчиком». Все реже меня навещали мысли о том, что я чужд всему. Я вспоминаю ранние морщинки на лице матери, ее ласковый голос, когда она в первый раз провожает меня в школу...

Я вспомнил зеленую тропинку к школе и желтые осенние цветы по обочинам. Нашу учительницу, очень молоденькую. Перед школой, переводя через дорогу, мать брала меня за руку. Я помню ее руку — шершавую, морщинистую, теплую... Встречая, она гладит меня по стриженной голове, потом дает зеркало: «Опять вымазался чернилами, глупыш. Сначала умойся, потом пойдешь играть», — и шутливо шлепает меня...

Я вспомнил сестренку. Целые вечера я просиживал где-нибудь в укромном месте и по кусочкам, как разбитое зеркало, восстанавливал прошлое. В этом зеркале я увидел себя мальчуганом с маленьким деревом в руке. Стоит октябрь. Я тепло одет. Вокруг темные куски влажной земли, ямки для саженцев, румяные лица одноклассников... Вы не поверите — я часами бродил около школы. Я разыскал ее. Я приходил туда даже ночами, чтобы никто не видел, как я сметаю пыль со ступе-

нек крыльца — мне это иногда приходилось делать в детстве — и считаю деревья в школьном саду. Ведь это я, я их сажал. Но как здорово они выросли, видели бы вы их!

Иногда я оставался там до утра, и, когда детвора, смеясь, прибегала на занятия, я словно ожидал увидеть знакомые лица... И я вспомнил их, маленьких товарищей детства.

В один из ясных сентябрьских дней мы играли в догонялки на школьном дворе. Уже начался листопад, и весь двор был усеян большими кленовыми листьями. Они шуршали под ногами, мешали бегать. Я поскользнулся и наскочил на старшеклассника, длинного верзилу в серых форменных брюках. Я побежал дальше, но он догнал меня. Он догнал меня и больно схватил за шею, что-то сказал мне и, засмеявшись, щелкнул по носу. Я чуть не заплакал от обиды и несправедливости. У меня сразу пропало настроение смеяться и бегать — знаете, как это бывает с детьми? Откуда-то между нами оказался мальчик, едва ли выше меня ростом. «Отстань от него, разве не видишь, он нечаянно!» — закричал он моему врагу. И тот, презрительно ухмыльнувшись, отступил от нас. И этот мальчик... я хорошо запомнил его лицо, — этот мальчик были вы. Конечно, трудно помнить такое через столько лет. Но я узнал вас. Вы даже не подозреваете, но я украдкой следил за вами. Я узнал, где вы живете, это было нетрудно сделать. Но вас не было вечерами дома, и я слонялся во круг. Если бы вы вспомнили!.. Ведь это значило бы, что у меня действительно есть прошлое...

Порой я снова, как наяву, видел перед собой пластмассовый ящик, снова слышался треск зеленых огней, отрывистые звуки чужих голосов. Будто снова вдыхал я горячий оранжевый воздух...

Все мучительней становится борьба с этим.

Однажды мне удалось вспомнить дорогу из школы

домой. По знакомой тропинке я направился искать свой дом. Знаете, такой старый, одноэтажный, деревянный дом. И крыша покосилась. Мне казалось, что стоит найти его — и я увижу на крыльце мою мать, сестренку. Вот, наверное, обрадуются! Но я не нашел. Дома не было. Возможно, его снесли, если только он вообще существовал. На том самом месте зеленел сквер с высокой травой, и тропинка, дойдя до ограды, поворачивала, вела вдоль нее.

Я спросил проходившую мимо пожилую женщину, не знает ли она старого деревянного дома с покосившейся крышей. Она показала рукой в другую сторону. Я побежал. Если бы вы видели, как я бежал... Это был не тот дом. Позже я узнал, что здесь и вправду снесли дом, но произошло это давно, никто не знал подробностей и не помнил мою мать.

Боюсь надоесть вам, уже поздно. У меня еще бывают минуты, когда передо мной появляется пластмассовый ящик с цифрами и словами, мелькающими как в калейдоскопе. Зеленые огни сверкают снова, когда я правильно отвечаю на вопросы. Меня долго тренировали, прежде чем послать. Перед глазами встает, как в тумане, оранжевое небо, темные узловатые стебли. Мысленно я снова настраиваюсь на волну, готовлюсь услышать сухие звуки команды, как иероглифы, понятные лишь мне одному. В такие минуты я способен на эксцентричные поступки, вроде сегодняшнего случая в метро.

Знали бы вы, как мучительны такие минуты! Но я преодолю это. В сущности, я уже не доверяю этим мучительным воспоминаниям. Трудно согласиться с тем, что все события предусмотрены в их первоначальном плане. Но это так. Я остаюсь здесь — таков их замысел.

Посмотрите: вот мои часы. У них двойной циферблат, время — земное и то, звездное... Изумительная

работа, их никто здесь не возьмется ремонтировать. Но мне кажется, они никогда и не сломаются. Честно говоря, не хотелось бы их выбрасывать, ведь это единственная памятка оттуда, как ни больно ее иногда видеть.

...Стояла тихая ночь, очень теплая. Мы изрядно накурили. Он снял тонкий серый галстук, положил его на стол и освободил воротник сорочки, как будто ему трудно было говорить. Его глаза сохранили частичку того выражения, которое я заметил в метро. Я знаю эти глаза. Я встречал их. В зоопарке? Но ведь там была девочка, девочка с синим значком. Его сестра?

Он жмет мне руку. Прощается, уходит. Но его же нельзя отпускать одного. Его нужно вернуть. Боже мой, что я наделал! Бегу за ним — поздно. Он скрылся в темноте.

...Неясные отзвуки колеблются в моей голове. Школа. Мальчишка. Урок. Большая перемена. Опять шуршат листья. Молоденькая учительница. Звонок. Беготня. И голоса так звонко раздаются — хоть уши зажимай!

Утро... Окно. Солнце. Рыжие лучи затопили двор. В кустах под окном пляшут желтые пятна, светлые звонкие волны. Цветной жучок, тихо урча, садится на подоконник и держит крылья расправленными. Ребятчи голоса. На асфальте гудит мяч. Ушедший вечер вспыхнул в голове красками и голосами, как сон или мечта. Но мне не приснилось это. Я медленно поворачиваюсь лицом к столу. Там лежит серый галстук, забытый им.

Тону в свинцовом океане раздумий. Что он говорил? «Копия, шаблон... оригинал... по которому вылепили меня». «Они похитили космонавта...» Копия! С ума можно сойти. Ведь оригинал — это Пестов. Его звали Саша,

Я знаю его! Да, у него была сестра. Кажется, я видел их вместе. Он учился в нашей школе до пятого класса, а потом куда-то исчез. Ах да... переехал в новый дом и перевелся в другую школу. Так почему же... этот... человек без имени не помнит новый дом? Он не успел. Не успел вспомнить! Но он найдет его. Он будет знать все, что знал Пестов. Его память — копия. Он станет сам собой.

Потому что тот, настоящий Пестов никогда больше не вернется. Он погиб. Он был космонавтом. Я узнал об этом случайно. Когда? Проклятая память — перезабыть всех знакомых мальчишек из школы, всех старых друзей... Словно прошло не тридцать, а тысяча лет.

Да, это он. Мальчуган из нашей школы. Память — драгоценная кинолента. Ничего нельзя забывать. Опять шуршат листья под ногами, клен бросает их на землю. Мы смеемся, я снова бегу, и молоденькая учительница стоит на крыльце. «Девочки, мальчики! Пора на урок!»

ОТКРЫТИЕ ПЛАНЕТЫ

КРЫЛАТЫЙ КОНЬ

Вечером прошумел дождь и утих. Открылись серебряные звезды. Перед восходом еще раз прилетали тучи, но ненадолго: утро было чистым и прозрачным.

«Похоже, очень похоже, — подумал Сергей, просыпаясь, и мысль была так отчетлива, что казалось, кто-то повторял ее вслух. — А ведь все здесь другое, вот что удивительно, даже сон невесомый какой-то, точно в скоростном самолете или ракете. И не вспомнить сразу, что снилось: сосны на взморье? весна? июльское поле?..

Он подошел к окну и увидел, как рассыпалась далекая громада тучи. Звезда-солнце прожгла ее насквозь. Как ни стремителен был рассвет, под деревом у окна еще пряталась предутренняя тень. Крылатый конь пробежал под окном, разрезав тень светлыми крыльями, и остановился на поляне как вкопанный. Его появление стерло в памяти сон о Земле.

За стволом дерева мелькнула фигура Рудри. Он накинул на крылатого коня седло. Тот вздрогнул, словно от ожога. С ветки сорвалась дождевая капля и розовым яблоком укатилась в траву.

— Конь готов, — громко сказал Рудри. — Ждет гостя.

Сергей вышел на крыльцо. Легкий воздух дрожал, как летучее пламя, готовое сыпануть искрами и угаснуть. Дважды в год тысячекилометровая орбита выводила планету почти в самый центр двойной звезды, где гравитация белого и черного, невидимого, солнц точно заводила часовую пружину. Планета вращалась быстрее. А вес всего, что находилось на ней, менялся, даже

скалы становились легче. Наступали дни, когда все летающее и порхающее расправляло крылья и паруса, чтобы ринуться вверх. И сегодня было такое утро, утро невесомости.

Этот хрупкий мир породил человека с непостижимым разумом. Уметь, не зная многого из того, что давно известно на далекой планете, именуемой Землей, — это ли не парадокс?

Создание было для них простым удвоением. Когда-то в Элладе пифагорейцы, чтобы провести прямую, воображали в пространстве две точки. А удвоенная линия давала начало плоскости. Так, удваиваясь, разворачивался их мир во всех доступных им измерениях. Здесь думали почти так же. И еще: отражение в зеркале они считали таким же реальным, как предмет.

Искусство сливалось здесь с опытом, с крупными знаниями на протяжении веков, и, чтобы понять причину этого, нужно было лишь понаблюдать призрачную картину мерцающей в свете близких звезд равнины, и непостоянство хода времени, рождаемое совсем иной стихией, чем в других местах, и многосложность жизни, бессильной пока постигнуть общие причины, но уже научившейся угадывать и хранить истину. «Всему свое время, — думал Сергей. — Крылатые кони сделали мечту о небе явью, и этому следует удивляться не меньше, чем нашей первой ракете. Будет у них и техника. А вот если бы произошло невероятное и наши космические полеты начались веком-двумя раньше, таких, как Рудри, наверное, ловили бы да отправляли в клетках на Землю...»

Конь гордо вскинул голову, крылья его прижались к траве, концы их дрогнули. Улучив мгновение, Рудри вскочил на конскую спину. Сергей прыгнул следом. Нарастающий гул от копыт. Бьющий в лицо ветер. Движение. Рудри выкинул вперед руки, из пальцев выскочили электрические искры, ужалили коня, и в сияющем про-

сторе развернулись во всю ширь два полотнища цвета весны. Полет!

Меднолицый, в коротком светлом плаще, Рудри сам был похож на взмывшую ввысь птицу. Влажный плотный воздух сопротивлялся, срывал с плеч плащи, слепил коню глаза, свистел в упругих крыльях, но они неслись все легче и стремительней. Сверху и снизу летели к ним крики птиц, но чаще не достигали их ушей; замолкали вдали звоны колокольчиков на шеях коней, гулявших в поле. Под ними промелькнули седые от легкой на них влаги луга и чистые — желтые и белые — берега просторных стеклянных озер. Потом потянулись к небу деревья, точно и они хотели взлететь в это погожее утро. Их рифленые стволы были тяжелы, высоки и похожи на органные трубы, а кора на них плавилась и стекала к подножию. Покачивались стройные пирамиды с ребристыми трехгранными листьями — в холодное время они умели фокусировать свет и тепло, согревая себя. Но как хотелось увидеть хоть одно земное деревце — с настоящим земным характером! Такое, что бездумно шелестит молодыми ветками под теплыми майскими ветрами, глухим позваниванием желтеющих листьев провожает последнее тепло, а зимой погружается в грезы о пресветлом лете. Хотелось соединить нити жизни, протянуть их от звезды к звезде, от планеты к планете, найти общее, чтобы лучше понять различия.

...Куда ни кинь взгляд, всюду зеленое и голубое. Молод был этот мир и нов. Земные ракеты — первые машины, измерившие его девственный простор. У горизонта растаял домик станции; потом серебристая ракета слилась с деревьями. Воздух стал прозрачнее. Сначала они видели планету с высоты птичьего полета, затем исполинские крылья подняли их выше, намного выше — туда, куда не залетели бы ни земные, ни здешние птицы.



УРАГАН

Ураган возник, едва ли нарушив своим появлением законы вероятности, но он был неправдоподобно силен и быстротечен. Выпуклые зеленые глаза Рудри не смогли заранее уловить признаки близкой грозы — так обманчива видимая ясность атмосферы. И вот первые молнии вышли на небе узоры.

— Мы не успеем вернуться, — сказал Рудри. — Под нами тучи и настоящий водопад.

— Еще можно держаться.

— Пока вы произнесли это, нас отнесло на полвэйда* к центру воронки. Это смерч. Когда придет время, откажитесь от поездки.

— Значит, вы хотите...

— Да.

Они уже знали: связь с планетной станцией потеряна, а гигантский смерч, в центр которого они попали, вытягивался в сторону темной звезды. Недаром в их легендах этот остывший комок вещества играл совсем особую роль.

Мифы планеты тесно переплетались с жизнью. Но Сергей мог лишь догадываться, какие силы порождали предания и легенды. «Отказ от поездки» — условная формула, не более. Здесь верили, что, если лететь навстречу угасшей звезде, можно встретить своего двойника, точно отражение в невидимом зеркале, перевоплотиться в него и вернуться на планету. Вот почему основой их науки было удвоение вещей. Это не казалось Сергеем странным: ведь у любой частицы материи и впрямь есть двойник. Этот двойник — исходящие из нее волны. Все — от атомов и электронов до планет — только кажется сгустками, кусочками вещества. На са-

* Вэйд — единица измерения длины на планете, равная примерно 0,16 километра.

мом деле это еще и волны, совсем особые, невидимые волны. Во многом они оставались еще загадкой, но они существовали, многие физики в этом не сомневались уже в первой половине двадцатого века. Незыблемые, казалось, законы старой механики уступили место новым, более сложным, но и более интересным волновым принципам. Новая волновая механика точно и в самом деле позволила вдруг заглянуть в волшебное зеркало. Может быть, и здесь, на далекой планете, именно эту двойственность вещей уже разгадали, но объясняли пока по-своему? В первые же дни своего пребывания здесь Сергей ответил на этот вопрос. Ответ был любопытен. Да, они разгадали. Более того, они умели использовать неуловимый переход от вещества к волнам и обратно, может быть, потому, что темная звезда обладала необычным свойством, она отражала волны вещества, возвращала их на планету. Но эти волны почти неощутимы, хотя и вполне реальны, как все вещи нашего мира. Как же они наблюдали их? Этого Сергей пока не знал.

...Молнии стали ярче. Каждый удар электрического копья на миг останавливал движение, и тогда в странной неподвижности застывали раскрытая пасть испуганного коня, сверкающие ожерелья его зубов, ставшее маской лицо Рудри. Вихрь, скорость которого освободила все и вся, находящееся внутри, от сил тяжести, поднимался в потемневшее небо.

Постепенно вверх открывалась бездонная чаша космоса. Где-то там висела черная звезда — антипод горячего солнца. Окрест, точно рваные края вулканического цирка, громоздились облака.

— Будьте внимательны, — крикнул Рудри. — Время откажитесь от поездки. Возьмите...

— Что это?

— Не спрашивайте. Мои объяснения вам не подойдут. Просто смотрите — и все. Когда увидите, пере-

ключайте сознание. Изображения на пластинках у вас называются голограммами. Не пропустите свою голограмму.

Это была прозрачная пластинка — стекло не стекло, кристалл не кристалл, и, конечно, сквозь нее было видно то же, что и невооруженным глазом. Потом вдруг Сергей заметил пятнышко у верхнего угла пластинки. Он чуть-чуть повернул ее — пятнышко перешло в центр, стало очевиднее, больше. Вот уже ясно различались всадники на крылатом коне... Да, это были они сами — Рудри и он. Изображение было сначала маленькое, как в перевернутом бинокле, но скоро выросло, и тогда он увидел свое лицо. Это было отражение волн от звезды, преобразованное кристаллом. Но это было не только изображение. Изображение дают электромагнитные волны, свет. Волны вещества, сливаясь, должны были создавать нечто большее, чем изображение. Там, по ту сторону пластинки, мог быть только двойник. Пластинка лишь позволяла его увидеть.

От непривычного усилия в глазах проплыли радуги, сменившиеся мгновенной темнотой. Переключая сознание, мысленно вживаясь в эти встречающиеся фигуры, они ощущали плотность застывшего на какое-то время пространства, и затем легкость, которую им придавало новое направление движения, прочь от темной звезды. Они как бы перетекли в свои отражения, они вернулись.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Только что были сумерки, словно половину мира закрыли черным чехлом, а в другой его половине зажгли тусклые свечи. И вдруг — безмятежное сияние неба, мокрая зелень, рыжеватая от солнца, последние облака, рассекаемые солнечным мечом. Ураган ушел — пришел гихий день. Снова огненные лучи принялись за свое дело — сушить почву, поднимать травы. И с каждой

минутой светлее, и зеленые ковры расстилаются все шире и дальше — раздолье крылатым коням.

...Два солнца — темное и светлое — составляют двойную звезду, планета вращается вокруг светлого солнца, вернуться же на нее можно, встретив волновое отражение. Проста, казалось бы, небесная механика. (Все, кто работал на планетной станции, уже в первый день убедились, что радиосигналы возвращались с темной звезды так легко, как если бы встретили там сверхпроводящую поверхность. Но что такое радиосигналы?) О возвращении человека в стенах станции почти не говорили. Но нужно же было кому-то начать? Может быть, как раз повезло, что он и Рудри оказались в центре событий, думал Сергей. Кто-то должен быть первым. Они бы могли поступить иначе, и, вероятней всего, уставший ураган опустил бы их где-нибудь у Моря Настойчивых или дальше, у отрогов Хребта Коперника, или... О том, что было бы в последнем случае, сейчас думать не хотелось.

Он видел, как улыбающиеся люди взяли под уздцы крылатого коня, как Рудри исполнял танец возвращения — обязательный ритуал. В его угловатых, но точных движениях Сергей узнал, разглядел и самого себя, и свой недолгий испуг, и неровное движение конских крыльев, только что пронесших их над планетой. Наблюдая за Рудри, он старался еще глубже проникнуть в тайну возвращения, понять, как умение, пусть только иногда, может заменить знание. Он знал, что самая характерная черта настоящего космонавта — это внимание, пронизательный ум, зоркий взгляд, направленный в даль и в глубь мира. И еще: без тени высокомерия, сегодня и завтра, нужно учиться понимать иную жизнь и иной разум, как бы самобытны они ни были.

Пленники необъяснимых явлений, эти люди, как кудесники, чувствовали и природу, и текущие в ней животворящие силы. Но жизненный ток, как магнитное по-

ле, излучается вовне, и они установили связь событий, запечатлели ее в образах, отлили в сплав созвучий, превторили в песни и танцы. А что такое искусство, как не умение вживаться, вчувствоваться во все и вся? Отсюда один шаг до умения возвращаться. Сначала случайность — потом правило, передаваемое из поколения в поколение, почти инстинкт. В этом молодом мире, как в Элладе, музыка заменяла иногда философию, а мысль сочеталась с гармонией. Но они уже стояли на пороге нового знания. В их немногих книгах Сергей уже читал много раз: «Происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением».

Когда-нибудь, думал Сергей, они поймут, что волны — это лишь иное проявление природы вещей. Не исключено, что к тому времени они забудут свои поездки на крылатых конях, да и сами кони станут далеким воспоминанием или живой реликвией, как на Земле слоньяньки.

Он достал пластинку (это все-таки был кристалл), потом рассчитал угол, где должна быть черная звезда. Повернул грань перпендикулярно выбранному направлению, она сверкнула отраженным светом солнца, и он увидел свое лицо. Зеркальное отражение совпадало с отражением волн от темной звезды. Значит, за пластинкой, невидимый, неосязаемый, стоял его двойник.

КОСМИЧЕСКАЯ БАБОЧКА

Порой казалось, что небо составлено из синих и желтых кусочков, как мозаика. Глаз не мог мириться с однообразной бесконечностью голубого простора — легче наделить его весом и плотностью, разрисовать золотыми лепестками невиданных цветов, в мельчайшей пылинке увидеть сверкающие грани неведомого.

Полдень, затерянный в созвездиях. Далекая пла-

нета. Первый выходной на станции после рабочей недели.

Чей-то вскрик:

— Космическая бабочка!

Взметнулась тень. Тут же упала и опять поднялась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Тревожно хлопают крылья, раскрывая зеленую бархатную вышивку. Кто знает, уносится ли она ветром, поднимается ли в заоблачную высь поневоле или действительно может подолгу жить в космических далях, а у планеты лишь иногда мелькает порывистой тенью? Ее большие крылья могли бы служить парусом, ловящим свет, она летала бы тогда и вдоль и поперек лучей, как сказочная космическая яхта. Сколько дней и бессонных ночей стоит открытие всех истоков жизни только на одной лишь планете? Кто знает...

Что мы поняли за неделю? — спрашивал себя каждый работавший здесь и вынужден был ответить: да ничего, ровным счетом ничего.

А бабочка села, ее крылья-паруса тревожно подрагивали. Сергей подошел, протянул руку. Тень руки подняла бабочку вверх так легко, как будто она и в самом деле скользнула по невесомым соломинам лучей.

...Еще одно открытие: на пригорке (от станции рукой подать!), на белом песке рос тысячелистник. Вчера или позавчера кто-то видел будто бы крушину, да не поверил, прошел мимо. Зато теперь ни запах, ни фиолетовый оттенок мельчайших цветков, собранных в корзинки, не оставляли сомнений: на сухом пригорке приютилась семья тысячелистников. Невероятная случайность — или, может быть, жизнь повторяла себя?.. Как нетерпеливо ладони размяли твердые зернышки корзинок, как терпко они пахли, как хорошо было лежать здесь и видеть расчерченное качающимися стеблями и тонкими листьями небо!

Голос Рудри:

— Бабочка Кэрмнис!

В руке у него живой зеленый лоскуток бархата. Он протягивает его Сергею.

— Зачем поймал? — Сергей встал, но на бабочку не взглянул.

— Космическая бабочка! Ты же просил ловить жуков, бабочек и собирать разные травы.

— Отпусти. Потом поймает еще, а эту отпусти.

Рудри осторожно разжал пальцы. В глазах его мелькнуло невольное восхищение: как она летела!

— Пойдем, — сказал Сергей.

Впереди пылил вездеход, и они свернули с дороги. Долго шли по густой траве, пока домик станции не скрылся из виду. Взобрались на высокий холм, где клонящееся к закату солнце согрело их лица и ладони теплыми красными лучами, спустились к ручью, переправились через него и прошли еще не меньше пяти километров. День кончился, они все шли, и небо светилось тем спокойным предвечерним светом, который знаком всем и на Земле.

На далеком пригорке стояло дерево. Что-то знакомое чудилось Сергею в темной кроне, в гибких ветвях. Солнце мешало присмотреться, они повернули к пригорку, сошли с тропинки и прошли немного вправо, прямо на закат. Перед темной линией кустарника дерево встретило их шелестом склоненных ветвей. Сергей подошел к нему и крепко прижался щекой к гладкому стволу. Узорчатые листья рябины легли на его руки.

БЕРЕГ СОЛНЦА

ТАЙФУН

Дорога, начинавшаяся у причала, вела к перевалу, туда, где между двух сопок плавилось предзакатное золото. По дороге шел человек. Он испытывал чувство сродни тому, которое возникает при возвращении домой. Он не спешил. Разве дома спешат? Он думал пройти по шоссе до поворота на перевал, потом подняться на мыс, увидеть, как откроется весь залив. Он готов был устать. На этот раз не от работы, не от споров и объяснений — просто от ходьбы.

У причала покачивался катер, доставивший его к берегу. В синей бухте стояли морские транспорты, в их трюмах были грузы для Берега Солнца. На борту одного из них и прибыл физик-исследователь Александр Ольмин. Целый год он провел на заводах, где собирал блоки реакторов, и считал дни, когда вернется сюда.

— Я не полечу, — решительно сказал он девушке, встретившей его у вертолета. — Спасибо, я пойду пешком.

— Этот вертолет — настоящий лифт на аккумуляторах, — уговаривала девушка. — Две минуты, и мы дома. — Тут она почему-то смутилась, но Ольмин не заметил этого или не подал виду.

Девушка была из настойчивых. Он позволил усадить себя в кресло. Но в тот самый момент, когда девушка нажала кнопку автопуска и машина должна была взмыть вверх и совершить прыжок через сопку, Ольмин неожиданно легко, быстро соскочил на площадку. А вертолет превратился в кленовую вертушку и столь же быстро скрылся за сопкой.

Чего же ему хотелось?.. Поплескаться в ручье. Сверху, с сопки, хорошенько рассмотреть, как выглядит теперь Берег Солнца. Сбежать вниз. Это все. Он успел

добраться до ручья, когда вертолет вернулся, покружил над долиной, потом куда-то исчез. Ручей говорил о сухом лете, он обмелел, обнажив часть русла. На перекате высветилась серебристая нитка, словно под водой кто-то натянул и опустил струну, — рыба.

Со склона сопки постепенно открывалось пространство над морем, и все в нем теперь казалось далеким и неподвижным. Над бухтой висела стрекоза. Ольмину хотелось поторопить ее, увидеть, как опустится на причал ее нелегкая, наверное, ноша. Но стрекоза равнодушно поблескивала крыльями. А двигаться ее заставляла, казалось, лишь сила воображения наблюдателя, а не мотор, спрятанный в ее пластмассовом теле.

Стрекоза приблизилась к причалу и превратилась в обычный летающий кран. На прежнем ее месте висела уже другая стрекоза, их было много, они по-своему спешили — перенести часть груза на берег, чтобы корабли смогли подойти к сравнительно мелководному причалу, где их ждали многорукие гиганты — порталные краны.

...На крутом склоне камешки-плитки выскальзывали из-под ног, прыгали коричневыми лягушками. Ольмин остановился — звук не пропал. В сотне метров от него камешки так и скакали. Он пошел медленнее, потом свернул, спрятался за куст кедрового стланика. Подождал немного. Ну конечно!

— Ира! — Ольмин вышел ей навстречу. Ему вдруг стало неловко, что он заставил ее подниматься следом, волноваться, быть может.

— Александр Валентинович, Саша! Я же отвечаю... Ведь сюда из заповедника тигры приходят.

У нее было растерянное лицо, в руках не то платок, не то косынка, волосы перехвачены широкой лентой, на ногах какие-то спортивные тапочки, в общем, с ней можно было перевалить через сопку если не за час, то часа за полтора-два.

— Ладно, — сказал Ольмин. — Я не сержусь. А вы?.. Тогда идем вместе. Это вам. — Он протянул ей букет ирисов. При упоминании о тиграх ему захотелось вдруг рассмеяться, но он держался серьезно, потому что такой уж он был человек.

...Берег Солнца. На воде, точно поздние бабочки, танцевали яхты, раскрыв паруса. Зарево первых огней... Берег мелководного широкого залива был светел. Он точно вырос из морской пены, застывшей тысячами звезд-огней. Сюда сходились дороги побережья.

— У нас даже в школьных сочинениях слово «Солнце» пишут с большой буквы. Видите, сколько успели сделать...

Она говорила о том, что произошло здесь за год, она спешила сделать это сама — все рассказать. К берегу протянулись ленты морских поглотителей. Половина из них еще не закончена. Отражатель готов.

Отсюда, с высоты перевала, Берег Солнца был виден как на ладони. Но алое пятно зари на круглом зеркале отражателя уже тускнело, меркло. И опять Ира смутилась, как два часа назад, когда она встречала его у вертолета: ведь ему все было ясно без слов.

...Планета получает ничтожную долю тепла, и никакие наземные гелиоустановки не помогут: почти все излучение уходит в пространство, разбегается по бесконечным радиусам, минуя планету. Пусть же лучи «схлопнутся» в световой жгут, как схлопываются лучи лазеров! Непривычная, даже странная мысль: для этого нужно «осветить» Солнце пучком элементарных частиц, он станет точно коническим зеркалом, экраном, собирающим тепло, не дающим ему рассеиваться. Все, что попадет в конус, придет к планете, частицы, словно маленькие линзы, направят фотоны только в одну сторону, к Земле. И это похоже на то, как если бы вместо фотонов собирали дождинки с облака в большую воронку и горлышко воронки направляло бы драгоцен-

ную влагу в водохранилище или в русло обмелевшей реки. Наше светило ведь тоже облако. Раскаленное облако, ниспосылающее благодатные фотонные дожди. Жгут солнечных лучей — лучший подарок планете с ее небезграничными недрами. Энергии будет даже слишком много, ведь десятиллиардная часть солнечного диска способна дать тепла больше, чем получает Земля. Значит, нужно правильно выбрать мощность и форму пучка элементарных частиц, который управляет энергией, а избыток лучей поймать зеркалом и отправить обратно в атмосферу, в космос или отвести в море, рассеять в морских просторах. Были Земля Королевы Мод, Берег Принца Олафа, Берег Принцессы Марты, Земля Гранта. Теперь был Берег Солнца.

...Тайфун напоминает воронку. Или веретено. Конечно, если наблюдать со спутника. Веретено урагана раскручивается все стремительней, втягивая в свою орбиту тысячи тонн воды, пыли, воздуха. В центре тайфуна его ядро. Эта свободная от облаков зона пониженного давления так и называется — глаз бури. Облака стягиваются к нему быстрыми нитями, но не могут проникнуть внутрь, точно алмазная стена отделяет их от ядра. Вращение Земли отклоняет тайфун, заставляет его описывать параболу. Постепенно в центр урагана проникают клочья тумана; море, исторгнув волны, точно вздохи, постепенно утихает. В конечном счете Солнце рождает тайфуны. И, рожденные Солнцем, они, быть может, лучшее свидетельство его неисчерпаемой мощи.

...Один из транспортных кораблей доставил на Берег Солнца экипаж японского рефрижераторного судна, пострадавшего от шторма. Капитан Атара достал фотографии, рассказал о себе, о семье, о шхуне, на которой плавал раньше, о том, что теперь ему вряд ли скоро дадут рефрижератор и он снова будет плавать на шхуне.

— Знаете, что пишут в наших газетах о проекте? —

спросил Атара. — Вы отберете у Солнца часть энергии, и солнечных дней станет меньше.

— Это неправда, — сказал Ольмин. — Эксперимент займет несколько минут.

— Все равно, — сказал Атара.

— Но энергия не исчезает, вы знаете.

— Не совсем понимаю.

— Мы посылаем энергию в космос, отражаем ее, возвращаем Солнцу, а меньшую часть отводим в море.

— Значит, наши моря станут теплее?

— Совсем немного. Когда-нибудь — да.

— И все-таки вы хотите использовать общий источник — Солнце...

— Разве мы присваиваем энергию? Каждая страна может получить свою долю.

— Но для этого нужно договориться с правительством страны.

— Думаю, такой договор будет. Позднее. Наше правительство готово к обсуждению.

Атара задумался. Разговор не оставлял как будто никаких сомнений, и все же он внимательно и вопросительно смотрел на Ольмина, словно пытался каким-то неведомым путем узнать еще что-то. Перехватив этот взгляд, означавший: «А договорятся ли правительства?», Ольмин сумел так же, без слов, едва заметным жестом ответить: «Не беспокойтесь, решение найдется».

— А не станет ли на Земле слишком тепло? — спросил Атара.

— Тепло можно переправить хоть на Марс. Может быть, когда-нибудь приемник установят и на кораблях. И тепло, и холод, когда надо, и ход судну. А ночью накопители, аккумуляторы...

— А облачность?

— Солнечный жгут пробивает облака, туман.

На столе появилась карта, и Атара с точностью до часа отметил продвижение тайфуна в Японском море.

— Завтра он будет у вашего берега. Он опрокинул мост между островами Хонсю и Кюсю. Ваши сооружения беззащитны, они похожи на паруса.

ИЗ ДНЕВНИКА ИРИНЫ СТЕКЛОВОЙ

26 июня. Спросила Телегина (он сейчас замещает Ольмина): правда ли, что ракеты смогут летать без топлива? Он сказал: нет, сгорят, слишком много энергии. «В плане мечты, конечно, смогут». Солнце преобразует в излучение четыре миллиона тонн вещества ежедневно. Будет посылать ракеты в Галактику. Мы не умеем пока протянуть к нему тонкие нитки частиц, чтобы отбирать фотоны маленькими порциями.

18 июля. Встречала Ольмина. Прибыли излучатели частиц, ускорители, реакторы, приборы. В бухте несколько транспортов, из-за мелководья не могут подойти к причалу, их разгружают летающие краны.

29 июля. К нему стали опять заходить. Запросто, как год назад. Если он был занят, читали его книги. Вчера зашли человек десять. Он говорил что-то веселое, потом Блока читал, и все к месту. Читал без патетики, совсем непонятно, почему действовало, у меня бы так не получилось — чего не умею, того не умею. Он был в простейшей рубашке, у манжеты пуговицы нет, так он незаметно булавкой заколол. Ему уже за сорок, наверное, лицо усталое, а он читал: «О, весна без конца и без края — без конца и без краю мечтал!»

11 августа. Ничего-то я не понимала до сих пор. То есть знала, что к Солнцу поднимется конус и что лучи пройдут внутри его, как в волноводе, и упадут на отражатель. А стенки конуса не дадут лучам разойтись. Вот и все. Это примерно уровень знаний двадцатилетней давности (причем уровень беллетристики; кажется, был какой-то рассказ или роман, его потом пересказывали в прессе — оттуда в основном и мои познания — увы,

во всем, что касается «физики»). Зато как просто, Ира, не правда ли?

14 августа. У большого зеркала передо мной во весь рост высокая женщина с карими глазами и соломенными волосами. И смотрит на меня, смотрит... Словно что-то хочет спросить и не решается. На вид ей двадцать пять (а на самом деле чуть больше). Она смотрела, смотрела, да вдруг и улыбнулась. А я погрозила ей пальцем и отошла от зеркала.

У нас все по-старому.

16 августа. Ты считала, что твое дело — поглотители, приемная часть, не больше. Для остального есть Ольмин, Телегин. Ты боялась им помешать расспросами и советами? А Александр Валентинович Ольмин, решавший задачу упаковки частиц в конусе, работал на заводе из праздного любопытства? Или знакомился с конструкцией морских поглотителей из приличия? Да ты раскрой глаза, Ирка: он же знает о приемной аппаратуре больше тебя! Он проверил расчеты, твои расчеты. Но если бы я все-таки знала, зачем ему это! Ведь он не сомневается, он верит мне. Так он говорит. А он говорит только правду.

21 августа. Спутники предсказывают тайфун. Не в первый уж раз.

25 августа. Ну и что я узнала еще? Что конус будет формироваться несколько минут, потому что частицам нужно преодолеть расстояние до Солнца, и что он не будет сплошным? Но тогда что это за конус?.. Что частицы должны испускаться импульсами?.. Но короче одной миллионной доли секунды импульсы сформировать просто нельзя: техника не позволяет. И Солнце выжжет все живое на планете. Выход один: направить к Солнцу очень узкий конус. Но энергия даже с одной миллиардной части солнечного диска в тысячу раз больше, чем энергия, даваемая всеми электростанциями планеты.

При угле конуса в шесть сотых угловой секунды как раз и будет захвачена эта миллиардная часть. Испарится и почва, и берег, и сопка заодно с установками. Вот зачем нужны отражатель и поглотители, отводящие тепло в море, а лучше бы в океан. И еще: ошибка в сотую долю угловой секунды недопустима.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Ты изучала теодолит, Ирка. Этот сверхточный, по твоим представлениям, прибор дает ошибку в целую угловую секунду.

Проникнись уважением к светилу, Ирка.

ВЫВОД. Это первый проект, когда нужно всеми средствами избавляться от лишней даровой энергии. Ошибка смертельна.

26 августа. Тайфун нарекли «Элеонора». Диаметр воронки небольшой, около двухсот километров. Скорость продвижения невысокая. Скорость у ядра максимальная.

29 августа. Тайфун прошел Японию. Вывезти оборудование нельзя. Четыре ленты поглотителей не готовы. Нам не хватило месяца работы. Если тайфун придет, уничтожит все. Олмин невозмутим. Это спокойствие — равнодушие ко всему привыкшего человека?

Как можно, Ира? Вспомни: он говорил сегодня о северном городе, где летние ночи поднимаются зелеными зорями над мостами. О медленных реках, подобных морям. Об отце, капитане дальнего плавания. И о полях ржи под солнцем, о гулкой весне. И ни слова о судьбе проекта. Потому что и так все ясно? Если бы я знала!

30 августа. Утро. Мы на транспорте «Сахалин». Прощай, Берег Солнца. Сеанс задержится. Года на два, если не больше. Это целая вечность. Мы не смогли бы провести даже частичный эксперимент (поглотители!).

Вечер. Так вот почему я не видела его на корабле. Он остался... Вартов меня обманул. Я спросила его, все ли? Он промолчал, как будто ответ разумелся сам собой. А он остался. Если бы я знала, что это возможно!

Как он мог? Да нет, только он и мог это сделать. Вместо поглотителей сам тайфун. Он заставил тайфун сработать на эксперимент: ветер мгновенно перемешал тепло и холод, отвел избыток тепла в двухсоткилометровое кольцо урагана, рассеял его.

Он все знал. Он готовился. И молчал... Ну да, ему же могли помешать. Ты, например. Или ты осталась бы с ним? Он никому не сказал правды. В первый раз... (запись обрывается).

КОРАБЛЯМ ФЛОТА...

По зыбкой границе воды и воздуха скользил «Сахалин». Одолев прибрежную полосу, он поднялся на воздушной подушке и вырвался из тайфунного кольца. Растаял осыпанный дождями берег. Капитан Вартов ждал. Но было, наверное, еще слишком рано. Время лишь выткало прерывистую нить бурюнов.

На север и на юг, во все стороны разбежались штормовые волны. Чайками пронеслись облака и скрылись под низкими туманами. Прошло два часа. И еще несколько долгих минут. И тогда над невидимым, далеким берегом просиял свет. Вспыхнуло желтое пламя. Брызнули капли сияющей меди. Солнце как будто вдруг приблизилось к Земле и дохнуло теплом. Это дыхание прожгло ураган. Поднялась серебряная корона волн. Тучи мгновенно посветлели и взвились вверх, точно сухие листья в ветреный день. В памяти осталась лишь фотография этого мгновения.

В каюте Вартову передали радиограмму.

«Капитану транспорта «Сахалин» Вартову, кораблям флота... Измерения по проекту «Берег Солнца» показали совпадение параметров солнечного жгута с расчетными. Общйй уровень энергии, просочившейся через отражатель и прошедшей к поглотителям, — не более чем минус десять децибел. Система телеуправления про-

изведет запуск ракеты со всеми материалами исследований. Ракета приводнится за пределами области, захваченной тайфуном, координаты (долгота, широта).

Физик-исследователь ОЛЬМИН».

И ни слова о себе. Вартов живо представил себе, как стена воды подошла к заливу. Ольмин, наверное, еще готовил аппаратуру. Потом вспыхнул жгут: До этого момента Ольмин ни за что не ушел бы (он говорил о своей безопасности только для того, чтобы остаться). У него еще было время, и он не спешил. Несколько минут понадобилось, чтобы прочесть показания прибора. Потом передать радиограмму. Ветер и вода, быть может, уже опрокинули отражатель, смяли его, как лист бумаги. А он еще хотел убедиться, что тайфун заменил недостроенные поглотители, регистрировал температурное поле. Разве он мог уйти? Кадр за кадром разворачивались воображаемые события: вал обогнул мыс, вошел в зону мелководья, поднявшись мутным зеленым гребнем восьмиметровой высоты, а ветер сбрасывал вниз последнее из того, что было создано, построено, налажено. Вал накрыл берег.

...Трудно убедить кого бы то ни было в том, что эксперимент нужен всем. Что солнечный жгут разрушит тайфун, покончит с ним. И что можно отвести беду от прибрежных городов. А он сделал это, он заставил поверить всех.

...Когда первые россыпи звезд замерцали над морем, в свете прожекторов закачался белый купол парашюта. Скользя по стропам, луч осветил тело ракеты. Это была надежная ракета, из тех, что называли «бомбами»: они отлично приспособлены для любой погоды. Вартов подумал, что вот сейчас, только сейчас, для него и для всех других, кто не знает, успел ли Ольмин укрыться в ракете, наступают долгие тревожные минуты ожидания.

ОТСТУПЛЕНИЕ

ОСИНЫИ ГОРОД

Перебравшись из ракеты в каменный дом, построенный недавно астрофизиками, вся четверка ощущала какую-то неловкость, точно вместо работы ее ожидал отдых. Руководитель группы биологов Геннадий Александрович Гарин, как бы отчасти оправдываясь, в один из первых же вечеров завел разговор об ископаемых редкостях, до сих пор радующих специалистов на давно освоенной и так хорошо изученной Земле; о живой кистеперой рыбе — целаканте, пойманной не так давно у берегов Мадагаскара; о легендарном морском коне и даже о птеродактилях, будто бы замеченных однажды над африканскими джунглями.

— Что и говорить, дома работа поинтересней, — сказал Кавардин, один из четверых биологов, как бы не замечая, куда клонит Гарин.

За окном разбегались во все стороны дюны, каменистые безжизненные холмы; и каждый из работавших здесь знал, что песчаные волны достигали горизонта, огибали планету и как бы возвращались из-за горизонта, с другой стороны его — так однообразен был лик этого песчаного моря с редкими островами-скалами и каменистыми сопками, грезившими о воде. Ни дождинки, ни капли влаги знойным днем. Лишь тонкая и неуловимая, как пар, утренняя роса в ложбинах, призрачный бисер на сухих листьях и обманчивые темные тени под камнями, где не найти прохлады.

Энтомолог Валентин Колосов во время этого разговора украдкой делал пометки в записной книжке — быть может, он так старательно вел дневник. Его коллега Станислав Сварогин слушал, казалось, внимательно, но выражение его лица говорило о том, что, по его мнению,

сказкам и легендам на этой планете место вряд ли найдется.

— Побольше бы воды сюда! — сказал Колосов, дождавшись паузы, и это прозвучало так искренне и взволнованно, что все улыбнулись.

— Обводнить и оросить. Возражений нет. Принято. — Кавардин поднял руку.

— Возражаю, — неожиданно сказал Гарин. — Не хотелось бы так быстро вторгаться в этот мир. Это не Сахара и не Гоби. Нужна ли вода здешним осам или сухому кустарнику? Может быть, вода, та вода, которую мы выведем на поверхность, отравит все живое здесь. Кто знает?

— Да воды здесь и под песками нет. До скважин дело не дойдет, — добавил Сварогин. — Ни капли. Все в атмосфере. Это уже остатки. Скоро и они улетучатся.

— Ну, не так уж скоро, — возразил Колосов, — тысячелетия, десятки тысяч лет они еще продержатся, а то и дольше. Нас уже не будет, а здесь все останется по-прежнему. И скалы, и пыльные бури, и осы... Они переживут нас.

...Весь следующий день и еще несколько дней кряду Колосов изучал поведение ос. Он начал с простых опытов. На склоне холма, поросшего редким кустарничком, были установлены приборы, кинокамеры. Выпозавая из норок, их обитатели делали в воздухе круг, иногда два и устремлялись на поиски добычи. Колосов насыпал вблизи входов в норки кучку песка и воткнул в нее прут. Это был первый вопрос, быть может очень простой, который должен был послужить началом диалога. Ведь именно умение задавать природе вопросы служит основой всякого познания.

Насекомые по-прежнему, как бы не обращая внимания на происшедшие перемены, взлетали и садились на

площадку, но заметна уже была и разница: перед тем как умчаться к дюнам, они кружили над норками дольше, чем раньше. Но вот они возвращались, исчезали в песке, снова появлялись, поднимались в воздух — и опять, как и раньше, только один-два круга над своей «базой», ни витка больше. Стало ясно, что горка и пруттик сбили их с толку и они изучали местность, прежде чем отправиться в путь. Изучив же, перестали реагировать на изменения в обстановке, которые стали для них обычными, привычными. Колосов разровнял горку и убрал пруттик. Как и следовало ожидать, осы при первом вылете долго кружили над площадкой. Они снова были озадачены случившимся. До сих пор, до второго опыта с горкой и прутиком, они вели себя совсем как земные осы филантусы. Быть может, окажись здесь не Колосов, а другой человек, выводы были бы готовы: да, обычные осы. Но Колосов, повинуясь какому-то непонятному импульсу, продолжил работу. Фасеточные глаза насекомых реагируют на разные ориентиры и воспринимают положение их с точностью, порой доступной лишь приборам.

Как же они запоминают приметы своего жилища? Для ответа на этот вопрос нужны были другие, более тонкие наблюдения, и Колосов решил не выпускать из поля зрения двух-трех ос. Он расчистил площадку у выбранных норок, убрав все камешки, прутики, травинки, которые могли бы служить ориентирами. И вот появилась первая оса, таща добычу — гусеницу или многоножку, пойманную в кустарниковых «джунглях». До того момента, пока ее отделяли от норки два-три метра, все шло как обычно. Но вот она остановилась, зависла в воздухе и вдруг стала метаться, так что за полетом ее трудно было уследить. Еще раз зависнув, уже в полуметре над землей, она стала описывать круги, потом устало опустилась на песок, недалеко от своего жилища, так и не обнаружив его.

Вторая оса вернулась минутой позже и стала медленно снижаться, но и в ее поведении произошла разительная перемена: она приостановилась, метнулась в одну сторону, потом в другую, описала широкую дугу и наконец зависла в воздухе. Она тоже не нашла ни одного знакомого ориентира. Вот она опустилась недалеко от гнезда, снова поднялась и, летая всего в нескольких сантиметрах от поверхности, стала как бы методично изучать местность, вскоре она буквально наткнулась на гнездо и скрылась в нем.

Первая оса тем временем предприняла поиски жилища, ползая по расширяющейся спирали и волоча за собой свою нелегкую ношу. На пятом витке она наткнулась на вход в норку.

Третья оса нашла норку быстрее всех, словно ей каким-то неведомым образом передали опыт ее предшественниц. Теперь Колосов был внимателен как никогда. Ведь нужно заметить момент отлета! Все три осы показались почти одновременно, поднялись на высоту около метра и стали кружить над площадкой (и круги все расширялись, пока спираль не развернулась в прямую, уводящую их к месту охоты). Колосов подсчитал, что они восемь раз облетели площадку, запоминая новые ориентиры.

К концу следующего дня, не дожидаясь неизбежной встречи дома, он связался с Гариным, который брал пробы грунта неподалеку.

— Попробуйте приучить ос к искусственным ориентирам, — посоветовал Гарин. — Расставьте их в виде геометрических фигур или рисунков.

— Рисунков? Вы думаете, они смогут разобраться в чертежах и рисунках?

— Почему бы нет?

— Обычно осы распознают лишь простые фигуры — окружности, эллипсы, треугольники... Я хотел попопро-

вать пересекающиеся окружности. По крайней мере, для начала.

— Пусть поработают над квадратурой круга, — серьезно сказал Гарин.

— Вечером сообщу результат, — в тон ему ответил Колосов.

— Хорошо, — сказал Гарин. — Домой вместе... Да, вот еще что... Поучите их читать.

Экран погас. Колосов скомкал белый пластмассовый листок и машинально сунул его в карман куртки. Он набрал пригоршню камешков и выложил их вокруг осиной норки в виде квадрата. Привыкнув к квадрату, оса безошибочно находила вход в свой дом. Она теперь ориентировалась по этому квадрату, и стоило его сместить, как начинались долгие поиски. Изменение формы давало тот же результат. Осы, ориентированные на квадрат, не признавали трапецию или треугольник. Ну и что, подумал Колосов, все правильно, земные осы тоже отличают треугольник от окружности.

Он рассыпал камешки и, машинально передвигая их, сложил слово «дом». В середине буквы «о» располагалась норка. Вдруг прилетела оса, искала, искала — и нашла гнездо. Колосов оставил надпись и стал наблюдать. В следующее свое возвращение оса сразу нырнула куда надо. «Читает? — подумал Колосов. — Да нет, ерунда, просто узнает букву-кружок. А если...»

Решение пришло внезапно. Он оставил надпись, но заменил овалы букв «д» и «о» ромбиками. Оса вернулась и безошибочно направилась к гнезду.

Колосов выложил надписи подлиннее: «осиный дом», «вход в дом», «норка». Осы «читали» независимо от характера написания букв. Более того, замена одной надписи другой не застала ни одну из ос врасплох, все они сразу находили лаз. Это было похоже на настоящее чтение. «Почему же раньше они шарахались в сторону

от треугольников и трапеций? Что случилось?» — подумал Колосов.

...Минуту спустя Гарин стоял рядом и с интересом читал надписи из камешков.

— Я вызывал вас, Валентин... Думал, что случилось... Где экран?

— Да я его... — замялся Колосов. — Вот...

Он достал экран из кармана, смятый и обесточенный.

— Домой! — скомандовал Гарин.

— Нет, — заупрямился Колосов. — Еще немного, я запутался.

— Тем более, — сказал Гарин.

— Как можно, Геннадий Александрович? Вы только посмотрите — они же читали эти надписи!

— Они узнавали их так же, как фигуры.

— Нет!.. — И Колосов рассказал о том, как он изменял написание букв и что из этого получилось.

— Любопытно, — сказал Гарин, — а что, если попробовать все сначала? Понятно, надеюсь, что мое предложение научить их читать было шуткой?

— Вот первый опыт: горка песка и прутик.

Колосов убрал камешки и воткнул прутик в насыпанную им горку песка.

Осы сразу нашли дорогу.

— Ну это, положим, память, — сказал Колосов. — Попробуем что-нибудь поновее, но из той же серии.

Он убрал с площадки все и выложил замысловатую фигуру из камней. Все осы нашли норки.

— Ничего не понимаю! — воскликнул Колосов. — Они должны быть сбиты с толку перестановкой.

— Кинокамера работала? — спросил Гарин.

Колосов кивнул, потом безнадежно махнул рукой, они сели в мягкие сиденья, и вездеход понес их через пески на станцию — домой.

Дорогой Гарин осторожно и с неподдельным интере-

сом выводывал его отношение к сюрпризам первых дней. Колосов старался не спешить с выводами.

Что он думает об осах? Ничего определенного сказать пока нельзя. А впрочем... Почему бы не поставить прямые опыты по определению интеллекта? Да, он не оговорился. Именно так. Быть может, фактов уже достаточно. Быть может, следует подождать. Ясно только, что все, что они делали до сих пор, порождает лишь новые и новые вопросы. Внешний вид может обманывать, повадки — тоже. Примеров тому сколько угодно даже на Земле. Да, это скорее всего мимикрия, подражание. Когда-то в детстве он учился отличать муху-журчалку от шмеля. Сделать это непросто. Журчалка пьет нектар длинным хоботком, перелетая с цветка на цветок, и по наряду, по боярской шубе, ее принимают за мохнатого шмеля. Только поймав муху, раскроешь обман: два крыла, трехчленистые короткие усики безошибочно расскажут родословную.

Зачем этот маскарад? Все дело в шмелином жале. Не всякая птица решится полакомиться, попробовав шмелиного яда. Безобидная муха, звеня прозрачными крыльями, и не подозревает, что есть на свете шмели и птицы, с первыми она вовсе не встречается, а с птицей если и встретится, то лишь в последний свой час. Но долгая история ее предков шла так, что окраска шмеля, окраска мухи и глаз птицы все же действовали друг на друга, никак не соприкасаясь.

Случись что с расцветкой роскошного шмелиного наряда — птицы истребят мух. Смени мухи свою одежду сами — судьба их будет решена. Исчезни птицы — через много поколений, наверное, не узнать мухи-журчалки: зачем ей теплая шуба в летний зной, в душный июльский вечер?

Конечно, это совсем простой пример. Не может ли стать, что осы подражают сознательно, целенаправленно? Не исключено, что на планете два рода ос. Один

из них — мимикрический, тогда другой предстоит найти. Те, другие, быть может, настоящие осы в обычном земном смысле.

Дома они внимательно изучали маленькие события на песчаном холме кадр за кадром. Удивляла резкая перемена, как-то вдруг к концу дня осы поумнели, что ли. Так разительно отличались они от ос утренних, старательно запоминавших самые простые ориентиры, считавших камешки в группах линий и геометрических фигурах, приводимых в смятение всякий раз при смене «осиных маяков».

Впрочем, Кавардин считал, что произошла какая-то ошибка, быть может, опыты поставлены некорректно, а вернее всего, сама методика порочна и дает осам ключ к отгадке, случайной, разумеется. Сварогин высказался за гипотезу «интеллект», хотя и очень осторожно (быть может, возымели действие слова Кавардина и его твердая позиция: интеллект невозможен!

Выслушав Сварогина, Гарин спросил, почему же утром осы вели себя иначе, почему первые кадры дают совсем иную картину и ни одного намека на осмысленность поведения.

— Нужно проверить еще раз, — твердо сказал Сварогин.

— А мне кажется, что осы поумнели навсегда, безвозвратно, если так можно сказать. Как вы думаете, Валентин? — Гарин пытливо взглянул на Колосова, словно действительно хотел решить занимавший его и всех вопрос большинством голосов.

— Согласен с вами, — просто сказал Колосов, — хотя ничего не понимаю. Так мне кажется, вот и все.

— Подумайте, — сказал Гарин и стал рассматривать один из камешков, захваченных им с холма.

— Да, да... — заговорил вдруг Колосов. — Они ведь могли... заметить, да?

— Допустим, — сказал Гарин, — допустим, что они заметили... Дальше.

— Они поняли, что над ними экспериментируют, — продолжал Колосов.

— Так, — кивнул Гарин. — Значит?..

— ...значит, перешли на естественные ориентиры, правильно?

— Конечно, — сказал Гарин. — Или научились читать.

— Позвольте, Геннадий Александрович, — встрепнулся Сварогин, — одно другого не исключает, скорее дополняет. Осы могли и заметить, что идет опыт, и научиться брести по складам. И то и другое сразу.

ПОЯВЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО

— Наверху, в нашей лаборатории, оставалась коробка с осаами, подарок физиков, — сказал поздно вечером Гарин как бы про себя, ни к кому не обращаясь.

— Ну так что? — спросил Кавардин.

— Пластмассовая коробка, прозрачная, с дырочками для дыхания, они очень заботливо все сделали и в день нашего приезда подарили, — продолжал Гарин уже громче, пристально всматриваясь в их лица. — Все видели?

— Видели, — откликнулся Колосов, — и не только видели. Мы же работали с ними. Записывали спектры. О чем вы, Геннадий Александрович?

— Да вот о чем: где она?

— Там же, в лаборатории.

— На полке?

— На полке.

— Увы...

— Это недоразумение, — сказал Кавардин, — я поднимусь посмотрю. Пойдем вместе, Валя!

Они вышли. Мягко закрылась дверь. Шаги на лестнице. Потом тишина. Едва слышно хлопнула дверца шкафа. Еще раз. Голосов слышно не было; но Гарин легко представил себе, о чем они там говорят. О коробке, которая вот-вот должна найтись. И не находилась... Сварогин спросил:

— Вы думаете, она пропала?

— Не знаю, — сказал Гарин, — не знаю, что и думать.

— Мы не могли ее потерять, — сказал с порога Кавардин. — Отыщется.

— Не уверен, совсем не уверен в этом, — словно размышляя вслух, пробормотал Гарин.

— Это так важно?

Гарин встретил настойчиво-вопросительный взгляд Кавардина.

— Важнее, чем можно представить.

— Не понимаю вас.

— Я тоже, — сказал Колосов.

Гарин повернул ручку приемника. На экране возникло лицо дежурного по орбитальной станции. Он приветливо обратился к Гарину:

— Добрый вечер, Геннадий Александрович.

— Добрый вечер, — откликнулся Гарин, — скажите, когда к нам ждать польскую группу биологов?

— Через две недели. После акклиматизации. Мы общались вам...

— Да, сообщали, — сказал Гарин, — спасибо.

Объемный экран померк, превратился в малозаметный листок, приколотый к стене обычной булавкой.

— Ну вот, — Гарин окинул взглядом коллег, — слышали: через две недели. Значит, кроме нас, здесь никого нет. Совсем никого. От полюса до экватора и от экватора до другого полюса. Ни души. А между тем... Пойдемте со мной.

Гарин пропустил вперед Кавардина, Колосова и Сва-

рогина, тщательно закрыл дверь, потом повел их вокруг дома к окнам, выходящим на южную сторону.

— Стоп, — тихо скомандовал он. — Вот здесь... Смотрите.

Над самым окном сиял факел кометы. В его призрачно-желтом свете они увидели в песке выемку, вмятину, и еще, поменьше, — они тянулись в пустыню неровным пунктиром: следы. Гарин шагнул, и все увидел, что длина его шага примерно такая же, как расстояние между отпечатками на песке: это были следы ног. Они начинались под самым окном.

Он обернулся. Их лица казались неподвижными, застывшими, как маски. Неосознанное чувство настороженности сковало его на мгновение, потом, уже улыбаясь, он показал другие следы, ведущие к дому.

— Это следы того, кто украл ос.

— Отсюда простой вывод, — сказал Кавардин, — нужно...

— Нет, только не здесь... — возразил Гарин. — Пойдем.

Они вернулись в дом.

— Нужно еще наловить ос, — закончил Кавардин свою мысль.

...У Сварогина не получилось хорошей коробки. Тогда он сделал остов из проволоки и обтянул его прозрачной пленкой, такой плотной, что осы ни за что не справились бы с ней, вздумай они вырваться на волю. Долго обсуждали, где подвесить это сооружение. Если за ним придут, то искать его долго не должны — мало ли случайностей, которые будут неожиданной помехой. Да и наблюдатели при этом подвергаются некоторому риску, несмотря на все меры предосторожности. Решили было оставить пакет с осами на видном месте — на втором этаже, где находилась исчезнувшая коробка. Но Кавардин возразил — место уже примечено, вызовет подозрения. Не лучше ли «перепрятать»? В конце кон-

цов сошлись на том, что приманку надо подкинуть на первый этаж, в общую комнату, а наблюдателям остаться на втором этаже. Окна открыть, держать наготове фотоаппараты и кинокамеру, оружие, рацию.

Двое по этому плану уходили в пустыню: во-первых, работа не ждала, во-вторых, прекращение обычной программы исследований, вероятно, вызвало бы настороженность. Двое занимали наблюдательные посты у окна. Кому-то пришлось в голову соорудить перископ, чтобы ничем не выдать своего присутствия.

На другой день вечером отловленных ос перевели в пакет. Рано утром Гарин лично проинструктировал Сварогина и Кавардина. Потом он уехал с Колосовым, но не так далеко, как обычно. Через полчаса узнал по радио, все ли в порядке, и приказал быть начеку. (Этот приказ был передан специальным кодом, в случае чего расшифровать его кому-нибудь постороннему было бы весьма трудно.)

Те, кого ожидали на станцию с визитом, предположительно обнаружили пропажу утром, причем по пустующим норкам (правда, это скорее походило на смутную догадку, чем на гипотезу, но так оно и оказалось по выяснении всех обстоятельств, много позже).

До полудня было тихо. Кавардин делал зарисовки пейзажей по памяти. Сварогин дежурил. Потом ему это тоже надоело. Он полистал томик стихов, написал письмо брату, которое с орбиты передали в эфир. (Для этого он вызвал оператора нейтринной установки корабля и еще несколько минут говорил с ним о новостях, не сказав, однако, ни слова о предполагаемом визите на станцию — ведь для этого пришлось бы запросить разрешение на работу кодом.)

Повинуясь неосознанному побуждению, Кавардин к полудню стал внимателен, словно предчувствуя неизбежность встречи.

Сварогин расположился у противоположного окна так, что извне был заметен, пожалуй, лишь патрубок перископа. И каждый раз перед ним маячило одно и то же: невысокие столовые горы незаметно переходили в дюны, в холмы с темными гребнями опаленной глины и пурпурными заплатами девственного кустарника. Сквозь караваны пылевых облаков, разрезая их спелящими лучами, прорывалось солнце. Края облаков то подрумянивались, то незаметно сливались с небом, то растворялись. И ясно очерченное облако вдруг переставало существовать, и на месте его выступало новое, почти живое существо небесного зверинца. По мере того как раскаленный шар подбирался к зениту, воздух обретал все большую текучесть и, дрожа, колыхался над песками.

Сварогин ощутил на своем плече осторожное прикосновение. Он поднял голову и увидел совсем рядом лицо Кавардина. Приложив палец к губам, тот показывал рукой чуть влево, туда, где горячие краски сверкали особенно ослепительно. Кавардин тотчас же присел, спрятавшись за подоконником, а Сварогин без труда увидел силуэт человека, стоявшего там, впереди, за окном, точно в раздумье. На нем была светлая одежда, на голове капюшон или накидка — она скрывала верхнюю часть лица. Сварогин поднял бинокль, но Кавардин крепко сжал его руку, бинокль упал. Кавардин мягко подхватил его и молча положил на пол. Блеск стекол выдал бы их.

Сварогин затаил дыхание. Человек сделал несколько шагов в их сторону, постоял, потом двинулся опять. Край капюшона, наверное, мешал ему смотреть, и он откинул материю. Его лицо, неподвижное и обветренное, тем не менее не казалось маской. Сварогин успел заметить морщины на просторном лбу, продолговатые глаза, сухие тонкие губы и уши, вылепленные как бы из фарфора.

Сварогин щелкнул затвором аппарата. Минуту спус-

тя он включил кинокамеру. Человек продолжал идти. Он даже не смотрел на окно. (Тут Кавардин мысленно отругал себя: окно следовало бы закрыть с самого начала — непростительная ошибка!)

Тем не менее все шло как надо. Тому, кто шел к дому, оставалось каких-нибудь десять метров. И тогда он поднял голову.

Он стоял и смотрел вверх, на окно. Захотелось крикнуть что-нибудь, или просто пойти ему навстречу, или заговорить с ним, облокотившись на подоконник. Кавардин и Сварогин угадывали его внимательный взгляд. Минута тишины и неподвижности. Ни шороха, ни движения. Даже дыхание — помеха. Прочь иллюзии. *НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ НЕ БЫЛО ЛЮДЕЙ.* Кроме членов экспедиции.

Слепящий свет солнца, висевшего у верхнего угла окна, резал глаза. Багровая грудa облаков, пронизанная пламенем, казалось, застыла, и ее края медленно расходились в стороны — невероятно слабое, едва заметное движение, какой-то мертвящий аккомпанемент происходящему...

И вдруг комариный писк, потом еще, громче. И тихий гудок, и слова. Рация! Пустота взорвалась. Рука нащупала провод, кнопку. Поздно. Снова тишина, но другая — уходящая. Человек за окном отдалялся. Они без опаски смотрели ему вслед. А он шел так же размеренно, иногда останавливаясь и замирая. И легкие его шаги уносили от него все дальше, как видение, как мираж, дом, к которому он только что шел, и людей, которых он не захотел увидеть.

— Мне кажется, он заметил фотоаппарат, — сказал Кавардин. — Впрочем, с такого расстояния мудро нечего не заметить.

— И вдобавок рация... — отозвался Сварогин. — Гарин не разрешил идти за ним, этого я не понимаю. Почему?

— Этого нельзя делать. Мы не знаем, мы не понимаем, — значит, не надо пока активности. В этом он прав. Однако никто не запрещал нам изучить след. Куда, к примеру, он ведет?

Они подождали, пока силуэт растаял. Связались с Гариным. «Все идет как надо, — сказал Гарин, — хорошо, что не было разговора, пока не надо, следы сфотографировать, если еще не засыпало, обработать пленки».

Но Кавардин увлекся, ему хотелось узнать как можно больше — и сразу. Они пошли по следу, и первый километр дался очень легко, потом они устали и присели отдохнуть. Рыжий кудлатый шар висел уже низко, над желтым горизонтом, и не линией был горизонт, а полосой, текучей полосой, где смешивались стихии неба и земли.

Следы окаймляла тень, ветра в этот предвечерний час не было, и Кавардину представлялось вполне естественным и даже необходимым, что вот они домыслили советы и указания Гарина и смогут узнать еще кое-что.

Еще один привал — и снова километр. Они пошли быстрее. Кавардин торопился: нужно успеть вернуться до заката, а сколько еще идти, кто знает? Вот тут у него и возникли подозрения самого общего свойства, даже трудно было выразить их. Задыхаясь, они шли, едва волоча ноги, но им чудилось, что вот-вот они догонят кого-то впереди, хотя не видно было знакомого силуэта. Он давно уже пропал, растаял, еще до того, как выбрались они из дома. А теперь вдруг на исходе дня след оборвался. Дальше зияла загадочная пустота, ровный всхолмленный песок, и ничего больше. Ни ямки, которую можно бы принять за припорошенный отпечаток, ни продолжений следов в окрестности сотни шагов.

— Ничего, — сказал Кавардин. — Придется вернуться, Валя. Пошли.

Промелькнул час-другой. Они уже подошли к дому. Кавардин думал о том, как это мог пропасть след, но пришел-таки к выводу, что это как раз не самое загадочное во всей истории. Следы можно присыпать песком. Сварогин устал, он умылся и прилег отдохнуть.

Кавардин почувствовал неладное. Он быстро поднялся на второй этаж. Все было в порядке, на месте была кинокамера, приборы, все остальное. «Ну конечно!» — вдруг встрепнулся Кавардин. Он опрометью бросился вниз. Пластмассовой ловушки с осами не было. Пакет висел на крючке. Сейчас крючок одиноко торчал из стены. Кавардин растолкал Сварогина, успевшего задремать. Вместе они кинулись на улицу. И увидели: от самой двери ведет в пустыню еще один след.

...Кавардин испытывал чувство неловкости, он сознавал, что поступок его и Сварогина иначе как мальчишеством не назовешь. Но Гарин был иного мнения. Он даже успокоил их. Разве легко предвидеть, встречаясь с необычным? Да и что, собственно, произошло? Осы исчезли? Но разве не для того они были пойманы, чтобы служить приманкой? Да, приманки нет, но ведь и рыба показалась. И они сели рассматривать фото.

— Представьте, ничего не пропало, все цело! — возбужденно восклицал Кавардин. — А ведь он знал, что его фотографировали, и видел, наверное, что за ним следили.

— Конечно, — отвечал Гарин. — Похоже, что он, или, лучше сказать, они придерживаются принципов, подобных нашим. Не исключено, что им тоже многое не ясно. Но согласитесь, такие безмолвные встречи заставляют думать о будущем и желать знакомства.

Утром на старом месте, там, где осы учились читать, все оставалось по-прежнему. Колосов присел на песок,

погрузил в него ладони и долго-долго слушал тонкое, пронзительное жужжание ос приземляющихся и гудение ос, размеренно шествующих по воздушным своим дорогам — от выжженных пастбищ к городу и обратно. Осиному городу трудно, ох как трудно выстоять в постоянной борьбе с суховеем. Что противопоставить крылатой крохе иссушающему шквалу? Разум, подумал Колосов. В этом, как ему казалось, трудно было сомневаться. И кажется, их кто-то охранял, заботился о них. А что за дивное место, где раскинулся осиный город! Нет лучше уголка во всей округе, потому что здесь всегда необъяснимое затишье и даже не так знойно, как всюду.

Колосов не особенно удивился, когда обнаружил в руке невесть откуда взявшийся листок с рисунком. Он подумал, что мог захватить его с песком или ветер подбросил его и прижал к ладони. Мельком взглянув на него, Колосов понял, что это портрет. Он внимательно и осторожно стал рассматривать его и вздрогнул от неожиданности — ему почудилось, что глаза на портрете живые и так же внимательно изучают его. Но нет! Это был рисунок, не больше. Зато выполнен он был мастерски, так что любое движение, любое прикосновение к листку бумаги заставляло портрет как бы оживать на короткое время.

В тот же день, к вечеру, Гарин сделал важный вывод: портрет не нарисован. Это было что-то вроде мозаики из крохотных кусочков сухих растений, вероятно, работа ос. Нетрудно было узнать того, кто был изображен осами-художницами. Гарину это даже казалось естественным. С фото и с портрета смотрело на них одно и то же лицо, разумеется, с той разницей, что фотография человека, украсившего ос, воссоздавала зеркально отраженный образ.

— Я думаю, они хотели этим сказать, — заметил Гарин, — что мы зря фотографировали его в тот день.

Если нам нужен портрет на память или для других целей, то не стоило нам трудиться. Они дарят нам его. Это, пожалуй, очень похоже на ненавязчивую попытку к установлению контакта с нами.

— Или на попытку покончить с контактами, — возразил Кавардин.

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

Как это часто бывает, события тех немногих дней скоро были отодвинуты на второй план: близился уж конец последнего этапа исследований, и Гарин работал допоздна, наверстывая упущенное. Вместе с ним другие члены экспедиции (а к ним присоединились еще поляки) отбирали и готовили к отправке материалы, альбомы, экспонаты. Тут уж было не до опытов и гипотез. История эта дожидалась продолжения. С этим все, пожалуй, были согласны.

Нет труднее задачи, чем провести всестороннее изучение планеты, и несколько недель работы казались маленьким эпизодом на долгом, многолетнем пути.

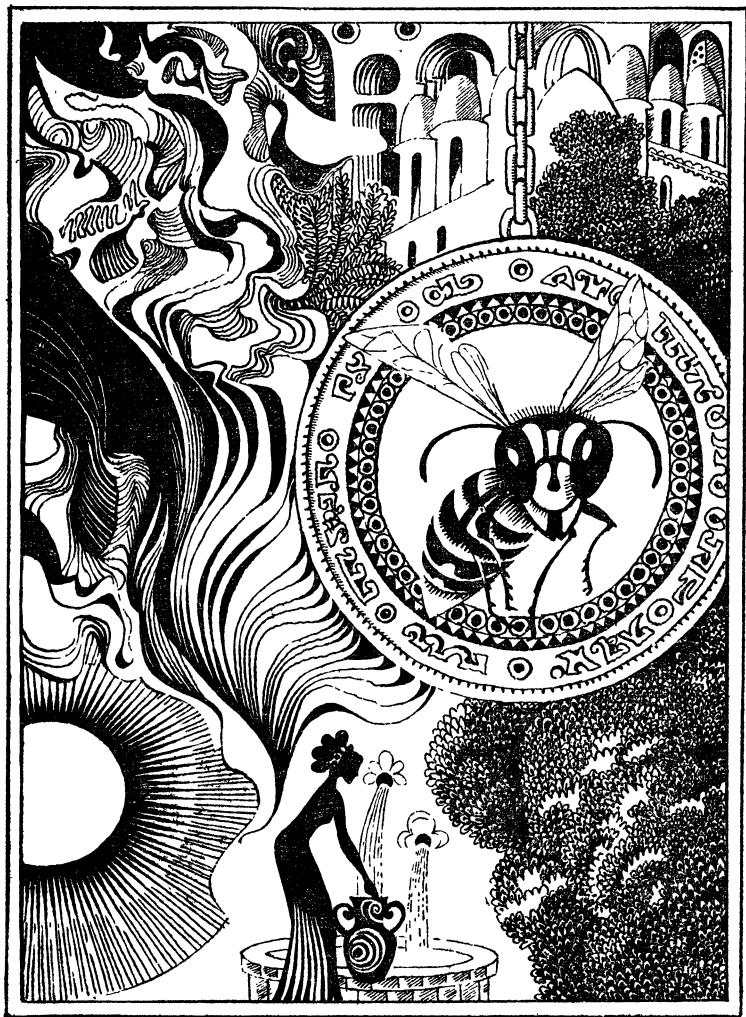
Другим, возможно, повезло больше. Экспедиция Ольховского пять лет спустя нашла под пустыней настоящие города. Самый древний и самый прекрасный из городов, как каменный белоснежный остров, когда-то возвышался над песками. Его мощенные улицы непостижимым образом соединяли в себе самые разные по стилю постройки — и хижины и дворцы. Их геометрически правильные линии тянулись на километры, а под улицами прятались каменные трубы-водоводы. На площадях этого солнечного города высились не храмы и не статуи богов и героев, а колодцы, выложенные звонкой красной керамикой и черными блестящими камнями, отшлифованными, как зеркало. В полированные грани этих камней, быть может, по утрам смотрелись девушки с высокими кувшинами на плечах, красной керамики

касались их ноги и монеты, брошенные нищим, а капли воды, падавшие с кувшинов, в жаркие дни шипели и испарялись, едва коснувшись красных плиток.

Три шахтных колодца необычайной глубины подавали воду в бассейн, где могли выкупаться путники, достигшие гостеприимных пределов города. Из этого же бассейна нагретая солнцем вода подавалась в висячие сады, превосходившие знаменитые сады Семирамиды.

Исполинское водохранилище недалеко от города было подобно озеру, от него струились искусственные ручьи, питавшие поля. Но там, где кончалось царство воды, начиналось царство смерти — песок, песок, песок, миражи под палящим небом да облака багровой пыли,

Но колодцы и каналы чаще всего питались водой, «выпотевающей» из горных пород. Вода то и дело пропадала, ключи иссякали, колодцы мелели. Ольховский разыскал множество древних каналов и показал, что с помощью красящих веществ, меченых рыб и совсем особых поплавков здешние мудрецы выясняли подземные пути невидимых речек и озер. Позже они poznali свойства воды легкой и воды тяжелой, секреты растворов и перегретого пара. Над поздними городами возносились уже водонапорные башни, чуть позже сложные конденсаторы, казалось, навсегда решили проблему. Но самих городов осталось очень мало, и они скорее напоминали уже не многолюдные торговые центры, а исследовательские станции, где велась постоянная борьба с пустыней. Они пытались вызывать искусственные дожди, но влаги в атмосфере было слишком мало. Драгоценнейшее вещество вода постепенно, капля за каплей, облачко за облачком рассеивалась в пространстве, уносила она и в космос, но самое страшное заключалось в том, что свойства ее менялись со временем. Легчайший из изотопов водорода, протий, исчезал, жгучие лучи выносили его молекулы из атмосферы, невесомый пар, начало всякой жизни, ее основа, таял и растворял-



ся в черных пустотах. Оставалась тяжелая вода, постепенно убивавшая жизнь.

Те, кто отдавал планету пустыне, не могли смириться с этим. Да, они отступили. Но не исчезли. Любой ценой стремились они остаться там и готовы были ради этого на многое. Мужество и вера не покинули их. Раскопки, выполненные Ольховским, это подтверждали.

Как же должны были они поступить? Что предпринять в безнадежной, казалось бы, ситуации? От них не требовался немедленный ответ. Пустыня веками ревела голосами звериных стай и диких птиц, искавших прибежища у человеческого жилища, и песчаные смерчи тысячелетиями стучали в их окна. Нашли ли они к тому времени другие планеты, готовые дать им кров и пищу? А если нет? Или горячие смерчи раскидали ракеты, занесли их песками, утопили в безбрежном оранжевом океане, откуда уж не дано им никогда взлететь, унести к синей чаше небес, к иным мирам, мирам грез и надежд?

И вдруг они, казалось, нашли... Наверное, в их лабораториях еще работали, еще надеялись, и когда столбасно пела вверх пустыня, их мудрецы, шепча молитвы или, быть может, стихи, искали последние пути к отступлению. И это был рывок к свету и жизни, к любви, навстречу суровому будущему, дарившему им так мало.

Позднейшие слои хранили остатки цивилизации, поднявшейся до уровня изощреннейших технических средств. Вода улавливалась по молекуле, по капле, давая начало скудному фонтанчику, питавшему всех, кто жил в окрестности.

Необыкновенные машины, назначение которых не удалось установить... аппараты, напоминающие ракеты... кварцевые сосуды, наполненные зеленым песком, который они добывали в шахтах... у них был выход в сопряженное пространство. Атомы зеленых песчинок, точно гвозди, скрепляют его с нашими мирами, и это мост, по ко-

торому все сущее перешло бы туда, перетекло, как ручей, повинувшись вещему гласу открытой на исходе их дней истины.

Сквозь мельчайшее сито атомов они, вероятно, рассмотрели голубые просторы новых земель, сначала, как водится, картина была смутной и расплывчатой, но день ото дня все отчетливее вырисовывались берега далеких рек, озаренные сиянием вечной весны и лучами крутых радуг.

Точно птицы, окованные прутьями клеток, видели они безбрежность этих далей и стремились к ним. Мир, сокрытый до поры до времени, потаенный мир за семью печатями, открылся вдруг. Он был рядом. На том же месте. Та же пустыня — его вместилище. Для непосвященного он невидим и неосязаем, как будто нерукотворная стена отделяет его, и пробиться сквозь нее им не дано.

И это-то волшебное путешествие было им уже не по силам. Слишком поздно было открыто само сопряженное пространство, и слишком мало времени оставалось на то, чтобы найти надежный способ перебраться туда.

Оценка численности обитателей планеты, произведенная сотрудниками Ольховского для этого периода, дала странный результат: всего около двух тысяч или чуть больше. Впрочем, и это казалось чудом, их могло быть и много меньше. И вот в верхних горизонтах вдруг исчезает тяга к воде. Словно они отчаялись в своих поисках. Все меньше аппаратов синтетической воды. За целое столетие — ни одной новой конструкции. Да, они уходили в небытие, они вынуждены были это делать. Быть может, это было похоже на ожидание, на ту невыразимую тревогу, что рождается, когда океан готов послать последний вал на клочок земной суши, и вот уж видна вдали прозрачная голубая стена воды, отвесно уходящая вверх, к самому небу, и страшное без-

молвие воцаряется, и стынет кровь в жилах. И где-то среди земного многоводья, среди тишины, среди тропической зелени атолла вдруг, как позывные беды — динь-динь! — ударили по листьям капли воды, невесть откуда взявшейся, — крохотный водопад, исторгнутый из недр под напором далекой волны, украшенной сияющей серебряной короной... Быть может, это похоже было на тонущий земной корабль, когда тихо журчит сразу во множестве трюмов вода, принявшая обличье живых, дышащих, переливающихся струй, ласкающих переборки и шпангоуты... Быть может, лишь все земные океаны вместе могут дать представление о смерти от безводья.

Как они уходили?.. Да они готовы были, наверное, тысячу раз превратиться в призраков, чтобы дух их витал над старыми стенами умиравших городов, лишь бы остаться. Они цеплялись за каждую расселину, хранившую зелень и остатки влаги, лишь бы на один год, на один день отсрочить расставание... или продлить жизнь. Любая самая суровая планета может служить недолгим пристанищем оснащенной ракеты и ее экипажа, но жизнь, долгая жизнь горстки людей — разве она возможна, разве она уцелеть ей?

В самом последнем культурном слое, на глубине всего двадцати метров от поверхности, Ольховский нашел медали с изображением ос. Что это? Поэтический символ, обобщение? Или в этом кроется мысль, ведущая к горизонтам грядущего, к последней надежде?

Фактов было ровно столько, чтобы угадать за ними призрачную канву одной из волшебных сказок, в которой царевна или, быть может, принцесса обернулась белым лебедем или лягушкой, и сила поэтического вымысла, заключенного в канонические формы сказки, была такова, что Ольховский искал подтверждения и доказательства.

Он пробовал отвлечься от полусказочных гипотез и иллюзорных представлений, овладевших им, но не на-

ходил решения ни в какой другой плоскости, словно всем поискам суждено было приводить его к заколдованной двери, за которой начиналось волшебство.

...И вот долго сдерживаемые пески похоронили развалины, погребли усопших, возвысившись над ними курганами. Остались осы. Планета смирила нрав, ветры становились тише год от года, и осы, кропотливые осы, построили свой первый город, великолепный город, в котором насчитывались тысячи норок — осиных домов.

ДВА ПОРТРЕТА

Неожиданные открытия Ларионова сорвали завесу времени и впервые позволили оценить глубину представлений тех, кто тысячелетиями отступал под натиском стихии. Явившиеся многоцветной россыпью каких-то сказочных жучков, птичьих перьев, узорчатых листьев, их письмена казались заколдованными навеки. Даже просто описать каждую металлическую табличку или каменную плиту, покрытую цветными знаками, было сложно, это граничило, пожалуй, с научным подвигом. Что же оставалось делать тем, кто хотел докопаться до смысла начертанного, возвыситься до понимания откровений, зашифрованных столь необычным способом?

И вот никому доселе не известный сорокалетний ученый вдруг находит ключ к разгадке. Нет, он не мог еще читать все тексты, да на это не могли бы рассчитывать и многие поколения графологов. В это попросту никто не поверил бы, потому что на Земле оставались непрочитанные строки, куда более незамысловатые, на Фестском диске, например. Но Ларионов смог разобрать короткие надписи последнего периода, выбитые на «осиных» медалях. Способ их чтения был найден, наверное, случайно. Иначе как можно объяснить, что Ларионов до-

гадался построить оптическую систему, переводившую голограммы в буквы и строки. Да, они пользовались голограммами, этим объемным шифром для записи мыслей, потому что вопрос о копировании оригиналов решался небывало просто: самый маленький кусочек записи хранил полный текст. Ведь любой участок голограммы содержит все, что на ней записано. И конечно, у них были свои способы быстрого чтения голограмм: стоило лишь взглянуть один раз на любую группу значков; один раз посмотреть на табличку, даже не окинув ее всю взглядом, — и становился понятным смысл всей записи.

Полученные Ларионовым буквы и слова оставалось прочесть. И хотя смысл многих и многих страниц ускользал, самые простые строки, расшифрованные им, рассказали о многом.

Гарин интересовался чаще всего лишь теми надписями, которые имели непосредственное отношение к изображениям ос. Работы Ларионова последних лет заставили его вновь вспомнить многое из того, что довелось когда-то видеть ему и его друзьям. Случайно наткнувшись на статьи Ларионова, Гарин написал ему письмо (Ларионов работал в Киеве). И получил подробный ответ. С поразительной заботливостью и щедростью Ларионов предоставил ему тексты надписей, расшифрованных им. Более того, он прислал ему варианты прочтения других текстов, исследование которых еще не закончилось. На одной из медалей был выбит параллельно с голографическим и обычный текст. Рядом с изображением осы можно было прочесть, пользуясь алфавитом Ларионова: «Они будут знать то, что знаем мы». И ниже: «Мы узнаем о многом от них».

О ком шла речь, гадал Гарин, об осах?.. И он снова написал Ларионову. Тот ответил буквально следующее:

«Вопрос непростой, но я надеюсь на вашу снисхо-

дительность, ведь аргументов в пользу моей точки зрения пока недостаточно. Думаю, что надписи адресованы нам, речь же в них идет действительно об осях. Излишне напоминать вам о тех незаурядных возможностях, которые подарены им природой. Опубликованные Вами и Вашими сотрудниками статьи достаточно красноречивы, однако воспользоваться теми материалами экспедиции, которые попали в архив, мне не удалось. Хотелось бы надеяться на Вашу помощь. Особенно хотелось бы ознакомиться с фотоснимками и фильмами.

Нам трудно представить сейчас масштабы трагедии, в результате которой практически погибла цивилизация, не успевшая найти выхода. И все-таки кое-что они сделали. Я чувствую, что напал на важный след. Как это получилось — вопрос совсем особый. Нужно представить безвыходность ситуации, чтобы оценить в полной мере то, что им удалось. Пожалуй, ясно, что сохранить, законсервировать, если так можно сказать, идеи, достижения многих отраслей науки можно с помощью электронных машин. Но кому оставить эти «консервы»? А мысль, живая мысль, ищущая и переменчивая, как снежная лавина или облако, — как быть с ней? Компьютер тут не поможет. А гибель живой творческой мысли — это подлинная трагедия, это гибель цивилизации, гибель окончательная. И они стали искать способы перешагнуть через вечность, через небытие. Именно так стоял перед ними вопрос, ничего для них самих сделать уже было нельзя.

Они должны были выбрать форму жизни, сравнительно простую и, главное, такую, которая могла бы выдержать испытания, была бы неприхотлива. В то же самое время она должна была быть достаточно сложной и подходить для их целей. Намеревались же они ни много ни мало наделить эту иную для них жизнь разумом. Своим, конечно, разумом или его моделью, бо-

лее или менее точной. Их выбор пал на ос, так как не было на планете иных существ, более подходивших для этого. Осы в силу общественного характера их поведения могли бы отчасти скомпенсировать свое положение на эволюционной лестнице. И они, по-видимому, передали им разум, а может быть, и свои достижения — это покажет будущее. Глубоко убежден, кроме того, что они предвидели посещение планеты себе подобными.

Эта самая спорная часть моих предположений, быть может, наиболее уязвима для критики. Но я безоговорочно убежден... для меня это факт (за неимением места и времени, а также по другим, вероятно, более важным соображениям я не могу останавливаться на этом подробно). Вы спросите, как они могли осуществить столь грандиозную программу. Я отвечаю: не знаю, хотя о многом догадываюсь. Со временем мне все яснее становится чисто техническая сторона дела. Кажется, они пришли в конце концов к тому, чтобы материализовать на планете носителя разума, во всем подобного им самим или прибывшим туда, то есть вам. Эту задачу они поручили осам. Именно они способны были отобрать из неприкосновенных запасов, хранившихся бог весть где, нужный набор и молекула к молекуле сложить живое... В программу входила и передача мысли, хотя бы частичная, и знаний, как я убеждаюсь, не в форме готовых сведений, а с каким-то неуловимым ключом, открывающим двери, ведущие в страну познаний их истории, их культуры, — как-то исподволь, в процессе активной работы...

Ваша экспедиция была успешна, с моей точки зрения, именно потому, что положила начало контактам. Тот человек, охранявший ос, должен был появиться. Сами осы были беспомощны, без него вы могли бы нечаянно уничтожить их, не желая того. Но и человек, появившийся там незадолго до этого, был сначала не только

беспомощен, но и само его рождение могло состояться лишь при участии ос, многие тысячелетия, поколение за поколением, ждавших того дня, когда придет время действовать. Итак, контакты начались, помните об этом. Мне кажется, пришло время сказать об этом открыто».

Это письмо не удивило Гарина. Ларионов, по его представлениям, был кабинетным ученым, к тому же молодым и, наверное, увлекающимся ученым. Он попытался представить его себе, и у него сложился довольно стереотипный образ рассеянного молодого человека в очках. Тем не менее он сообщил содержание письма Колосову (Кавардин и Сварогин были в длительной командировке) и послал Ларионову еще одно письмо, разъясняющее всю ошибочность его, Ларионова, представлений.

Гарин многое забыл из того, что было так давно, но ясно помнил факты, относящиеся к осам, и считал, что если осы занимались бы чем-то еще, кроме постройки гнезд и выкармливания личинок, то это не ускользнуло бы от его коллег. Колосов был согласен с Гариным. Что из того, что осы наделены до некоторой степени разумом? Портрет на осиной бумаге? Действительно; любопытно... Находка для архива или космического музея (кажется, именно там он и пребывал в настоящее время). Человек на планете? Станный факт, действительно. Но никто еще не дал разумного объяснения этому феномену. (Наверное, явление, сходное с миражем.) Сходство осиного портрета и оригинала? Если осы разумны, то и они наблюдали мираж. Пытались запечатлеть.

Цепочка отрицаний была незыблема. Во всяком случае, Гарин старался вызвать в молодом ученом сомнения относительно его экстравагантных построений, изложенных достаточно безапелляционно. Что такое тот говорит?.. Что разум в человеке, созданном осами, про-

сыпается постепенно? Развертывается по какой-то программе? Но почему все-таки не начать с диалога?

Гарин получил ответ быстрее, чем ожидал. Реакция Ларионова была молниеносной. Он объяснился лишь по вопросу о диалоге, который должен был состояться с тем человеком на планете. По его мнению, такой диалог нельзя начинать сразу, не узнав, с кем имеешь дело. Разве Гарину не известно это простое правило, или он считает тех, кто когда-то создал цивилизацию в инопланетной пустыне, а потом нашел способ перешагнуть вечность, не столь же дальновидными? Это была уже полемика. И полемика не по правилам, подумал Гарин, прочитав письмо. «Приезжайте, убедитесь сами» — так звучало приглашение Ларионова к продолжению обмена мнениями.

«А почему бы нет, — подумал Гарин, — почему бы не встретиться и не поговорить об осях? О дальнейшей судьбе сокровищ планеты, наконец?»

Приглашение было принято. Через три дня Гарин и Колосов вылетели из Москвы, а еще через несколько минут были в Киеве. На тихой улице, среди старых тополей, они нашли дом, где жил их оппонент и наверняка работал долгими летними вечерами.

Летнее желто-голубое небо уже тускнело, и сквозь него проступала синева. Над крышей старинного дома носились стрижи, и свист их наполнял воздух едва слышной пульсацией, точно сквозь него проскакивали невидимые искры или электрические разряды.

Они прошли в дом по пустынному дворику. На дверях квартиры Ларионова была приколотая записка, сообщавшая, что хозяин будет через полчаса. Быть может, он их не ждал сегодня. Но дверь оказалась незапертой. Они прошли внутрь и устроились в удобных креслах. Среди разбросанных на столе рукописей выделялись несколько красочных рисунков и цветных фото-

графий. Пески, дюны, багровые небеса, осы. Человек. Гарин узнал его сразу и неуклюже потянул к себе, так что стопка листов, лежавших сверху, рассыпалась. На фоне безжизненных, залитых горячим светом дюн шагал тот самый человек... «Посмотри», — прошептал Гарин, протягивая акварель Колосову. Что-то в этом рисунке смутило и удивило его.

На соседнем столике у окна он заметил краски, кисти, незаконченную работу Ларионова. И еще портрет, казалось, тот же самый, какой когда-то подарили им осы. И лицо человека на ларионовской акварели было выполнено точно так же, как и на осином портрете, — в полупрофиль, и оттого акварель так живо вызывала в памяти дни на планете песков.

В прихожей раздалась размеренные, неторопливые шаги. Гарин смотрел на Колосова и успел поймать краем глаза подпись под акварелью, но смысл ее еще не дошел до его сознания.

На пороге кабинета появился хозяин.

— «Автопортрет», — машинально прочитал Колосов подпись под акварелью и медленно поднял голову.

— Я вас ждал, — сказал Ларионов.

КРЫЛАТОЕ УТРО

ВСТРЕЧА

Выплывая из пространства, не знающего измерений, Корабль сиял, точно комета. Бег новоявленного светила по своду небесному казался тогда не столь уж стремительным, хотя ни одна звезда не мчалась по столь головокружительной орбите.

С роем астероидов проплывал он мимо планет, приближался к ним и снова удалялся, купаясь в утренних зорях бесчисленных солнц, которые перевоплощались затем в белые пылинки. Кометные хвосты служили ему маяками при стремительных прыжках на планеты. Потом Корабль исчезал, ныряя подобно дельфину, и, уже невидимый, мгновенно переносился в новые края. И тогда он был похож на пчелу, возникавшую вдруг из венчика звездного цветка. После каждого витка в его просторных вместилищах оставались частички другой жизни, собираемые столь бережно, что это, бесспорно, еще больше роднило его с пчелой, охотящейся за нектаром. Так составлялась коллекция космического музея Корабля: его экспонаты предназначались для планетной системы двойной звезды в соседнем с нами секторе Галактики.

В круглом зале на стереозэкране можно было увидеть все богатства, собранные за долгие годы. Оценить их по достоинству могли только посвященные. Один шанс из миллиона за то, что будущим разведчикам звездного океана удастся хотя бы сфотографировать космического дракона, чешуйчатые крылья которого ловят лучи, как паруса — ветер. Но в святая святых корабля — в его хранилище, — прикрыв горячие огни глаз тяжелыми бронзовыми веками, спокойно дремала эта живая космическая редкость, которую не спутаешь ни с кем и ни с чем другим даже на обычном цветном фото. И бабочка

Кэрмнис, что подолгу греется у зеленых звезд, прежде чем вылететь в просторы вечной ночи, тоже ожидала здесь конца путешествия.

Они были подлинными двойниками эфемерных существ, встреча с которыми столь редка. Ни одну жизнь нельзя оборвать, любой уголок вселенной был заповедным, и каждый член экипажа, надевая скафандр охотника или исследователя, запасался терпением. И охота эта совсем особая, непохожая на древний промысел, скорее в ней есть что-то от спорта: невидимый луч анализатора переписывает в электронную память форму и цвет, поштучно нащупывая молекулы. Электронный портрет — посредник между оригиналом и копией-двойником. Его потом уничтожают, освобождая ячейки памяти для нового экспоната.

Ждали ли они иных встреч? Теоретически — да. Однако феномен разума столь редок и столь странен, что встречи с ним были скорее исключением, чем правилом, и каждая встреча была особенной и неповторимой.

А знание приходило к ним многими путями. Истина открывалась порой как бы исподволь, мириады электрических муравьев, дружно взявшись за работу, складывали вдруг великолепные узоры, которые читались как страницы книг или редкой рукописи.

Через несколько минут после приземления Эрто знал то же, что знают многие из живущих на Земле: сколько времени длится земной год и как рождаются реки, почему зима приходит на смену осени, а потом быстрая легкокрылая весна предваряет летний зной, запахи скошенной травы и жемчуга колосьев, почему веют ветры, как глубок океан, какая сила рассыпала в его просторах ожерелья островов и почему дышат вулканы.

Перед ним раскинулась широкая поляна, окаймленная синим гребнем леса и голубыми столбами воздуха меж облаков. Высоко-высоко над головой говорила о

чем-то с пролетающими облаками береза, и одна из ее кос дотянулась почти до земли. Растаял порыв ветра — пришла тишина. Вдруг шмель прогудел лениво и, задев травинки, унесся в зеленую неизвестность.

И вот здесь, прислонившись к теплому стволу, можно было увидеть и понять то, о чем молчали электронные анализаторы корабля, с величайшей чуткостью воспринимавшие всплески радиоволн, равно внимательные к биосигналам и магнитным аномалиям.

Черно-белый снимок, запечатлевший здешний пейзаж, наводил бы на мысль о фототрюке, который можно проделать, не пускаясь в столь дальнее путешествие. Почти все здесь напоминало о прошлом и далеком, и, как казалось, неповторимом. Лишь деревья на Земле были стройнее, листва светлее, травы мягче и лепестки цветов легче и тоньше — они прилипали к пальцам, оставляя душистые влажные следы.

Это заставляло насторожиться: два мира, разделенные многими парсеками и столь схожие друг с другом, — возможно ли? Не окажется ли все увиденное миражем, иллюзией, когда мысль найдет, нащупает то глубинное, что недоступно пока глазу?

В пяти-шести километрах отсюда (примерно час ходьбы) раскинулся город. Эрто знал, как выглядят прохожие на улицах. Они были такими же, как он. И снова вопрос. А память услужливо подсказывала что-то о единстве разума, о витках времени, повторяющих, развертывающих события, точно кадры разных фильмов, снятых по одному сценарию. Сегодня они покинули Корабль.

Вэлта должна основать исследовательскую станцию где-то здесь, недалеко от города. Через несколько дней она переберется на новое место, потом исколесит немало дорог, прежде чем станет ясно, в каких отношениях с природой, с планетой находится все живущее. Гаяк, наверное, все еще летел на дископлане над безлюдной пу-

стынной частью континента, и невидимые лучи рассказывали ему о сокровищах, скрытых земной корой. Позже он вернется к крохотным радиомаякам, им же поставленным, сфотографирует и запишет все интересное, соберет образцы для музея. Эрто шел в город. Впрочем, он мог бы подъехать и на машине, но тогда ему пришлось бы решать проблему стоянки, потому что распыление машины, причем мгновенное, не оставляющее следов, точно так же как и ликвидация любого другого предмета таких же размеров, требовало энергии, и немалой. А оптический экран не решал проблемы полностью.

Стекляшка в теллуровой оправе — электронное око крохотного прибора, почти невесомого, — показывала стремительные перспективы городских улиц и аллей, проспектов, переулков и набережных. Это была космическая явь. Воображение подсказало, как рос этот город, как волна за волной набегавшие события изменяли его древний лик и как все дальше отодвигалась в памяти людской последняя война.

У ног Эрто воробьиная ватага шумливо суежилась в ветоши спутанной травы. Костры деревьев возносили к послуенному небу языки зеленого трепетного пламени. На другом краю поляны, под гребнем леса, где тени спустились узкой полосой и накрыли кустарник, своей быстрой походкой шла Вэлта и срывала на ходу стебельки.

— Вэлта! — крикнул он.

— ...элта! — донесло эхо.

Ни звука больше. Вспорхнули воробьи и стремительно унеслись в голубую чащу березовых стволов. Он пошел наперерез Вэлте, через поляну, и возникла простая мысль, что очень хорошо, если они будут работать рядом и смогут видеть друг друга, но только почему он не знал

этого раньше? Он побежал, забыв на несколько мгновений все то, что он безусловно должен был знать. Вэлта даже не повернулась. Остановившись, он с изумлением наблюдал, как ее рука потянулась за цветком. Почти сорвавшееся с его губ имя как бы застыло в воздухе на втором слоге, во всяком случае, девушка, наверное, не расслышала его полностью. Она подняла голову, глаза точно приоткрыли родившееся вдруг любопытство, потом в них сверкнула плохо скрытая улыбка, глаза засветились — и погасли. Через секунду девушка уже шла по тропинке, опустив руки. Медлительные длинные пальцы, взметнувшиеся вверх — к щекам, к волосам, — те же, Вэлтины. И две каштановые волны волос над стройной шеей, и линии лица, и, конечно, глаза, но взгляд другой, он непостижимо соответствовал зеленому простору за ее плечами и светлой бронзе рук. Он проверил: включил канал и увидел Вэлту.

— Что случилось?

Ее голос звучал как бы издалека, а лицо было рядом, точно их не разделяли километры. Он молча разглядывал ее, словно пытался увидеть в ней нечто, ранее недоступное для него и скрытое от всех. Пуговица-экран помутнела, покрывшись какой-то электромагнитной плесенью. Между ними шумела над неведомой землей гроза.

— Вэлта, гроза...

— Да, я знаю, это у нас. Что с тобой?

— Ничего. Просто захотелось тебя увидеть.

— Но мы расстались только что, двух часов не прошло!

— Разве?

Ему казалось сейчас, что он когда-то переживал это мгновение, вслушивался в ее голос, видел ее лицо на экране, — и в то же время твердо знал, что этого не было. Если мерить земной мерой, ему было двадцать, Вэлте чуть больше. Они давно знали друг друга, иначе

не быть бы им вместе на Корабле, а вот теперь, с сегодняшнего дня, — на далекой, но, казалось, знакомой планете.

— Я встретил девушку, очень похожую на тебя. Здесь, только что.

— А, вот оно что... — Вэлта улыбнулась, — И ты думал...

— Сходство поразительно, я назвал ее вслух твоим именем.

— И что же?

— Она даже не обернулась. Ушла.

— А у меня пока ничего интересного. Но работы будет много.

Голос Вэлты растаял. Экран погас. Первый разговор после приземления кончился буднично (она даже не попрощалась) — так же как сотни разговоров на Корабле, когда их отделяло друг от друга всего несколько метров.

Мистика! Он помнил о Вэлте постоянно, представлял, что она скажет по поводу того или иного его поступка (или поступка других). Но не более. И другая девушка, лишь похожая на нее, но у которой не могло быть ничего от Вэлты, кроме внешнего сходства, вдруг заняла в его мыслях едва ли не большее место. Нет, не было никакого ореола. И в то же время не было сомнений: несколько слов, произнесенных ей на этом чужом пока языке, и движение выпуклых губ, с которых слетали певучие мягкие звуки, заставляли его снова и снова воскрешать чуть скуластое лицо, витающее в россыпи солнечных бликов. Удивительно краток был путь от лесных синих колокольчиков и алых гвоздик, пригретых в ее ладонях, к сердцу.

...Однажды они долго говорили, и он, кажется, подавшись какой-то иллюзии, необъяснимому минутному порыву, чуть было не рассказал девушке все. Он произнес уже несколько приготовленных фраз с космосе, о

том, что в иных сказках больше правды, чем выдумки, о том, что всегда нужно быть готовым к встрече с неизвестным («ведь это интересно, правда?»). Девушка слушала его внимательно, ему оставалось перекинуть последний мостик от абстракции к действительности, и вот тогда он почувствовал, что не в силах этого сделать. Он боялся. Много позже он даже удивлялся, как это он вдруг так осмелел. И что бы она подумала о нем? Никто не запретил бы ему открыть истину, потому что право на этот шаг оставалось за ним. И если было нужно... или если лишь казалось, что так нужно...

Девушка ни за что не поверила бы. Как не поверили бы многие. Более того, их отношениям, возможно, пришел бы конец. Кто не вправе возмутиться, когда чистый вымысел настойчиво выдают за правду? Он решил: позже. Возникла неожиданная потребность говорить только правду, не маскируя ее даже молчанием. Но сейчас он был бессилён. Через месяц, думал он, только не сейчас, быть может, через год («если только когда-нибудь она скажет: ты непохож на других!..»).

Пока же она соразмеряла его поступки со своими и не могла открыть того, что было сокрыто за семью печатями. Ему даже нравилось смотреть на мир ее глазами. Составляя картотеки и отчеты для Корабля, он оценивал события, книги, все, что создавалось человеческой цивилизацией, с точки зрения усвоенных им критериев, профессионально, в разговоре же с ней он мог просто пересказывать все смешное из тех же книг, вышучивать и манеру автора, и попытки объективно разобратся в пирамидах томов и фолиантов, вершины которых продолжали угрожающе быстро возноситься к небесам. Эти две линии почти не пересекались друг с другом и не противоречили друг другу, и это его забавляло.

И все это случилось потому, что тогда, в первый день, он разыскал ее. Утопая в траве на той самой поляне, где

так легко прошла она, проскользнув, точно видение, Эрто водил лучом вдоль дорог и тропинок, пока не нашел ее. Это было уже после разговора с Вэлтой. В теллуровой рамке, на желтоватом янтарном стекле вдруг возникла знакомая фигурка. Она не знала, конечно, что за ней наблюдают. У городской черты она остановилась. Вечер гасил краски, и лишь далеко у горизонта вздымалось море заката, светившее холодными огнями. Она дождалась автобуса. Он проводил ее до самого дома и решил, что устроится неподалеку. «Валентина!» — произнес он утром вслух ее имя. Мир за окном был прозрачен, светел и звонок.

Эрто поселился в квартире профессора (хозяин чаще всего был занят на работе, на конференциях, в редакциях и еще бог весть где). В одной из трех комнат он поставил перегородку с помощью сканирующего проектора дельта-волн, так что она воспринималась как подлинная, реальная перегородка и была тверда на ощупь, точно стена. Чтобы профессор не заметил переустройства своей квартиры. Эрто чуть сократил размеры других комнат, передвинув временно стены, так что убыль в несколько квадратных метров равномерно распределлась по всей площади комнат и была на глаз незаметна.

Как-то профессор застал его в библиотеке. Эрто разговаривал по телефону с Валентиной и прослушал шаги в коридоре, обычно служившие естественным предупреждением. На мгновение профессор застыл, словно пытаясь припомнить что-то важное. Эрто поставил экран, потом сообразил, что уже поздно, профессор его видел. Решение нашлось моментально. Вполголоса попрощавшись с Валентиной, Эрто обесточил электрическую сеть (микрогенератор навел в проводниках токи противоположного направления, которые погасили напряжение). В полутьме он вскочил на стул, на минуту осветил квартиру, опять погасил свет и, наконец, при полном сиянии

люстр, профессорских бра, настольных ламп и прочих светильников торжественно провозгласил:

— Готово, товарищ профессор, теперь сеть в полнейшем порядке!

— А что, собственно, случилось?.. — недоуменно спросил профессор. (Его звали Александр Александрович, но Эрто раз и навсегда решил во время подобных встреч обращаться к нему сугубо официально.)

— Как же так, товарищ Шестаков! И вы еще спрашиваете... Знаете ли вы, что в вашей квартире минутой позже произошел бы пожар? Розетка греется, и патроны плохие. Вот здесь распишитесь... И в следующий раз сами вызывайте нас, не дожидаясь, пока сработают датчики, по счастливой случайности проходящие проверку именно в вашем доме и в вашем подъезде. И не заставляйте нас прибегать к крайним мерам.

Сказав это, он удалился, предоставив профессору Шестакову возможность домыслить случившееся.

Через несколько дней Эрто, работая в библиотеке Шестакова, обнаружил оставленную им на столе рукопись под названием «Проблема контактов с внеземными цивилизациями». Рукопись являла собой приятное открытие. «Кажется, я явился точно по адресу», — подумал Эрто. Он бегом пробежал рукопись. Это была статья для журнала, и в ней очень сжато излагались взгляды Александра Александровича Шестакова на возможности поиска разумного начала в космических безднах. Вышло, что найти его труднее, чем иголку в стогу сена.

Первая часть статьи заканчивалась выводом: «Среднее расстояние до ближайшей цивилизации скорее всего составляет тысячи световых лет». Эрто не удержался и поставил знак вопроса после слова «тысячи». А потом махнул рукой, улыбнулся и исправил фразу карандашом так: «Расстояние до ближайшей разумной цивилизации составляет не меньше десяти тысяч световых лет».

(Уже просмотрев статью, он убрал карандашную поправку, оставив все как было.)

Затем в работе шла речь о невозможности обнаружить какие-либо следы деятельности столь удаленных обществ оптическими телескопами. Иное дело — радиотелескопы. Отсюда поиски радиокода для связи, общения. Тысячелетние паузы между радиопосылками, содержащими вопросы и ответы, сами по себе не были непреодолимым препятствием. Разные уровни, иерархия цивилизаций — вот что стояло на пути взаимопонимания. «Посмотрим», — подумал Эрто.

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПЕРЕД БУДУЩИМ

Вэлте и другим стало уже ясно, что все живое на этой планете подчинено общему генетическому коду. Этот код один-единственный, и многообразные формы живой протоплазмы, бактерий, невидимых глазу водорослей и гигантов, сказочных обитателей океана и тропических лесов, — все они были схожи в главном, в способе записи их строения на спиралевидных нитях молекул, который так хорошо был известен и биологам у далеких молибденовых звезд.

Молибдена в земной коре в сотни раз меньше, чем родственного ему элемента никеля, а роль его так велика, что это уже послужило основанием для одной красивой гипотезы, созданной здесь, на Земле. Для профессора Шестакова и его коллег это была только гипотеза. Для Эрто — факт. Да, химический состав среды отражается в биологическом строении ее обитателей. И содержание молибдена в живых тканях здесь, на Земле, повторяет законы его распространения во многих звездных мирах...

Профессору Шестакову оставалось сделать еще один шаг. Ведь сама посылка с молибденовой звезды гене-

тического кода сюда, на Землю, и на другие планеты являла собой блестящий пример контакта, о возможности которого размышлял Шестаков. Эта, если можно так сказать, материализованная информация уже предполагала развитие разума вполне определенного типа и его носителя — человека, и незачем было посылать радиосигналы. Они не открыли бы ничего нового, если были бы поняты, и не ускорили бы событий. Что может человек открыть в мире такого, что не жило бы уже в нем самом?

Вот о чем думал Эрто, листая рукопись Шестакова.

Прошло едва больше месяца (сорок два дня, если быть точным), и многое стало для Эрто понятным. Он видел, как ставили вышки первой телевизионной станции в поляр — городе под крышей за шестидесятой шириной, как строили мост через северный пролив — его опоры касались низких северных облаков, а стаи казарок летели под ним, точно видели перед собой дверь, распахнутую прямо в северные раздолья. Он ощущал тревожный ритм гигантских машин, делавших чугуны, сталь, прокат, цемент, бумагу, — о них говорили страницы газет и с ослепительной улыбкой на устах сообщали девушки — дикторы телевидения. Эрто знал, что где-то бородатые геологи радовались, как дети, и, взявшись за руки, фотографировались на фоне мелкосопочника, где найденного ими мусковита — идеального диэлектрика, слюды, расщепляющейся до пикометрических пластинок, — хватит целой стране на десятки лет.

Эрто ощущал ритм, пульс этой жизни, с трудом втискивавшейся в экраны и журнальные полосы, и однажды он поймал себя на желании бросить свои ежедневные занятия в библиотеках и попробовать хоть на один день стать таким же, как все эти люди, которым было дано так много узнать в будущем...

Ему хотелось бросить все и заняться хотя бы исследованием арктического шельфа, с тем чтобы кое-что из

найденного оставить, подарить этой гостеприимной земле. Пусть это будет нефть, вольфрам, слюда или олово, разве это не оптимальный вклад в развитие цивилизации вообще и межзвездных связей в частности?

— Нет, — сказала Вэлта так спокойно, что он понял: спорить бесполезно.

Они говорили об этом не в первый раз, и капитан Корабля Пэль всячески поддерживал эту инициативу, считая, что они непременно должны сами прийти к очевидной истине: то, что они делают здесь, и есть самое полезное и нужное всем дело, особенно если иметь в виду не только сегодняшний день.

— Нет, — сказала Вэлта, — мы поможем им, но не так.

По ее словам, именно тот тип генетического кода, который был общим для них самих и для Земли, предполагал бесконечное развитие разумного начала, но только при одном важном условии: если люди не совершат преступлений перед будущим. А для этого им нужно попристальнее всматриваться в завтрашний день. Сломанная ветка или убитая бабочка — ничто или почти ничто (тоже преступление, хотя и маленькое, но это преступление не перед завтрашним, а перед сегодняшним днем). А выпитая чугунными глотками заводов река не только исчезает из будущего, но становится началом цепочки необратимых изменений. И океан — колыбель жизни, и суша — зеленое раздолье, вышитый подол цветистого весеннего наряда планеты, неприкосновенны. И все же их коснулись руки, не ведающие, что можно и что нет. Как быть?

— Я думала об этом, — сказала Вэлта, — даже для нас задача непростая... и знаешь, какой есть выход? Он похож на сказку. — Она задумалась, словно пытаясь что-то припомнить. — Да, это сказка из фонда Корабля. О царевиче и сером волке, о живой и мертвой воде. Быть может, ты читал...

— Мне посчастливилось найти эту сказку и много других. Именно я передал их в дар Кораблю.

— Вернулся черный ворон и принес две склянки: одна с водой живой, другая с водой мертвой... Помнишь?

— Еще бы! Это невероятно: угадать секрет живой воды... Возможно ли?

— У них была живая вода, Эрто. Наши биологи уверены в этом. Им помогла природа. Благоприятное стечение обстоятельств — и вот случай помог родиться живому ключу, бьющему из-под земли. Быть может, это произошло где-то на Урале или западнее, гадать трудно, рассказы превратились в сказки и долго-долго передавались из уст в уста.

— А живая вода?

— Ключ иссяк, ложе ручейка высохло и заросло степными травами — попробуй отыщи заветное место!

— И мы откроем им секрет живой воды?

— Не шути, Эрто. Живой воды пока нет даже у нас. По крайней мере, такой, как в сказке.

— А про другую я слышал... знаю. Вода, в которой быстрее развиваются коловратки, водоросли и всякая мельчайшая живность. Так ли уж она необходима?

— Вот послушай: многие реки можно наполнить такой водой, смешав ее с водой обычной, и это вовсе не трудно! Сколько рыбы тогда будет?

— Реки? Этого я не понимаю.

— У них уже все готово, в сущности. Трубопроводы от скудеющих месторождений нефти и газа тянутся вдоль северных побережий, сворачивают на юго-запад, к истокам больших рек. Со временем эти гигантские трубы будут пусты (строятся и строятся атомные станции!). Вот тогда они и пригодятся... Совсем небольшие добавки микроэлементов — и этого достаточно. Лучше целые реки такой обогащенной воды, чем одна-единственная склянка из сказки.

— Вы предлагаете подавать раствор с микроэлементами по трубам? К самым истокам рек?

— Тебя это удивляет?

— Да... пожалуй. Идея очень уж проста, она им, вне всякого сомнения, не покажется новой. А осуществить проект нелегко.

— Вот и нет. Легче, чем ты думаешь. В морской воде есть все микроэлементы. Натрий, магний, цинк, медь, бор, йод, бром — почти все из периодической системы. Стоит добавить к речной воде одну тысячную часть воды полярных морей, и у нее появятся два удивительнейших свойства: прозрачность и способность лучше поддерживать жизнь. Пусть улучшение небольшое, раза в полтора, но для планеты это неоценимый дар.

— Морская вода со временем съест металл трубопроводов, вы об этом подумали?

— Это дело техники. Это не проблема. Ни для нас, ни для них.

— Вы пробовали? Нет, не защитные покрытия... Влияние на жизнь изучали?

— Конечно. Много раз. На всех живых организмах. Особенно чувствительны коловратки, а ведь они самый ценный корм для мальков рыб. Ты представить себе не можешь, как все меняется к лучшему: вода намного чище, не цветет, улучшается кислородный режим, река как бы молодеет на глазах. Наверное, давно-давно по лику первозданной планеты текли такие же кристально прозрачные реки и ручьи, пока время не отгородило их от целительных руд и не высушило живые родники.

— Как же мы поступим?

— Опубликуем статью в одном из журналов. Быть может, несколько статей, подписанных вымышленными именами.

— Нужны подлинные имена. Я помогу.

— Думаешь, это важно, нужно?

— Не знаю. Если вы не ошиблись...

— Но я хочу знать, что думаешь ты. Понимаешь, ты?

Едва поддавшись иллюзии, едва уверовав, что она искренно больше всего на свете хотела узнать лишь его мнение и просила об этом — она его! — Эрто вдруг понял истину: она всегда лишь хотела возбудить интерес, любопытство, приобщить его к свершавшемуся здесь, на этой планете, ее руками и руками его и ее друзей. И сейчас тоже. И он вдруг понял, что был уже ближе к этому далекому миру, до странности реальному, притягивающему, к согласию с его сегодняшними идеалами, к их приятию, чем к стремлению сделать его похожим на эталон рационального, подсказав готовые схемы.

Чисты, спокойны и четки линии ее лица. Выпуклые губы и чуть впалые щеки воплощали застывшую красоту. Это почему-то вызывало сейчас легкую неприязнь... Лицо Вэлты точно маска. Неведомый мастер будто бы скопировал тончайшие черточки с другого, живого лица, с лица Валентины, глаза которой меняли, казалось, даже свой цвет и губы дрожали и сжимались от счастья, желаний и стыда, когда звездная россыпь за окном, казалось, тонула в ее зрачках...

Бабочка влетела вдруг в окно, шумно захлопав крыльями, и словно прилипла к стене в затененном углу.

— Крапивница, — бесстрастно отметила Вэлта. — У вас скоро будет гроза. Этим летом гроз больше, чем обычно здесь бывает.

Эрто накинул плащ, вызвал лифт, спустился на первый этаж, потом, словно вспомнив что-то, поднялся пешком до почтовых ящиков, включил инфракрасный фонарик и просмотрел корреспонденцию профессора. В ящике лежали две ежедневные газеты, брошюра подписной

серии «Проблемы изучения космоса», два письма из смежных институтов и открытка-приглашение на конференцию.

Эрто вышел на улицу. Им владело неопределенное настроение; может быть, следовало поехать к Вэлте и поговорить о своем, о том, что он пока скрывал, а может быть, делать этого не стоило. Потом, подумал он, еще есть время. Отъезд профессора на конференцию был бы приятным сюрпризом: книги остались бы в полном распоряжении Эрто. Можно было избавиться от нескольких поездок в городскую и Центральную библиотеки, потому что он мог теперь работать и по вечерам. Если бы только нашли когда-нибудь новый способ чтения на расстоянии... Увы, страницы книг так плотно прилегли друг к другу, что приборы не отделяли тексты соседних листов. Легко читались лишь заглавия книг и надписи на титульных листах. И сетования на несовершенство техники были вполне справедливы: строки сразу трех или даже пяти страниц накладывались друг на друга, и гораздо удобнее было совершить экскурсию в читальный зал, чем разгадывать причудливые ребусы...

На улице было свежо. Он выбрался на шоссе и свернул в маленький ресторан, где было много свободных столиков, потому что время обеда еще не пришло. С полчаса он прождал официанта, потом включил луч и заглянул на кухню. Кухня казалась безлюдной. Он выбрал салат, мясо, кофе и установил режим нуль-транспортной. (Вообще-то это делать не рекомендовалось, но в виде исключения космолетчики пользовались иногда маленькими привилегиями.) Две тарелки и стакан кофе оказались на столе, он пообедал и, оставив деньги, пошел в библиотеку. Теперь он должен был работать на совесть, хотелось сделать все самому, даже составить отчет, чтобы никому не пришлось корпеть за него.

Мило раскланявшись со старушкой библиографом,

он прошел прямо к книгохранилищу. У дверей лифта, уловив момент, он наладил транслятор. Его одежда, лицо, руки стали излучателями электромагнитных волн, они испускали как раз такой набор светящихся точек, который совпадал с контурами и красками предметов, расположенных за ним. Состояние невидимости не было запрещено: в привидения все равно никто бы не поверил, остававшиеся после исключения привидений возможности с достаточными основаниями относили к области фантазии.

Так он проник в книгохранилище и за каких-нибудь три часа просмотрел около сотни томов. Радиус нуль-транспортировки составлял тридцать метров, и можно было работать, удобно устроившись в кресле. А над улицами проносилась гроза, и ее дыхание чувствовалось даже здесь.

В конце дня произошло неизбежное: у далекого края стеллажа, над четвертой снизу полкой замаячило бледное женское лицо с выражением крайнего испуга и изумления в округлившихся глазах. В мгновение ока отправил он книги на положенное место и вернулся в зал. Он работал допоздна.

Дома его ждало письмо.

ПИСЬМО ПРОФЕССОРА ШЕСТАКОВА

Дорогой Эрто!

Обстоятельства сложились так, что я вынужден ехать в командировку на Памир, где километровое зеркало нашего радиотелескопа поймало сигналы, совсем не напоминающие обычный хаос межзвездного эфира. Да не покажется Вам удивительным и странным, что исследователь, значительную часть своей сознательной жизни посвятивший осмыслению возможности контактов, отбывает в командировку именно тогда, когда соседом его по квартире оказывается представитель

ийой планетной системы. Я не могу отказаться от участия в конференции, посвященной расшифровке сигналов. Охотно поделюсь с Вами соображениями, касающимися наших личных взаимоотношений. Не буду скрывать, что мое открытие стоило немалого труда и терпения. Иначе и быть не могло, ведь все факты, даже самые необычные, должны были толковаться мной совсем в ином духе, причем истинный вариант, казалось, исключался из рассмотрения с самого начала (на что, конечно, и следовало Вам рассчитывать).

Да, я был бы очень далек от истины как специалист, и ни один коллега ни за что не поверил бы мне (как не поверит и теперь), если бы мне когда-нибудь каким-то чудом удалось подтвердить свои теоретические построения фактами. Это считалось бы буквально совпадением, которое в наиболее благоприятном случае следовало бы подтвердить многократно, сводя таким образом невыполнимую, по существу, задачу к еще более сложной. Но долгие годы во мне жила мечта. Я почти убедил себя, что наш диалог должен носить, если так можно выразиться, деловой характер. И по мере того, как я работал над теорией дальней ненаправленной связи, во мне зрела совсем иная мысль. Я начинал догадываться, что в неоглядных просторах всегда и всюду велся прежде всего поиск себе подобных. И разве Вы задержались бы у нас так долго, окажись Вы или мы другими?

Наверное, эта мысль не нова, но я понимал ее, вероятно, слишком уж буквально. Я пытался убедить одного своего коллегу и друга, что разговор скорее всего начнут специалисты. Он горячо возражал, и в запальчивости я воскликнул: «Да что тут странного, именно так все и произойдет, как я говорю! Да, позвонят по телефону, или просто придет человек и начнет разговор. Да, именно ко мне или к тебе, потому что именно мы готовы к этому. Но скорее всего ко мне!»

Это была только мечта. Я прекрасно понимал это. Да и друг тоже понимал. Тем не менее он набросал что-то вроде дружеского шаржа и подарил его мне. На рисунке был изображен молодой человек с чемоданчиком в руке, нажимающий кнопку звонка у двери моей квартиры. Подпись была довольно-таки издевательской. Она гласила (от имени звонившего): «Я-то прибыл, но что делать, если профессора Шестакова нет дома?»

Это было так давно, что я забыл о дружеской выходке моего коллеги. И никогда не вспомнил бы, не встретившись с Вами. Дело в том, что человек, изображенный на рисунке, в общем похож на Вас. Быть может, это лишь показалось мне. Во всяком случае, после Вашего визита в мою библиотеку я задумался всерьез. Скажите-ка, может ли кто-нибудь отказаться от мечты?

Вот почему я записал Ваш разговор с Вэлтой. Записывающая установка выполнена на грани наших технических возможностей, и вам легко понять трудности, которые связаны с регистрацией вторичной ионизации в канале. Я вел запись не самих звуков, а их следов (по понятным причинам радиоволны не применялись). И вот, представьте, после нескольких попыток расшифровал сигналы, пользуясь теми закономерностями, которые мы хотели использовать в том случае, если удастся принять сигналы из космоса.

Я все больше убеждаюсь, что наша с Вами встреча не случайна. Не исключено ведь, что проблема контактов не имеет, так сказать, регулярной структуры, и для ее решения нужны многие встречи, подобные нашей. Вряд ли кто упомянет все подробности, относящиеся к экспедиции. Я допускаю, что Вы и Ваши коллеги могут остаться в неведении относительно того, какое решение незаметно подсказал мозг Корабля и почему.

И я тешу себя странной, быть может, мыслью, что письмо мое поможет Вам. Тем не менее я отдаю себе

отчет в том, что стремление к прямым контактам зависит не только от нашего и Вашего желания, а еще и от других причин, перечислять которые бессмысленно. (В их числе, несомненно, и всеобщая готовность использовать контакты только во имя справедливых целей, а между тем на нашей планете еще столь много предстоит для этого сделать!)

Сегодня, сейчас контакт не может быть всеобъемлющим — и потому он может быть лишь эпизодом, подготовкой к будущему. Искренне желаю Вам успехов в работе. Я, вероятно, надолго задержусь в Средней Азии.

Александр ШЕСТАКОВ.

В ПРЕДДВЕРИИ

Открытие планеты состоялось, явилась подлинная космическая новь, забыты перламутровые хвосты комет, растаяли в черных безднах льдины туманностей, гиганты светила воссияли по пути сюда и привели к зеленоющей планете, согреваемой желтым солнцем. Чем больше думал он о медлительности ее рек, о нерукотворных коврах и белых снежных просторах, тем больше завораживало его необычное состояние природы — на грани сна и пробуждения. Оно мягко аккомпанировало мечте. А знал ли он раньше, что такое мечта? Вряд ли. Ведь тот, иной мир скроен не так, воображение едва могло вместить уже свершенное, и лишь к концу жизненного пути человеческая мысль достигала горизонтов знания (разумеется, с помощью кристаллических библиотек, хранивших миллиарды томов, и электронных библиографов, незримо путешествовавших в этом хаосе).

Крылатые дни над лесами и морскими заливами, ослепительно черные грозы, летучие радуги и пасмурный лик осени трудно записать с помощью логических

символов. Он помнил: в первый же день, лишь только корабль приземлился, бортовой электронный мозг рассчитал погоду на пять дней вперед. Ошибка казалась невероятной: крохотные молекулы-счетчики работали несколько часов. На пятый день была обещана непогода. Он надел плащ, непромокаемые ботинки, теплый свитер, хотя утро было ясным. В этот день он встретил Валентину. Солнце провожало их до самого ее дома. Багряный закат остался для него тайной, даже большей, чем тайна гравитационного коллапса. Ведь маневр обхода умершей звезды машина рассчитала безупречно. В космических пустотах, воплощавших как бы саму гармонию физических законов, ей можно было доверять.

...Однажды он вызвал Корабль. Ему хотелось поговорить со своими. На Корабле остались лишь четверо — два пилота, капитан и инженер, следивший за маскировкой (статическое поле придало ракете форму копны). Вэлта вот уже неделю работала на новом месте. Это было совсем недалеко, в сорока километрах от города, на берегу Оки. Астроботаник мог лишь мечтать о таком благодатном месте: на приокских террасах сохранилась реликтовая флора, и здесь, точно на полигоне, удавалось проверить новые приборы для наблюдения спектров растущего, цветущего, плодоносящего, всего, чем только была богата эта земля.

Установив вариатор, он с нетерпением наблюдал, как оживало стекло, как луч пробежал по темной глади реки, по ее песчаным широким берегам. Луч остановился у домика станции — старой заброшенной дачи, ветхость которой не вызывала сомнений в том, что она пуста.

— Вэлта!

Луч как бы шагнул к двери, проник внутрь. Вэлта сидела за столом с лампой-анализатором.

— Здравствуй. — Она подняла глаза.

— Я не помешал?

— Нисколько. Я рада.

Он замялся. Перед ней лежали какие-то травинки, былинки, цветы. Их лизали зеленые язычки огня: лампа едва слышно гудела, просвечивая стебельки холодным пламенем. Из нее вылетали пучки искр, пронзавших листья и лепестки, ощупывавших каждую молекулу внутри их и уносившихся к овальному зеркальцу, словно пчелиный рой к улью. Там они отдавали добычу — совсем крошечные схемы, по которым природа строила и строила зеленые ладьи с парусами-листьями, спешащие сорваться с якоря и унести в воздушный океан со звуками птичьих веснянок. Вэлта училась вешней волшбе, она разгадывала ее несказанные узоры, ее тайные чары, ее немые веления. На лицо Вэлты опустилась паутина тонких теней и полутеней. Оно казалось строгим и усталым.

— Хочешь, чтобы я угадала твои мысли?

— Я хочу остаться здесь, — просто сказал он. — Навсегда.

— Оставайся. Я помогу закончить твою работу.

Мгновенное удивление, оживившее ее лицо, сменилось спокойствием. Она наклонилась к лампе. Искры сновали между ее тонких пальцев, как светлячки. Ни слова больше. Молчание. Проворное трепетное пламя, живые разбегающиеся лучи.

Никто из них не скажет ему «нет». Он может остаться, как оставались немногие до него, на любой планете.

— Вэлта... — Он пытался перейти на другой тон. Теперь, когда он сказал ей все или почти все, ему стало легче. С удивлением заметил он, как растет в нем непонятная радость, которая вдруг сделала его таким щедрым, что, скажи Вэлта хоть слово, и он, Эрто, передумает, вернется со всеми, с ней. Да и мыслим ли иной исход?

Она не сказала этого слова. Хрупкие плечи ее дрогнули под белой рубашкой. Зеленые огоньки, по-

трескивая, суетились в ворохе сена, от него исходил аромат.

— Вэлта, я должен знать, кто она? Понимаешь, кто?

— Мне труднее ответить на этот вопрос, чем тебе.

— Но она... знает о Корабле? Может, я должен спросить о Валентине у кого-нибудь еще?

— Что же о ней спрашивать?

— Ты знаешь, о чем я... Валентина — с Корабля? Ну скажи, что да, что она создана по твоему образу и подобию, только уж лучше все сразу!

— Не знаю, Эрто. Я бы сказала, если бы знала.

...Почему он, Эрто, оказался на Корабле вместе с Вэлтой, вместе с другими? Ответ на этот вопрос мог быть только один: все члены экипажа прошли тщательную проверку. И дело не только в качествах личных, хотя и это очень важно. (Об этом известно многим, даже тем, кто не имеет отношения к космосу.) Нужно было еще кое-что. Нужно, чтобы все они составили одно целое, чтобы отношения были искренними и деловыми, чтобы работать было легко, чтобы качества одних гармонировали с характером других. И об этой стороне дела каждый из них знал не слишком много. Говорили, что это самый сложный вопрос, и решение его редко бывало единодушным. Даже электронные машины предпочитали простую аналогию, примеры из прошлого — непосредственному анализу. Ведь речь шла в итоге о чисто человеческих качествах, а легко ли разобраться в этом? Трудности возникали на самой первой стадии. Уже в самом принципе формирования экипажа были заложены вовсе не очевидные истины. Считалось, что женщины не только должны участвовать в этой длительной и почти титанической работе, но при вполне определенных условиях могут даже составить основу экипажа. Эта посылка определяла так много возможностей дальнейшего развития отношений и становления общего успеха, что анализ был целесообразен лишь в отдель-

ных случаях. Простейшая проблема, известная в лирической литературе под названием «классический треугольник», в зависимости от многих привходящих условий приводила к прямо противоположным по смыслу решениям.

Поэтому чаще избирался компромиссный вариант. Его реальное содержание составляли длительные устойчивые отношения. И, размышляя об этом, Эрто подыскивал простые слова, которые могли бы передать суть его собственных чувств. Да, они в некотором роде были заранее запрограммированы, предопределены.

Шестаков прав, думал он. Быть может, у Корабля, помимо изучения планеты, были и другие цели?

Кто знает, сколько отчетов, гипотез, прогнозов проглотил электронный мозг, прежде чем был выбран маршрут, прежде чем он, Эрто, попал на Корабль, потом случайно встретился с Валентиной, с Шестаковым...

Ни Вэлте, ни капитану Пэлю он о письме Шестакова так и не рассказал. Разве от этого что-нибудь изменилось бы? Мозг Корабля разыгрывал свой вариант событий, и Шестаков, кажется, смог разгадать его смысл.

КРЫЛАТОЕ УТРО

Крылатое утро. Ранний щедрый снег. Сизый голубь ударил в окно, проломил холодное стекло. Капля крови на подоконнике быстро остыла, загустела. На белым хвосте заиндевелой ветки — малиновая полоска, след выпущенной на волю птицы. Как ни силилось солнце начать день на небе, от белых крыш долго исходил чистый сильный утренний свет.

Кому не захочется взмыть птицей, чтобы проплыть над обновленной землей?

Стоит только повернуть диск из зеленого металла плоскостью вдоль силовых магнитных линий, и полет

станет явью. В диске осталась лишь треть накопленной в нем когда-то энергии, но и этой трети больше чем достаточно для исполнения утреннего желания. Сегодня Эрто волен быть космолетчиком, волен вернуться на Корабль, завтра будет поздно. Ему дали диск, сила которого могла бы вернуть его к ним даже в последнюю секунду, только пожелай! Пусть полированная чечевица будет последним искушением. Захочешь — вмиг будешь на Корабле, энергии как раз хватит, чтобы добраться до точки старта. Только пожелай... Сквозь мглу времени уже проступает, кажется, знакомая акварель заката над восхитительным морем...

Путешествие будет недолгим, мимо зеленых, желтых и синих звезд прямо домой. словно подземный поезд в туннеле, пронесется Корабль и, умчавшись от одних миров, приблизится к другим, сияющим и желанным. снова замрет время, они остановят его, потому что в синем огне реактора бесконечные ленты пространства и времени соединятся, превратятся в легкий кристаллический порошок. Потом на планете порошок сожгут в аппарате, который обращает реакцию, и пустой след Корабля снова наполнится бесконечно сложной плотью космоса и пульсациями ее ритма. сказочное возвращение, похожее на коротенькую поездку, на прогулку... А там... дом, работа, друзья, воспоминания, обернувшиеся реальностью, и сны, ставшие явью.

Но приходили все новые и новые мысли — о жизни, о цели ее, о разуме, который, освобождая и наделяя силой волшебной, подчас как бы заключает чувства в незримый стеклянный колпак, делая их предметом изучения, а цветы созвездий не менее прекрасны оттого, что познаны силы,двигающие ими, и многожды тревожат сердце крики птиц перелетных, и прозрачные березы погружаются в таинственный сон. А мысль, улетевшая за край вселенной, возвращается вдруг к лунной

тропе на озерной глади и, как птица, складывает крылья в неведомом ранее бессилии.

Раньше он думал, что это пройдет, теперь знал: это навсегда (они были выбраны Кораблем для первого контакта с такого типа планетой). И не потому ли Вэлта посвящала его во все замыслы?

Он повернул диск. Магическое течение поля увлекло к распахнувшемуся окну, потом в подоблачные просторы.

Путеводной нитью тянулась вниз заснеженная дорога, по которой ползли редкие грузовики. Справа и слева от колеи тянулись чистые полотенца с летучими тенями под черными пирамидами елей. А небо светлело, и лучи коснулись снегов, разбросав желтые угли по сугробам.

И далеко за лесами и полями готовился к отлету межзвездный снаряд. Теперь Эрто, пожалуй, не поспел бы к старту. Путь его пролегал в иных измерениях, где гармония космических пустот уступала место ритмам холмов и перелесков, мерной текучести земных ветров.

По ватному облаку скользнул зайчик. Мгновенная грусть. «Это они», — подумал Эрто. Точно серебряная монета, сверкнув, упала в колодец. И снова рывок в снежную беспредельность.

...Под знакомым окном синицы таскают хлебные крохи из кормушки, складывают их на край. За окном лицо Валентины. Она что-то говорит. Ветер — не разберешь! Но Эрто догадывается, ведь она уже многое знает и многое может поведать. Корабля нет. И ей это понятно. И что бы ни случилось, в нем и в ней живет вера: она не создана Кораблем, она найдена им здесь. И тот, главный для Эрто вопрос, который его волновал и ответа на который он не мог найти, в это утро перестает тревожить его.

Что еще означают слова, смысл которых он пытается угадать? Просьбу, признание, ответ? Нет, это уж ни-

как не понять... Слишком ярок день, и воздух звенит, и шепот вершин все ближе и ближе...

Постепенно теряя скорость, диск опускался. Качнулась свеча березы, ветки ее взлетели ему навстречу. Холодные комки растекались талой водой под воротом рубашки. Молчание и тишина.

Дорога — невидимая, с неуклюжими автомобилями — в последние минуты перед падением промелькнула тончайшей ниткой и исчезла в неоглядных далях.

Подлинная космическая явь, о которой он помышлял мальчишкой... Он подумал о том, что нужно пройти лес, подняться на холм, потом на следующий, миновать рощу, и опять взбираться на холмы и пригорки, и долго брести по первозданной зимней целине, чтобы выбраться на след, на тропу, потом на шоссе. Он будет идти по дороге, не пытаясь проситься в проходящие машины. Поздней ночью, он уверен (последняя подсказка Корабля?), шеститонный грузовик остановится рядом, и шофер подаст ему темную от масла руку. И этот недалекий путь навстречу жизни и работе, быть может, превзойдет по своей значимости для будущего молниеносный росчерк Корабля.

РОЖДЕНИЕ ЛАСТОЧКИ

АГНИС

Пространство над сушей и водами было пустым. Вообразив однажды крылатое существо, взвившееся над лугом, над рощами и озерами, Агнис долго размышлял. Среди созданного им были медлительные кроты, вечно роющиеся в земле, рыхлящие почву, слепые и незаметные, были стопоходы, во всем подобные кенгуру или ланям (только иначе им названные), растущие колонны, пьющие влагу из глины и каменных россыпей, цветы и травы. Цепочка причин и следствий, причудливо переплетававшихся, указывала теперь на свободные вертикали.

Стояли тихие звездные ночи, когда любая мечта, стократно усиливаясь, зажигала искры мысли, а звезды сияли ровно и ярко, все больше разгораясь к полуночи, и медленно меркли, точно зеленые угли, покрываясь к утру серым пеплом. Планета дремала, как сотни других планет, где ведомо таинство летних ночей, но галактическими течениями предначертан другой ход событий — особый для каждой планеты, для каждой земли.

Много дней подряд встречал Агнис утренний свет на крыльце дома. А подруга его, та, что годы провела с ним вместе, жена его с именем пространным и нежным — Флиинна, — часто глаз не могла сомкнуть и тайла тревожные предчувствия.

«Нет, не увидеть мне воздушного создания над крышей дома, никогда не увидеть, если не помогу я ему появиться на свет», — решил Агнис. Придумать просто, трудно сделать. Только сама природа многожды создавала подобные шедевры (перепончатокрылые летуны, гости из других миров, населяли в обилии заповедник, но не об этом ему мечталось). Кринглей, сосед Агниса, услышав о затее, только рукой махнул: не полезней ли

заняться другим делом? Но ответ рождался в сердце. Думал Агнис о том, как полетит птаха в поднебесье и заглядится, завидует на нее и стар и млад. Имя ей придумал: ласточка. Имя негромкое, но все казалось ему, что вот так и должно назвать птаху, не иначе и что где-нибудь уже летает такая птица да еще с тем же, быть может, именем. (Велики ведь и жизнеобильны подзвездные миры вселенной — а ей ни конца ни края!)

Рыжебородый, но похожий на ребенка Агнис нарисовал свою ласточку на двери дома, и ни на что не была она похожа, так что Флиинна, строгая, неразговорчивая — темный плат до бровей, зеленые глаза под длинными ресницами, платье до пят, медлительная походка, степенная речь, — так что Флиинна, выйдя как-то по воду и увидев рисунок, покачала головой да звонко рассмеялась...

...А потом, как водится, дни работы сменялись днями беспокойного отдыха, и надежда чередовалась с отчаянием. Однажды Агнис был близок к тому, чтобы проклясть день и час рождения замысла. Вышла из строя термокамера, и погибли первые миллионы живых клеток — сердце ласточки, ее миофибриллы, тончайшая паутина которых наметила контуры крыльев. В мгновение ока живые нитки, что так заботливо были сшиты Агнисом под синими стеклами микроскопов, скатались в пульсирующий комок. С последним импульсом жизнь покинула непрочное пристанище.

Не на день и не на два забыл он о своем детище, листал старые фолианты с жизнеописаниями великих мастеров и ученых, развлекая себя курьезами, которых больше чем предостаточно на долгом и многотрудном пути человечества любой, пожалуй, планеты. Мало ли случайностей и до обидного нелепых происшествий становилось помехой? И трудно порой угадать, где подстерегает неудача. Книги лишь маленький остров знаний, доступный для путешествия одиночки. Электронные

машины памяти хранят в себе так много, что обращаться к ним нужно с умом и сноровкой, да и то не всегда. Нелишне вначале знать, о чем спрашивать, а это, в свой черед, приходит после многих проб и ошибок.

— Чего проще — начать сначала! — воскликнул Агнис однажды поутру, купаясь в светлом облаке, спустившемся так низко, что космы его обволакивали край платья Флиинны, стоявшей рядом. — Пробовать, и нет другой мудрости! Только тогда можно рассчитывать на мудрость других. — При этих словах его, сказанных так громко, что туман заколебался, Флиинна вдруг подумала, что скоро придет и ее время — понять и помочь, но, как и чем, пока не знала.

Агнис чувствовал себя отдохнувшим, готовым все начать снова. Вечером выковал он три медных цветка с жаркими золотыми лепестками и серебряную ветку вербы. Горн гудел, и молот ковал веселье на празднике света и огня. За окном сизые ветры гнали тучи — уже наступал благодатный сезон дождей.

Агнис подарил Флиинне цветы — колокольцы и украшения, легкие, как плавники сказочной рыбы, в год раз поднимавшейся, по преданию, из пучин инопланетного моря, чтобы вознестись к звездам. Из-за туч ненадолго вышло светило, и все вокруг забагрянело, словно проступил первородный румянец. Зеленые глаза Флиинны были молоды как никогда.

В ЗАПОВЕДНИКЕ

Заря в полнеба. Длинные подвижные тени. Ключья тумана тают. Облака покидают скалы, исчезая, как древесный пух в потоках воздуха.

Агнис снял со стены меч, и мгновенное воспоминание оживило его лицо. На нем светлая туника, в руке лук, за спиной колчан со стрелами. Каждое острие отточено так, что легко пронзит стальной лист. Волос,

упавший на меч, будет рассечен им надвое. Прикасаться к лезвию нельзя, тончайший молекулярный слой тотчас раскроит ладонь. Другое оружие брать в заповедник запрещено. С улицы слышен голос Кринглея:

— Агнис! Ты готов?

Минуту спустя они быстро шагают по тропинке. Стремительнейший экипаж — ранд — поджидает их у дороги. Мгновение — и они плывут в ранде над дорогой еще мгновение — взметнувшаяся пыль обозначила путь, который приведет их в заповедник.

В пути короткая остановка. Отдых. Стакан холодной родниковой воды.

— Мой. — В руке у Агниса цветок, он передает его Кринглею. — Разгадай принцип!

— Все как надо, — говорит Кринглей.

Пауза.

— Цветок как цветок, — говорит Кринглей.

— Фокусировка. — Агнис указывает на лепестки: — Они собирают свет на завязях в центре цветка.

— А сами... сами цветы находят такую возможность?

— Наверное, как всегда. Через сотню-другую миллионов лет.

— Готов допустить, что это происходит быстрее.

— Наведайся в заповедник, когда половина этого срока пройдет, увидишь, так это или нет.

— Стоп.

Они прошли сотню метров, приложили ладони к невидимой стене, стена тотчас раздвинулась, повинувшись биосигналам, пропустила их в заповедник и неслышно сомкнулась.

Заповедники — средоточие найденного на других планетах — раскинулись вдоль меридианов, охватывая разные климатические зоны. В каждом из них была представлена флора и фауна на одной из стадий их развития. Ранд доставил их туда, где, следуя универсальным закономерностям, общим для многих миров, неис-

числимые создания природы впервые пытались подняться в воздух. Бабочки и кузнечики в счет не шли. Рубеж левитации пересекали ящеры, затмевавшие небо перепончатыми крыльями.

Впереди простиралась зеленая гладь озера. Оно занимало большую впадину, обрамленную наклонными скалистыми стенами — снижаясь, стены вели к песчаным пляжам и отмелям.

Сбросив одежду, Агнис вошел в воду и поплыл. Он плыл быстро и легко, бронзовые руки крыльями взлетали над зеленой прозрачной водой. Кринглей с мечом и луком шел следом. Вот под водой родилось движение, потом точно кто-то ножом полоснул: две пенистые гряды разошлись в стороны, и на этом месте возникли темные полированные зубцы. Дракон показал спину и устремился на мелководе наперерез Агнису. Кринглей натянул тетиву лука.

— Вижу! — крикнул Агнис.

Он поплыл еще быстрее, волосы его струей бились за плечами. Дракон почти с такой же скоростью устремился к берегу, постепенно меняя угол атаки, как бы рассчитав уже точку встречи, где он настигнет странное и, по-видимому, беззащитное существо.

— Выходи на берег! — Кринглею скоро трудно было бы стрелять.

— Вижу! — воскликнул Агнис.

Кринглей отсчитывал последние секунды: вот-вот его лук должен был послать смертоносную стрелу. А если промах?..

Агнис нырнул. Мгновение — и он плывет назад. Из воды поднялся семиметровый хвост, усаженный зубцами, и ударил по воде с такой силой, что минутой позже зеленый вал накрыл берег. Тщетно.

Потревоженная рыба поднялась со дна. Кринглей отчетливо видел, как двигались жабры и плавники остроносой рыбины, как бы преломляясь в водяных

призмах. На рыбу спланировал крылатый ящер. Его пасть погрузилась в воду, но крылья тяжело и тщетно бились о воду — добыча была слишком большой. Рядом возникла голова дракона. Его зубы сомкнулись, смяв крыло ящера-рыболова. Слышно было, как лопнула перепонка, — сухой шелкающий звук. Другое крыло еще билось, хлопая по воде. Вот и оно исчезло...

Рамфоринх, ящер с полыми костями, с хвостом-рулем, с острыми длинными крыльями, мог послужить образцом общего устройства летающего существа, несмотря на известные несовершенства. Придирчивый и внимательный Кринглей отметил стремительность полета рамфоринхов, но далеко не достаточную маневренность, нелегко управлять полетом, когда хвост болтается как плеть!

Совсем иной облик у птеродактилей, которые, конечно, в других местах могли называться иначе: широкие крылья несли их так уверенно, что хвост был не нужен вовсе, концами крыльев они касались воды, когда ловили рыбу, и снова взмывали вверх, где-то там, в выси подоблачной, собираясь в большие стаи. Полет их был красив и легок, и вряд ли можно считать случайностью, что самый большой и самый маленький птеродактили по размерам вполне соответствовали соколу и ласточке. Соколу, позже созданному Кринглеем, и ласточке Агниса...

Кринглей выпустил стрелу, целясь в круглый валун, наполовину засыпанный песком. Камень раскололся на три части, стрела ушла в землю. Агнис растянулся у берега и, набирая полные пригоршни песка, сыпал его на грудь, на шею, и казалось, эти теплые струи, составленные из мириад песчинок, нашептывали ему о далеком и давнем...

Давным-давно, рассказывали книги предков, от полюса до полюса произрастали на суше диковинные растения, а в морях так много водилось рыбы, что лагуны

сверкали под солнцем, как расплавленный металл. Под сводом небесным, передают легенды, под облаками и выше их рассекали воздух крылья разных тварей, поднявшихся в выси просторные потому, что тесно стало от зверья в рощах и низинах. Такова была планета предков, породившая тысячи правдивых сказаний об океанских гигантах, что гнались за кораблями и поспевали, о лютости зверей лесных, о стаях их несметных, рыскавших денно и ночью в поисках корма, о трелях певчих птиц, чьи райские голоса завораживали и странника, и чудище лесное. Много воды утекло с тех пор, многожды менялся лик планеты, подвергавшейся переустройству, но легенды не умерли. Да и как умереть, когда в глыбы песчаника вмурованы древние кости, порой вместе с наконечниками копий или тяжелыми стволами ружей, когда на откосе открывается вдруг скелет гиганта, пойманного в свое время в глубокую и хитроумную ловушку.

Много-много позже на планете возникли заповедники, куда повезли живых редкостей с других, весьма отдаленных планет. Но, конечно, та, другая и далекая жизнь не могла бы процветать в новых условиях, вне заповедников: была она странной и прихотливой.

Никто не собирався копировать ее, это была ступенька, с которой надо было шагнуть на следующую, потом еще на одну. Трудно еще было представить себе в полный рост это новое, что возникало сейчас, сегодня. А о далеком грядущем можно было лишь мечтать.

Около полуночи Кринглей поставил непроницаемый экран, шатер, сквозь который просвечивала звездная пыль. Агнис развел костер и приготовил ужин. Из тьмы, трепеща слюдяными крыльями, вырвалась на свет костра гигантская стрекоза меганевра, уселась на внешней оболочке шатра, и в глазах ее долго-долго полыхало отраженное пламя.

СОКОЛ КРИНГЛЕЯ

Немного времени прошло — Кринглей пожаловал в гости к Агнису продолжить разговор, начатый в заповеднике, — о замечательных созданиях, единственной опорой которых будет воздух во всех его состояниях: и влажный воздух после гроз, и клубы белые туманов, и в ясную даль простирающиеся воздушные пустыни, где царствует луч света. Нет ласточки без сокола, и о других птицах пора было поговорить. Касаясь пальцами наэлектризованного полотна, вели они долгую беседу, и линии чертежей соединялись друг с другом, перечеркивали одна другую, исчезали, уступая место новым линиям — светящейся, мерцающей паутине.

— Крыло будет таким... — говорил Кринглей, и возникал рисунок.

— А плечевая кость? — возражал Агнис. — Ты забыл удлинить плечевую кость, и, кроме того, она должна быть массивней, иначе сломается при полете.

— Никогда! — восклицал Кринглей.

— А возросшая скорость? Подъемная сила стремится согнуть и перекрутить плечевую кость... И вот как это происходит при быстрых поворотах.

— Не говори мне о соколе, подумай лучше о ласточке.

Пролетел день. Как просто было раньше, думал Агнис, взять хотя бы кузнечика, ничего и рассчитывать не надо было, кроме дальности и высоты прыжка, другие размеры — другие законы. И в самом деле, каждая нога кузнечика состоит из сегментов, соединенных подвижными сочленениями, а короткий сегмент, вертлуг, жестко связан с бедром. Каждое сочленение — не шарнир, а всего лишь гибкая полоска, и потому возможны любые движения (шесть степеней свободы!).

Кринглей, автор многих рыбьих хитростей, вздохнул: тихходные водоплавающие твари не доставляли столь-

ко забот ни ему, ни его коллегам. Хитроумный замок колюшки или сомика, удерживающий колюшки растопыренными при виде хищной рыбы, — ничто в сравнении с аэродинамическими фокусами.

Но не могло быть иначе, не могло быть проще. Только три способа распространения жизни знает вселенная: самозарождение, рассеяние, создание.

Как рождается живое? Из клеток, похожих на палочки, нитки, шарики, прозрачные под микроскопом, из крохотных пузырьков, объединяющихся постепенно в колонии, в организмы. Это вторая часть пути, первая — появление самой клетки из сложнейших молекул, случайно соединившихся, явивших первичный акт самозарождения. Миллиарды лет и многие миллиарды счастливых случайностей отделяют первые комочки протоплазмы от составляющих их молекул. Путь крайне долгий и ненадежный! Агнис верил в него лишь потому, что другие верили. Кринглей вовсе не верил. По расчетам Агниса, для такого развития живого нужны были два-три миллиарда лет, по мнению Кринглея — не менее десяти, а это уже выходило за рамки допустимого — порой солнца гаснут быстрее, и планеты, остывая, погружаются во мрак за меньшее время!

Как рассеивается живое? В океане воздуха плывут крупницы жизни — споры, семена, высохшие комочки со дна исчезнувших луж и озер. Они преодолели первый барьер — гравитацию. Они плывут, подгоняемые ветрами, не в силах вырваться за пределы эфемерного океана. Но мельчайшие крупницы, несущие электричество, вовлекаются у планетных полюсов в вихри танцующих ионов, ускоряются и выбрасываются в безвоздушное пространство. А там лучи солнца подгоняют их дальше, в беспримерное плавание по чернильной межзвездной пустоте, до сказочных границ иных миров. Прорастая, споры дают начало древу жизни, но, прежде чем возникнет на его ветвях драгоценный плод — разум, неис-

числимые метаморфозы приведут от простого к сложному — точно так же, как при самозарождении! — и от низшего к высшему.

Как создается живое? Руками и талантом, думал Агнис. Умением и живой мыслью, думал Кринглей. Лишь умение, лишь талант позволяют подниматься все выше и выше — так внешне, только внешне, воспроизводится картина долгой эволюции, укладывающейся, однако, в гораздо более короткие отрезки времени. Месяцы, годы, десятилетия... Но не миллиарды лет.

Жизнь вечна, неуничтожима, вечно и желание создавать живое, думал Кринглей. Жизнь никогда не рождалась, она существует всегда, как материя, жизнь и вселенная — спутники. Но как непросто воплощать ее в конкретные формы!

«Сотворив сокола, я расскажу миру и о себе самом, — думал Кринглей, — я поведаю о том, как я понимаю все сущее. Ничего не создав, я смог бы написать слова, следуя которым другие подарят людям новое. Но что слова? Полмиллиона существ уместит планета, и рождение каждого из них — событие, превосходящее по важности написание многих трактатов. А полет птицы не сродни ли полету мысли? Нет, слова — не для меня, — решил Кринглей, — пусть другие попробуют уместить в коротких строках то, к чему, быть может, сами непричастны».

ЛАСТОЧКЕ — ЖИТЬ

...Взвился сокол Кринглея. С высоты поднебесной, изогнув крылья, упал он на ласточку. Мгновенная встреча в воздухе — и вот уже, отряхая легкие перья, кувыркаясь, мчит вниз трепетный окровавленный комок. Чудом не догнал сокол кувыркающуюся птицу.

— О, ласточка! — воскликнула Флиинна. — Она мертва!

— Да, наверное, — сказал Агнис, и мгновенная усталость сделала его веки тяжелыми, а руки непослушными. Он опустился на траву, потом лег, подложив ладони под голову, и долго-долго смотрел в мерцающую пустоту поднебесья.

Лишь только упала ласточка, бездыханная окровавленная птаха, Флиинна бросилась к ней, подняла ее, омыла ее клюв и крылья, согрела ее, побежала к роднику с целебной водой — а до того родника неблизкий путь, два часа по камням, сквозь заросли колючих кустов, жалящих как змеи.

Агнис уснул. Он спал, а карниз его дома украсился ласточкиным гнездом. Снилось ему, что ласточка, слепив гнездо из желтой глины и серого озерного ила, многожды пролетала мимо, взмывая ввысь, купаясь в струях ветра. Как изысканно проста и красива была ее песня, как подрагивали косицы на ее хвосте, когда, сев на самый край крыши, радовалась она подаренной ей жизни!

Ушли сновидения — возникла тревожная мысль: все ли так сделано? Не медлительны ли движения крыльев? Не слаб ли клюв (не клюв — сачок для ловли мух и комаров на лету)? Нет, не сможет ласточка ни расклевать шишки, ни раскусить зернышка. Так ли? Непросто выстроить ступеньки жизни. Ясно лишь: раз есть насекомые, должны быть и ласточки, что еще можно придумать? Но стоит взлететь ласточке, тотчас должен взмыть вверх и сокол. Быть может, даже раньше...

А у Кринглея руки опустились: совсем не такого исхода он ждал, ведь если каждая встреча сокола и ласточки будет такова, то не жить ласточке. Значит, не жить и соколу. Лишь трижды из ста случаев, по его расчетам, сокол догонял бы ласточку, зато девяносто семь раз она пряталась, ускользала от когтей, только тогда наступило бы требуемое равновесие.

Конечно, могло случиться и так, что сразу же выпал

жребий птахе малой растерзанной быть. И он и Агнис готовились к долгим полетам, к многодневному труду, к многолетним наблюдениям. Выпустить сотни ласточек, чтобы потом сами они стали бы выводить птенцов... Отладить механизмы жизни, постоянно совершенствуя их, — задача не из легких.

И все же первый полет — закономерная неудача или игра случая? Вечный вопрос, на который ответ дает лишь время и терпение. Поставь сотни, тысячи опытов, тогда и размышляй о содеянном. И на этот раз чуда не было. И Агнис и Кринглей знали: много дел впереди, лишь незначительная часть работы закончена, непозволительно дать усталости оковать себя.

Время птичьей радости и птичьих забот было уже на пороге. Кто знает, сколько пернатых найдет приют в бескрайних небесных раздольях, в теплых дуплах деревьев, в кустах, в полях, в рощах, садах и росистых лугах?..

...Долго возилась Флиинна с ласточкой, выхаживая ее. Бежали дни, и становилось все яснее, что птица будет жить. Улыбался Агнис: зачем это Флиинне? Если есть схема, если все изучено, отмерено и испытано, в единый час можно создать целую стаю птиц.

Но, видно, Флиинне хотелось именно ту, самую первую ласточку вернуть к жизни, быть может, помнила она, как трудно досталась она им, как летела, впервые оглашая воздух неведомой песней, как падала, окровавленная, трепещущая, полуживая.

Уже звенели трели других птиц. Счастливый Агнис провожал их по утрам в лазурные дали, чтобы наполнили они радостью сердца слышащих и видящих их.

Минул без малого год.

И ласточка, та самая ласточка, что вскормлена была из рук Флиинны, пропев над высокой крышей весеннюю песню, из ила и глины слепила гнездо.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЕЗД

Строителям Байкало-Амурской
магистрали посвящается

ПОЛЯР

Нырнув под облачное одеяло, наш самолет спланировал на крохотную площадку перед полярмор. Только что под крылом были тундра и море, а над ними — скудные линии сполохов. Тундра в застругах, море в торогах, редкие маяки на прибрежных сопках, первые срубы поселка... Там кончалась дорога. У полярмор — города под крышей — она начиналась. Бесшумной ночной птахой пронесся наш самолетик вдоль насыпи, в бледном сиянии полярной ночи, над белыми спинами сугробов, и снизу, точно сквозь толщу морскую, пробивались огоньки сварки у строящегося моста, и возникали купола новых алюминиевых домов, окруженные оленьими упряжками (их только что привезли и на наших глазах начинали ставить). Ближе к югу и, значит, к полярмор мы нырнули в багровую прорубь заката. Отсюда, с юга, шел и шел день, размеренно и неторопливо, от месяца к месяцу набирая силу...

Нитка магистрали еще не отмечена светофорами, бегом сверкающих локомотивов, пока молчат струны ее стальных стрелок, и синие глаза фонарей еще не встречают вереницы вагонов у станционных околиц.

Но кто знает, может быть, через месяц-два мы вернемся в полярмор уже на поезде. Сегодня мы испытывали один из последних участков дороги. Самый южный участок почти готов. Размышляя об этом, мы выбираемся из самолета навстречу ветру и морозу, снег покалывает щеки до самого порога нашего большого дома. Мы не спешим. Жаль расставаться с лиственницами и кедрами,

с прозрачными березами, с оленьей тропой и первым неожиданным запахом талого снега. Мы ждем — пусть улетит самолет. Звука мотора не слышно — белокрылая машина так тихо унеслась в небо над зубчатым гребнем тайги, что кто-то пошутил:

— ...как зеленый поезд.

— А какой он, зеленый поезд? Может быть, это сказка? — спрашивает Лена Ругоева, и я запоминаю глаза ее такими, как я вижу их в этот вечер: они у нее темные, прозрачные и чуть лукавые, а в глубине их, если всмотреться, можно открыть неожиданно сверкающий огонь радости.

Ахво Лиес, мечтатель и выдумщик из далекой Карелии, не моргнув глазом, отвечает:

— Я видел его, и мой отец тоже.

— Ну и что же — зеленый?..

— Когда как. Летом — зеленый. Зимой — голубой. Его не за цвет ведь так называют. Если поезду не нужен ни зеленый светофор, ни зеленая улица и если он может пробежать кое-где и по недостроенным дорогам, без стрелок, без путевых огней — ночью, днем ли, в пургу или в бурю, — спрашивается, как его назвать еще?..

И Ахво начинает рассказ о зеленом поезде: как не однажды проносился он мимо, стремительный и почти невидимый, но он, Ахво, хорошо видел его и заметил даже людей в просветах окошек... Его уже не слушают, а Лена сбивает веткой снег с унтов и громко смеется — не над Ахво, конечно. Мне хочется спросить ее, я смотрю в ее глаза и вдруг забываю свой вопрос.

...Поляр. Под прозрачным и невидимым шаром — сад. Песок и сосны, пихты, кедры, яблони. Пернатые — дрозды, варакушки, овсянки — сориентировались быстро, даже на юг не летают, зимуют под крышей... Мы идем по аллее вдоль озера. Вода такая прозрачная, что

у рыб плавники видны. Каждое возвращение с трассы — это как бы и путешествие в субтропики, хотя нас отделяет от конечного пункта магистрали всего шесть-семь сотен километров (не расстояние по сибирским масштабам!). Когда пойдут поезда, поставят еще один поляр. Дорога одарит север южным теплом, мы ведем электричество не просто в новые дома — в огромный город; вот-вот дохнут жаром золотые угли каминов, и сотни чудо-печей разом приготовят ужин новоселам.

Кто знает, может быть, легенда о зеленом поезде будет кочевать вместе с нами. Когда-нибудь ее услышит Чукотка, потом Новосибирские острова, Северная Земля. И пусть горизонт скрывается за торосами, дорога все равно пройдет у Ледовитого океана. И мы будем возвращаться со смены вот так же, как сегодня, оставляя за плечами новые и новые километры магистрали...

Нас четырнадцать человек. Бригада. Перед нами распахиваются двери поляр.

Отъезд Лены был неожиданностью для всех. И в минуты неизбежного разговора во мне затеплилась слабая искра надежды: а вдруг она останется с нами? (Рано или поздно мы все вместе переберемся в Нижнейнск и дальше — туда тоже протянется дорога, так стоит ли спешить?)

— Да, там сейчас трудно, — соглашается она, — но зато интересно.

— А здесь?

— Тоже. Но поймите! — горячо восклицает она. — Многим хорошо работается на одном месте, другим... да что я говорю, разве вы этого не знаете?

Я знаю это. И втайне завидую ей. Мне тоже хочется поехать к побережью, надолго, жить не в поляр, а в

рубленом доме, тянуть по тундре новую дорогу, строить город-порт на острове Врангеля. Тем более что наша работа близится к концу.

...У Лены ладони большие, теплые, движения всегда спокойные, плавные — разливают ли чай, собирает ли ягоды, устанавливает ли приборы на трассе в снег и в дождь. Никогда не замечал я в ней следов волнения.

А тут я с некоторым удивлением отметил про себя, что пальцы ее подрагивают, а голос стал чуть резким и порывистым, — и это не вязалось с моими представлениями, сложившимися за полтора таежных года. Неужели она сомневается, что я смогу понять? И только я подумал это, как уловил неожиданную перемену. Она точно прочла мои мысли, и руки ее стали прежними — спокойными, надежными, чуть медлительными.

— Странница вы, Лена, вот что. Подождали бы нас. Думаете, мне не хочется на север?.. Но в общем-то я завидую. Поезжайте. Все равно скоро встретимся. Мы догоним вас.

— Конечно, догоните, — радуется Лена, — я буду вас ждать. Примете меня?

Я вопросительно смотрю на нее.

— Ой, я не то сказала? Давайте считать, что я от вас не уйду, просто в командировку уезжаю, что ли.

— Давайте так считать, — соглашаюсь я. — Скажите, что вы думаете о зеленом поезде?

Этот вопрос слетел с моих губ случайно, сам не знаю почему. На мгновение, на одно лишь мгновение, красивые пальцы Лениных рук словно потеряли точку опоры и метнулись вверх. Она опустила голову, а когда подняла ее, темные прозрачные глаза были спокойны, а жесты неторопливы.

— Я пойду. Я зайду к вам попрощаться. — Она словно догадалась о том, что мой вопрос был случайным и вовсе не требовал ответа.

...Еще на трассе мы настреляли кедровок. Промороженными насквозь птицами, точно палицами или дубинками, можно было бы вооружить целое племя. Зато нельма была свежая, она лишь уснула, эта огромная рыбина, пока летела с нами в самолете, и даже не успела по-настоящему остыть в холодильнике из-за своих сказочных размеров. Виновница прощального торжества раздобыла облепихового вина — стол был готов. Мы провожали ее по-таежному: нам и на трассе доводилось готовить кедровок на вертеле и вариваг уху с тайменными хвостами.

По другую сторону купола дремала предвесенняя тайга. Ранний закат разбрасывал по снегам первые искры тепла.

ПРОГУЛКА

Синий цвет — предвестник северной весны. Синий снег, синий воздух, синее небо... Однажды вдруг все двинется и поплывет в бесконечную синь под гулкие звуки птичьих крыльев. Но ветер по-прежнему леденящий, а по ночам под ясными звездами потрескивает от жгучего мороза тайга.

И вот мы идем в этот синеющий простор — Ахво и я. Сначала снег был желт под факелом утренней зари, и лыжи осторожно касались его, нащупывая верную дорогу среди теней. Потом на него снизошло дневное сияние, тени убрались под деревья, и мы пошли быстрее. Трудны лишь подъемы, вниз мы катились быстрее ветра. Снег, казалось, плавился — сверкающая лыжня Ахво становилась невидимой в двадцати шагах. Его движения порождали звон рассыпающихся кристаллов, но казалось, что и все вокруг издавало эти звуки,

точно тысячи невидимых колокольчиков извещали о приходе весны. Пронзенное лыжами, сыпалось с кустов голубое стекло, снежная пыль таяла, осветленное небо раскрылось.

Не видать бы мне самого первого дня весны, не слышать бы полуденного перезвона, не вдохнуть бы первого вешнего воздуха, если бы не Ахво. Это он научил меня внимательности. Теперь я знаю: у весны есть еще один спутник. Его можно назвать одним словом: движение. Если вдруг захотелось в дорогу, если факел зари вечерней был ярок, как никогда, а сон тревожен — значит, и пришла весна.

Вот почему наши лыжи скользят все быстрее и мы не устаем. Только на крутых подъемах ноги и руки как-то сами по себе замедляют движения, точно попав в невидимое силовое поле. Зеленоглазый Ахво оглядывается: не отстал ли я?

— Вперед, Ахво! — кричу я, и становится вдруг смешно, потому что усталости я совсем не чувствую, но и идти быстрее не могу: не пускает упругость невидимого поля.

Насвистывая «Фиалку», Ахво взлетел на гребень сопки, где ветер соорудил метровую снежную стенку. Из-под нее выкатились живые комки — куропатки и распластали в воздухе крылья. Но прежде чем они поравнялись со мной, Ахво успел сорвать с плеча малокалиберку и, почти не целясь, выстрелить. Сбитая птица упала к моим ногам.

— Наш обед! — крикнул Ахво. — Теперь вперед!

Мы выбрали место в узком распадке, залитом полуденным светом. Хрупкие ветки лиственниц полетели в огонь.

— Подожди, Валя, я сейчас...

Ахво пробежал вверх по распадку, остановился, повершил снег палкой, потом раскидал его руками. Он,

казалось, чувствовал, где прятались под настом стебельки, семена, ягоды, спрятанные в тонкие ледяные чехлы до теплых дней, до праздника летнего первоцветения. Он набрал горсть брусники. Ягоды были крупные, твердые, похожие на цветные камешки, но, когда я бросил их в горячий чай, они всплыли, и я уловил их потаенный аромат.

Мы поднялись на плоскую безглавую сопку и вышли к магистрали — полотно тянулось по долине, под нашими ногами. Работы здесь были почти закончены, стояла воскресная тишина. Ни шороха. Пустынна и просторна была долина.

— Поезд!

Я точно ждал восклицания Ахво. Пронеслось голубое облачко. Поезд?

Полоса дороги выбегала из-за пятнистого, коричневого с белым склона. Тишина. И лишь взметнулся легкий вихрь, и возникла светлая полоса на фоне предвечерних теней. Ни звука. Качнулся воздух от невидимого толчка. И еще дальше пронесся светлый луч, прочертив снега и камни молниеносным, почти неуловимым росчерком.

— Зеленый поезд!

Я оборачиваюсь. Совсем рядом глаза Ахво, и в них я вдруг вижу отражение склона и стремительной ленты поезда. Быть может, мне показалось это? Но откуда тогда пришло видение серебристых вагонов, мелькающих как в калейдоскопе окон, испускающих мягкий зеленый свет? Может быть, человеческий глаз так устроен, что видимое им становится заметным и для других, как отражение, как мгновенная фотография... Или, еще вероятней, только у Ахво такие глаза. Поймать исчезающе малый миг, наверное, не многим дано и, уж во всяком случае, не мне.

Так вот он какой, зеленый поезд! Быстрый как стрела, окна светятся даже днем, а рассмотреть его мож-

но разве только как отражение в глазах человека с необычайно острым зрением.

— Ты видел поезд? — спросил Ахво, когда мы возвращались в поляр.

Я понял подлинный смысл этого вопроса: речь шла о том, верю ли я теперь ему. Я кивнул, отвечая сразу и ему и себе: да, я знал теперь о зеленом поезде больше, чем из всех рассказов о нем.

— Да, я видел зеленый поезд.

Темный вечерний снег под лыжами поскрипывал, словно собирался рассказать зимнюю сказку, как будто с заходом солнца вновь ушла весна и надолго спускалась таинственная и долгая северная ночь. Но я знал: синий цвет и всеобщее движение — предвестники и спутники весны. Завтра, быть может, послезавтра или немного позже мы снова побегим по нашей лыжне, чтобы встречать зеленый поезд.

Мы с Ахво соседи. Наши окна рядом. Трехдневная оттепель наполнила воздух запахом влажной хвои и свежестью. А окна, к счастью, открываются прямо в тайгу. Долог вечерний разговор.

—... точно знаю, что такие приборы есть, а принцип известен с незапамятных времен. — Ахво рассказывает мне об усилителях света. Я тоже слышал про них, но Ахво, оказывается, даже работал с ними. Долгой полярной ночью в Северной Карелии инфракрасные усилители очень помогали ему и его товарищам. Мысль его проста:

— Я буду в пяти-десяти километрах от тебя, у самой дороги, и дам сигнал. У тебя будет прибор, ты увидишь поезд и сфотографируешь его, ведь прибор легко дополняется фотоаппаратом. Отсюда найдем скорость поезда, не говоря уж о том, что ты наконец окон-

чательно убедишься во всем. Я напишу. Нам пришлют приборы.

Ахво умолк. В профиль он похож на индейца из какого-нибудь приключенческого фильма, особенно когда свет неяркий или багровый. (Он это знает и курит самодельную деревянную трубку, правда очень редко, в такие вот вечера — быть может, для того, чтобы доставить удовольствие себе и мне.)

...В другой раз, по пути на работу мы размышляли: что же он такое — зеленый поезд? И почему он появляется на недостроенных дорогах, уж не мираж ли это, а если да, то наблюдатели из двух пунктов как раз и смогут убедиться в этом, ведь мираж нельзя «зарегистрировать» тем способом, о котором мы с Ахво говорили.

Впрочем, мы отыскивали с ним, кажется, тоненькую ниточку: поезд появляется почти всегда в безлюдных просторах тайги и тундры. И это не казалось нам случайностью. Тем, кто управлял движением зеленого поезда, нужны были два условия: огромные пространства и безлюдность, по крайней мере относительная. Оставалось ответить на главный вопрос: кто управлял им?

СОКРОВИЩА ЗВЕЗДНОГО НЕБА

Это могло бы быть простым экспериментом. Мало ли что испытывают в наш век, не обо всем же немедленно сообщать газетам. Но в таком случае опыты длились слишком уж долго, несколько лет (Ахво видел поезд еще в Карелии, потом в Казахстане), и это вызвало мысли совсем другого направления.

Но поверить в невозможное можно лишь тогда, когда оно становится реальным фактом.

Как-то я смотрел фильм о космосе, где ракеты взмы-

вали вверх так легко и свободно, как будто не было мучительно трудной космической прелюдии, долгих поисков, блистательных находок и трагических неудач. Корабли совершенствовались на глазах с той скоростью, с какой позволял кинематограф, и в заключение возник неизбежный вопрос: а завтра?.. «Сокровища звездного неба» — так назывался фильм. К этим-то сокровищам как бы устремлялись корабли. Что же это за сокровища?

С некоторым удивлением узнал я, что даже довольно близкие созвездия хранят тайны весьма ревностно. Радиогалактики, магнитопеременные звезды, двойные пульсары, тройные и кратные звезды, скопления галактик... Почему неразлучны три светила Регула? И почему так схожи иногда пульсары и радиогалактики? За этими вопросами следовали другие, их было бесконечно много, гораздо больше, чем слов в древних преданиях и мифах. Не потому ли названия далеких солнц рассказывали о становлении человека так же красноречиво, как пирамиды, города и космические корабли? Самые близкие и доступные из них напоминали об античном времени, о всяких полузабытых древностях — о юности разума человеческого. Когда-то Диана изгнала Гелику из своей свиты, а Юнона превратила ее в медведицу. Юпитер поместил Гелику вместе с сыном Аркасом на небо, где они образовали созвездия Большой и Малой Медведицы. Десятки других героев античности также вознесены на небо звездочетами и образовали первый пояс. За ним следовал второй. Слабые и далекие звезды заставляли вспомнить о философах и ученых более позднего времени, их названия отражали попытки как бы более зрелого ума проникнуть в неиссякаемый источник вещества — в бесконечность. И все дальше отодвигалась невидимая условная граница, которой достигал разум.

А дальше? Как узнать, что за этой границей и потом

за, следующей? И вот появляются радиотелескопы и немного позднее — космические корабли. Размышляя об этом, я сделал для себя маленькое открытие. Антенна радиотелескопа подобна чаше, в которой мир отражается тем отчетливее, чем больше зеркало воды. Чем дальше друг от друга точки приема звездных сигналов, тем лучше. Иногда антенны расположены даже на разных континентах, а космические радиоголоса записываются на магнитную ленту, и потом все записи сравниваются. Межконтинентальные телескопы самые точные, но, может быть, всю поверхность Земли использовать для приема сигналов?.. Установить побольше антенн, объединить их в одну сеть? Почему бы нет?

Полистав книги по астрономии, мы с Ахво пришли к выводу: такая всеобщая сеть ненамного полезней одного или двух межконтинентальных радиотелескопов. Все зависит от предельного расстояния: чем больше расстояние между антеннами, тем лучше и точнее работает прибор; тем ясней слышны звездные сигналы, а раз уж многие объекты вселенной испускают радиоволны, тем полней общая картина.

Антенны на ракетах — вот к чему можно было бы стремиться. Целое созвездие исследовательских ракет, летящих на таких расстояниях друг от друга, что пеленгация едва слышимых источников была бы идеальной. И уж конечно, карта неба стала бы гораздо подробней. Пока же космические корабли и радиотелескопы существовали отдельно, и мы с Ахво могли лишь помечтать о том времени, когда они будут объединены. Проект был мой, но Ахво его тут же усовершенствовал:

— Зачем же корабли? Установить антенны на разных планетах — вот и все. Действительно, зачем ракеты? Планеты — отличные опорные пункты для наблюдения.

Поляр уже спал, а мне захотелось помечтать, и я попытался представить необычную эстафету: корабли несли на себе антенные зеркала, они стремились как можно дальше доставить их — к звездам, к далеким планетам, обращающимся вокруг звезд. И оставляли их там, точно эстафетные палочки, чтобы потом другие корабли, гораздо более мощные, быть может, пронесли их еще дальше. Я приближаюсь к главному в наших рассуждениях (должен признаться, что нам помогли и видеотелефонные консультации специалистов одного из сибирских исследовательских центров).

Чем дальше смогли бы проникать наши корабли, тем больше мы узнали бы о сокровищах звездного неба. Невидимая, но реальная граница познания, стартовав с Земли еще в древности, расширялась бы, охватывая все новые миры. Но это была, если только так можно сказать, геоцентрическая система изучения вселенной.

Почему бы не предположить, что такие исследования уже начаты, но совсем в другом районе Галактики? Автоматические корабли уже стартовали, первые антенны уже доставлены на расширяющееся кольцо межзвездных радиотелескопов. И на Землю тоже. На первых порах исследователи будут соблюдать известную осторожность, особенно на обитаемых планетах (ведь последствия любого вмешательства, влияния, на первый взгляд даже положительного, оценить практически невозможно). Значит, и на Земле они будут следовать этому правилу. Они постараются использовать и наши достижения: ведь им нужны платформы для перемещения антенн, положение которых выверено с точностью до метров. Железнодорожное полотно — идеальная опора для подвижного радиотелескопа. А как замаскировать его, сделать невидимым? И тут я снова так живо представил зеленый поезд, несущийся по снежной долине, что эта последняя трудность показалась мне вполне преодоли-

мой. «Любое чудо возможно, если только при этом не нарушаются законы природы» — эту фразу я разыскал как-то в своих старых конспектах. Так мы придумали зеленый поезд. В сущности, за один-два вечера.

Но ранним утром, когда я умылся, оделся, открыл окно и увидел сумрачные деревья в серой полумгле, тусклое предрассветное свечение и уловил дыхание холодной земли, наша выдумка показалась нереальной и неправдоподобной. И все-таки хотелось поверить в нее.

Я нажал клавишу телевизора, по выпуклому серебристому пузырю пробежали изогнутые линии, сжались в жгут, который задрожал, как пучок струн, и пропал. Еще две клавиши: «ПОЛЯР» и «БИБЛИОТЕКА»... Возникло знакомое лицо.

- Библиотека. Говорите...
- Что-нибудь по радиоастрономии...
- Принципы, история, применение?
- Фильм. Обо всем сразу.
- Время?
- Полтора часа.
- Заказ принят. Ждите пять минут.

Экран залился голубым сиянием, словно олицетворяя вспышку энергии телевизионного робота.

С высоты птичьего полета открылись ущелья и каньоны, перегороженные парусами антенн. Высоко в горах, на фоне острых пиков сверкали их чаши, смотрящие поверх снегов. На склонах зеленых холмов змеилась паутина антенн. Планета была основательно радиофицирована, и этот второй, звездный, этап радиофикации только начинался. Вместе с телескопами-гигантами еще выслушивали эфир первенцы радиоразведки — двадцатиметровый Серпуховской, стометровый американский, Крымский, Пуэрто-Риканский, Большой австралийский...

Еще одна клавиша: «КОНСУЛЬТАНТ»...

— Действуют ли межпланетные радиотелескопы?

— Нет.

— Есть ли проекты?

— Да. Первый проект: Земля — Луна; второй — Марс — Земля — Луна.

— Могут ли другие цивилизации использовать Землю для установки радиотелескопов?

— Не исключено... (Молчание.) Вряд ли — велик уровень радиопомех.

— Можно ли связать феномен зеленого поезда с исследованием космоса?

— Нет данных... (Длительная пауза.) Феномен зеленого поезда неизвестен... Вопрос не по теме.

«ОСТАНКИ МАМОНТА НАЙДЕНЫ...»

Мы идем на лыжах по только что выпавшему снегу, мягкому и легкому, а с лиственниц беззвучно слетают их новые белые шапки, и голоса звучат тише и глуше. Я совсем забыл о весне, которая вот-вот собиралась отогреть землю, одарить ее первой травой, прозрачной водой, криками птиц. Нас четверо — Ахво, я, Глеб Киселев, следопыт из Русского Устья, потомок землепроходцев и якутских охотников, прирожденный строитель и путешественник, исколесивший Крайний Север вдоль и поперек, и Дмитрий Василевский, кинооператор и ученый (это он прислал усилители света, а потом и сам прилетел в поляр, чтобы сделать фильм). Можно ли встретить на Севере людей, которые бы не любили его? Вряд ли. Мне эта земля кажется гигантским естественным заповедником: выпуклы и величавы ее реки, быстры ветры, пространны и медлительны зимние ночи и летние дни.

Но чтобы узнать север по-настоящему, нужно от-

дать ему жизнь, как Глеб, который помнил и редкие встречи со стерхом — белым журавлем красоты необыкновенной, и с исчезающими, все реже пролетающими над краем земли тундровыми лебедями и белошеками казарками, а в лесных чащах, где рысь стережет лося и всякого зверя, охотился на черного соболя. В Арктике мало птиц?.. Полно, Глеб... Уже взят под охрану и гусь-белошей, и стерх, и сапсан, и казарки белошекие и красногрудые, что долгими зорями летят к вершине земли — домой.

Века и десятилетия неуклюже, но верно поворачивают течения и ветры планеты, разглаживают морщины гор, среди зимы дарят оттепель, и хоть весны прохладны, теплеет и теплеет красное лето, и мягче из года в год не столь уж лютая зима. Вдруг когда-нибудь незримый сеятель — время разбрасает по горам семена сосен, на холмах рассадит ели, в местах посуше — розовый вереск, поближе к воде — иву серебристую. Где овраги — разбрасает семена березы, где пески — посадит розовый вереск, на болотах ракиты, а вдоль рек могучие дубы. Вдруг когда-нибудь... Ведь север вмещает любую мечту, но и наяву он поистине прекрасен.

Если бы мне сказали: тебе сегодня посчастливится, но ты должен выбрать — встретиться ли тебе с мамонтом, с настоящим мамонтом, шерсть которого рыжа, уши лохматы и бивни желты, торчат из замороженного глинистого обрыва, или с зеленым поездом, который ты, впрочем, уже видел, — я бы, пожалуй, ответил не сразу. Глеб-то уж наверняка выбрал бы мамонта, Ахво — поезд, Дмитрий...

— Что бы ты выбрал, Дмитрий? — крикнул я. — Мамонта или поезд?

Он даже не переспросил, сразу понял.

— Мамонта.

— Почему?

— Сам не видел и с очевидцами незнаком. Так... Чучела, картинки. Встретить настоящего зверя — все равно что машину времени изобрести, а ты — поезд...

«Вот и Дмитрий влюблен в север, — думал я, — камера, усилители изображения — это все не то... Может быть, он и в самом деле пошел с нами только затем, чтобы набрести на мамонта или хотя бы на медведя, на сохатого, на лешего?»

...Сначала мы думали остановиться у разъезда, хотя у нас были палатки, потом подумали и решили: нет, не стоит этого делать, ведь не видел же зеленого поезда дежурный по разъезду (а он уже месяц тут жил). Чем же мы лучше... Мы вышли к дороге южнее разъезда, Ахво и Глеб пошли к югу, как было условлено, мы с Дмитрием остановились и разбили палатку. У нас было три дня. Кто-то из нас всегда дежурил у рации, когда пришла моя очередь, я даже ночью готов был услышать сигнал Ахво.

Дмитрий относился скептически к нашей затее, и я плохо понимал, зачем он приехал. На третий день, когда рация ожила, Дмитрий первым бросился к приборам, значит, он тоже ждал, просто не баловал себя надеждой.

Заранее было условлено: слово «поезд» не должно выйти в эфир, как и все относящееся к железной дороге, ведь, судя по всему, речь шла о тайне, которую кто-то ревностно хранил. Значит, тайным же должен быть и условный сигнал, когда Ахво и Глеб заметят поезд. Они остановились в двадцати километрах от нас, и время появления поезда на нашем участке измерялось минутами. За час до сигнала Ахво говорил с нами, это была проверка рации. Шел последний день, и мы уж было разуверились в успехе. Через полчаса Дмитрий развел костер и стал готовить обед — в этот день он дежурил. Еще через пятнадцать минут рация ожила, но

это был не сигнал. Ахво сказал: «Вижу людей», и через минуту: «Люди исчезли». Я спросил, что это значит. Он ответил: «Будьте готовы!» И вот прозвучал сигнал: «Найдены останки мамонта!» Эта условная фраза была повторена дважды, значит, и Глеб и Ахво видели поезд.

Как только я услышал их, я пустил секундомер. Мне казалось, что пройдет от шести до двенадцати минут, пока зеленый поезд поравняется с нами. На всякий случай Дмитрий тут же бросил котелок, чайник, консервы и немедленно установил камеру. Механизм сработал не сразу: от мороза, наверное. Но потеряны были всего несколько секунд, и поезд не мог опередить нас. Я наблюдал полотно через объектив усилителя изображений, потому что ни за что не рассчитывал обнаружить что-нибудь невооруженным глазом. Рядом были приготовлены два фотоаппарата, и тоже с усилителями, один аппарат мой, другой — Дмитрия. Когда истекала шестая минута, я вдруг нечаянно нажал спуск своего фотоаппарата. Дмитрий услышал щелчок и обернулся ко мне. Я растерялся на одно лишь мгновение и оторвал глаза от прибора. Кажется, я начал объяснять Дмитрию, что мой аппарат случайно сработал, и он с явным неодобрением слушал меня. В ту же минуту легкое облачко снежной пыли взвилось над полотном и быстро пролетело вдоль него. Дунул ветерок, снежинки медленно опускались на мое лицо. «Смотри!» — крикнул я. Но было поздно. Или, быть может, слишком рано? Я припал к окуляру и замер на несколько минут. Стрелка секундомера много раз обошла круг, и у меня стали мерзнуть щеки. «Хватит! — сказал я. — Если облачко и было поездом, то мы уже знаем скорость — сто девяносто километров в час, а если нет, то оставь камеру и пойдем пить чай, а то замерзнем».

Когда совсем стемнело, мы подложили в костер дров, пламя поднялось чадящими языками, потом снигло, открыв переливающиеся розовые камни углей под

теплой подушкой воздуха. От белых облаков, отражавших снег, не осталось и следа. В небе проступили звезды. Желтые огни кропили нас легкими искрами, и мы уж было задремали, как вдруг два знакомых голоса прогремели в лад над костром. Ахво и Глеб приблизили лица к теплу и свету, иней на их шапках засеребрился и растаял. Мы торопливо собрались и двинулись в поляр.

...Утром мы собирались на трассу — испытывать очередной участок, предпоследний, самый трудный, но до глубокой ночи я не мог уснуть, как иногда бывает, если пройти много километров и желание выспаться, уснуть возникнет и вдруг исчезнет. В закрытых глазах моих неотвязно плыли и плыли волнистые дали, точно белые волны, как видишь их с самолета. Они сливались с зимними светлыми тучами, что, шурша, летели сквозь снежные завесы, а им не было конца. И с неизбежностью воображение вело меня дальше и выше — туда, где открывалась вселенная и за ней — вместилище миров.

На рассвете я забежал к Василевскому. Он работал с кинолентой и попросту отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Пришли Глеб и Ахво. Трое — уже сила. Дмитрий оглядел нас, сказал спокойно:

— Лента испорчена, засвечена. Ни одного кадра не вытянуть. Вот сейчас, на ваших глазах, сделал последнюю попытку. И с пленкой из аппарата то же самое.

— Что же ты... — протянул Ахво. — Поезд-то был.

— Это не я, братцы. Делал все как надо и даже много лучше.

— Сама засветилась? Так не бывает.

— Я тоже думаю, нет...

— Понятно. Теперь уедешь?

— Что делать... Пора.



Но Дмитрий остался еще на два дня. Думаю, он сделал прекрасный фильм о поляре, о людях его, об их нелегкой дороге в завтрашний день. Жаль только, что не было в фильме зеленого поезда.

ПЕСНЯ О ЗЕЛЕНОМ ПОЕЗДЕ

Ночами еще стыла земля под ледяными звездами, но таинство весенней радости, быстрых крыльев, звонких ручьев было уже на пороге. Вот-вот первые желтые краски лягут на откосы, и заречье начнет окрашиваться в сиреневый цвет... Я вышел проводить зиму, лыжи еще скользили по синим снегам, осевшим темными пятнами под деревьями, у краев полян, где стволы дышали на солнце паром.

Полдень. Солнце. Первые прогалины на каменных лбах сопок. Совсем незаметно я добежал до железной дороги. Струя теплого воздуха висела над ней, гранитная насыпь была нагрета, рельсы пахли железом. Вдоль насыпи вела лыжня. Возникло чувство, что за мной следят. Но никого не было видно. Я пошел медленнее, оглядываясь. Далекая фигурка замаячила за моей спиной. Я пошел быстрее, но фигурка росла и росла. По другую сторону насыпи бежал на лыжах человек... женщина. Как будто бы что-то неуловимо знакомое открылось мне в ней. Присмотрелся: Лена Ругова. «Откуда она здесь? — подумал я. — Ведь улетела в Заполярье». И вдруг вспомнил нашу маленькую экспедицию. Удивленное восклицание Ахво («Вижу людей!») и позднее — причину («Там, у поезда, была Лена!»).

— Здравствуйте, Валентин Николаевич! — крикнула Лена.

— Здравствуйте, Лена! Уж не вернулись ли вы к нам?

Ее голос звучал отчетливо, хотя она была еще да-

леко. Я подождал ее, она продолжала бежать по другой стороне насыпи. Глаза ее сияли, она была похожа в эти минуты на девушку из северной легенды, чей голос звонче песен весны.

— Нет, Валентин Николаевич, я еще не вернулась к вам. Я хочу рассказать вам о зеленом поезде, хотя о главном вы уже догадались.

...День был радостным, необычным, хотя я не мог отделаться от сознания своей беспомощности. Все мои вопросы казались лишними, я и без них получал ответы, и смысл слов Лены доходил так явственно, как будто бы она излучала свои мысли, и я ловил их. Это новое чувство было незнакомо мне прежде, эта неожиданная легкость общения вызывала и некоторую тревогу: ведь мои рассуждения и мысли могли показаться ей ненужными и неуклюжими. Что же делать? Если спрашивать не было необходимости? Слушать? Но я непостижимым образом догадался обо всем, что она как будто хотела сказать.

И вот из совсем немногих слов, слетевших с ее губ, составила́сь целостная картина: я понял, что зеленый поезд был одной из исследовательских станций. Это был поистине звездный поезд — и эти два слова лучше всего подходили к нему. Нелегко осознать, что кажущаяся пустота пространства заключает в себе так много, что нужно изучать ее годы, десятилетия. Но и это не все — радиоволны лишь малая часть скрытого в ней. За ними выстраивается бесконечный ряд взаимопревращающихся волн и частиц — и медленных и быстрых, таких быстрых, что они обгоняют свет, словно прочерчивая своими лучами путь из настоящего в будущее. И, следуя этим мгновенным росчеркам, выстраиваются в пространстве бесчисленные хороводы звезд, парящих планет с голубыми газовыми оболочками, сияющих комет и быстрых метеоров — это лишь следы, отблески того движения, которое и есть причина всего. Все, что на-

блюдаемо, может быть понято. Но где истоки неведомых «мгновенных лучей»? Они не нашли их. Они искали. И знали, что в тот момент, когда эти истоки будут найдены, отыщется и причина становления целой галактики. Вот почему уже много лет путешествовал с планеты на планету звездный поезд. И где-то в других созвездиях и в других мирах, под синим, под желтым, под розовым солнцем каждый день, каждый час, невидимые, как ветер, как воздух, как дыхание, неслись другие поезда. Вот почему они верили в успех.

Я подумал: зачем это вечное движение? И понял: отыскать источник лучей можно, лишь «поймав» его из нескольких точек пространства.

Возникла мысль: трудно, наверное, сделать поезд невидимкой? И в голове сложился ответ: вовсе нет, на вагонах трансляторы света, они ловят лучи с одной стороны поезда и передают их на другую, создается иллюзия, что вагоны прозрачны, невидимы.

Лена с нами работала... Зачем это им — неужели только потому, что дорога не была готова?.. И глаза Лены стали чуть лукавы, она рассмеялась и, поправляя волосы, разлетевшиеся за ее плечами, сказала:

— Вот и нет. Конечно, поезд стоял до поры до времени. И дел срочных не было. Но у нас ведь только поезд — невидимка, а не люди. Лучший способ не выделяться, не бросаться в глаза — это быть вместе. И потом это нужно. Разве вы не заметили, что все измерения я выполняла намного точнее, чем требовалось?.. Но я работала с вами и потому, что это было интересно. Здорово. Я даже костры таежные люблю, и птиц, и снега, и лыжи. И вашу работу. Как будто здесь родилась. А на Крайнем Севере я действительно была, ведь нам нужно знать линию трассы очень точно, гораздо точнее, чем вам. И потом придется выверять координаты дороги до миллиметра. Даже такая ошибка вырастает в парсеки на большом удалении от точки на-

блюдения... Только вот что, Валентин Николаевич, вы должны забыть все, что связано со мной лично. Это долго объяснять, но это нужно. Мы ведь еще будем работать вместе. Я помогу вам. Вы забудете наш разговор, а поезд... О нем вам можно знать все. Помните, как ваш фотоаппарат случайно сработал и как у вас с Дмитрием ничего не получилось?.. Так вот, сегодня вечером проявите пленку (вы до сих пор не сделали этого). Как только вы увидите на снимке поезд, в вашей памяти возникнет словно провал. Временно, конечно. Ваши специалисты без труда поймут, что такое зеленый поезд. Вы и Ахво вспомните наши встречи через полгода, когда нас уже не будет здесь. А теперь мне пора...

Я понимал их: нелегко работать долгие годы на чужой планете, а сейчас у них, быть может, остаются считанные недели, и нельзя отвлекаться, и все на исходе, на пределе — нервы, аппаратура... И не решились ли они открыть секрет поезда только потому, что это даст им лишнюю энергию, чтобы хоть на несколько дней продлить обнадеживающие наблюдения? Ведь поезд невидим только тогда, когда работают очень непростые по нашим понятиям приборы?..

— Хорошо, — сказал я, — пусть будет так. Желаю удачи, Лена!

...Вдруг солнечные лучи сошлись как в призме. Из светлого огня вылетела тень. Эта тень была поездом — я наконец увидел его рядом. Когда он пронесся мимо, разлив мягкое сияние, Лены уже не было. Откуда-то издалека донесся ее голос: «Послушайте нашу песню, Валентин Николаевич!..»

Это была скорее земная песня. Иначе и быть не могло: ведь они любили Землю и работали здесь. О чем пелось в песне?

В ней пелось о красном восходе первого дня весны и синих чистых днях ее; о запахах гроз и лесном кол-

довстве зеленого возрождения под звоны дождей. Пелось в ней о золотых коврах осенних трав и стаях диких серебристых птиц, кричавших на камнях и скалах; о таинственных огнях таежных, что расплывались, как видения, вблизи, а издали сверкали, как глаза зверей, волков и рысей; и пелось о жестоких штормах вдоль восточных побережий — причудливо изогнутых краев планеты, о летних красках северных фиордов и обо всем пространстве, где пробегал их поезд. О том, как уходил он все дальше, в долины рек, несущих воды к Океану, в таежные просторы, неоглядные, как небо, как убегал на Север, где полотном бескрайним стелилась тундра и сполохи сияли над снегами.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОСТРАНСТВО ГИЛЬБЕРТА	5
МОСТ	16
РЕКА МНЕ СКАЗАЛА...	28
КРАСНЫЕ КОНИ	40
СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ	50
ПРЯМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	61
СКВОЗЬ БЕЗДНУ	80
«МЫ ИГРАЛИ ПОД ТВОИМ ОКНОМ...»	85
КРАТЕР.	100
АЛЬКИН ЖУК	110
ЧИТАТЕЛЬ	117
ШОТЛАНДСКАЯ СКАЗКА	119
БАРЬЕР	143
ВОЗВРАЩЕНИЕ СУХАРЕВА	153
ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ	161
ЗВЕЗДНЫЕ ДАЛИ	165
ПОМНИТЕ МЕНЯ?	179
ОТКРЫТИЕ ПЛАНЕТЫ	188
БЕРЕГ СОЛНЦА	199
ОТСТУПЛЕНИЕ	209
КРЫЛАТОЕ УТРО	239
РОЖДЕНИЕ ЛАСТОЧКИ	266
ЗЕЛЕНЫЙ ПОЕЗД	278

Щербаков В. И.

- Щ61** Красные кони. Рассказы. Художник Р. Авотин.
М., «Молодая гвардия», 1976.
304 с. с ил. (Б-ка советской фантастики).

Рассказы сборника повествуют о дальних космических странствиях, о не открытых пока мирах. Многие страницы посвящены событиям, происходящим в нашей стране, где сквозь тайгу и тундру прокладываются сверхскоростные магистрали и строятся приборы для активного воздействия на энергию Солнца, рождаются новые гипотезы о неожиданных свойствах голограмм и о строении вселенной, где романтика подвига и научных открытий во многом определяет характер строительства коммунистического общества.

Щ $\frac{70302-071}{078(02)-76}$ 183—76

P2

Щербаков Владимир Иванович

КРАСНЫЕ КОНИ

Редактор Д. Зиберов

Обложка и иллюстрации художника Р. Авотина

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор З. Ходос

Корректор З. Харитоновна

Сдано в набор 12/XI 1975 г. Подписано к печати 27/II 1976 г.
A05044. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 9,5 (усл. 13,3).
Уч.-изд. л. 13,2. Тираж 100 000 экз. Цена 40 коп. Т. П. 1976 г.,
№ 248. Заказ 1473.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-
фии: 103030, Москва, Р-30, Сущевская, 21,

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



40 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

